Автор-составитель

Людмила

Улицкая

Детство 45–53: а завтра будет счастье

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«…Мы задумали вспомнить о поколении тех, чье детство пришлось на конец войны, послевоенные годы 1945–1953. Для меня это – ровесники, для других – родители…

С тех пор прошло много лет. Вышли из употребления керосинка, колонка, печка. Все больше забытого, и все мы беднеем от этого забвения. Кроме большой истории, которая сохраняет даты и события, важные для страны, есть и «малая» история каждой семьи. Если мы не расскажем своим детям, они не будут знать, что значили слова Сталин, победа, коммуналка, этап, свидание, партсобрание… Не поймут, что значит «довесок» (к буханке хлеба), новые ботинки или военная форма отца… То, о чем мы не смогли рассказать словами, дополнят потрепанные и выцветшие фотографии из семейных альбомов. И мы часто даже не можем вспомнить имена этих людей… Мы должны, мы обязаны делать это усилие воспоминания». ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ.

- Детство 45–53: а завтра будет счастье
  - Людмила Улицкая
  - Юлия Ляликова
  - День Победы[1]
    -
    - Вера Верхогляд-Троянова
    - Нина Тайц
    - Вячеслав Ищенко
    - Вячеслав Кабанов
    - Лилия Мельникова
    - Вера Суржикова
    - Юрий Белаковский
  - Ели…
    -
    - Николай Белков (записано внучкой Екатериной Белковой)
    - Анна Сальникова
    - Антонина Кухтина
    - Анатолий Компаниец
    - Юрий Орлов
    - Дмитрий Виноградов
    - Юрий Леонов
    - Ольга Лазарчук
    - Геннадий Шульгин

- Александр Огарев
- Лариса Перебейносова
- Леонид Левин
- Василий Омельченко
- Евгения Дымова
- Светлана Крапивина
- Ян Хуторянский
- Татьяна Горина
- Екатерина Терешкевич
- Василий Омельченко

○ Пили…

-
- Борис Иванов
- Валентина Никитина
- Андрей Красулин
- Людмила Улицкая

○ Мылись…

-
- Леонид Добровольский
- Татьяна Жданова
- Марина Краевская
- Ирина Безуглая

○ Одевались…

-
- Людмила Кожурина
- Леонид Добровольский
- Наталья Гаврилова
- Елена Шор
- Владимир Розанцев
  - История с поркой
  - История о беличьей шубке
- Людмила Фрейдлин
- Эдуард Буйновский
- Ирина Безуглая
- Аркадий Мильковицкий
- Владимир Смирнов
- Альбина Огородникова-Ястребова
- Татьяна Кербут
- Вячеслав Ищенко

○ Жизнь двора

-
- Каринэ Геворкян
- Марьян Беленький
- Антонина Кухтина

- Татьяна Жданова
- Коммуналки и соседи
  -
  - Людмила Улицкая
  - Наталья Бруни
  - Ян Хуторянский
  - Леонид Добровольский
  - Татьяна Жданова
  - Елена Косякина
  - Марк Птичников
  - Ян Хуторянский
  - Вячеслав Ищенко
- Животные
  -
  - Ольга Лазарчук
  - Лилия Мельникова
  - Татьяна Жданова
  - Валентина Зелинская
  - Герман Кузнецов
  - Елена Фесько
- Школа
  -
  - Людмила Лукашко
  - Римма Сивак
  - Елена Косякина
  - Иосиф Рабинович
  - Борис Иофьев
  - Анна Сальникова
  - Аркадий Мильковицкий
  - Вячеслав Ищенко
  - Александр Никифоров
  - Вячеслав Кабанов
  - Ян Хуторянский
  - Альбина Огородникова-Ястребова
- Детдом
  -
  - Антонина Паршакова
  - Клара Павлова
- Жизнь города
  -
  - Галина Мурашова (записала Екатерина Мурашова)
  - Людмила Фрейдлин
  - Елена Фуксис (записал Геннадий Авербух)

- Яков Хотомлянский
- Ирина Безуглая
- Анна Левина

- Жизнь деревни
  -
  - Зинаида Шевчук (записала внучка Оксана Черезова)
  - Ольга Мельник
  - Мариам Власко
  - Светлана Крапивина
  - Александр Коварский
  - Светлана Кайсарова
- Инвалиды
  -
  - Альбина Огородникова-Ястребова
  - Галина Пигулевская
  - Ян Хуторянский
  - Ольга Наумова
  - Геннадий Шульгин
  - Антонина Кухтина
- Военнопленные, заключенные, освобожденные
  -
  - Анна Дементьева
  - Герман Иванович Дубровин (прислала вдова)
  - Алексей Зыков
  - Исаак Подольный
  - Рашида Пухова
  - Галина Хафизулина
  - Леонид Левин
  - Дмитрий Тартаковский
  - Елена Шор
  - Анатолий Зайцев
  - Нина Вексман
  - Антонина Кухтина
  - Александр Непомнящих (записала Анна Непомнящих)
  - Евгения Дымова
  - Светлана Крапивина
  - Вера Суржикова
  - Зоя Шушарина
  - Лилия Мельникова
  - Вячеслав Кабанов
- Про страх
  -

        - Александр Ацкверели
        - Роза Логвинская
        - Михаил Лукомский
        - Анатолий Компаниец
        - Валентина Гойденко
        - Светлана Беленкова
        - Елена Волленвебер
        - Людмила Шевелева
    - Все умрут… и Сталин тоже?
        -
        - Валентина Никитина
        - Альбина Огородникова-Ястребова
        - Елена Косякина
        - Алексей Крестьянинов
        - Вера Верхогляд-Троянова
        - Антонина Кухтина
        - Ольга Наумова
        - Борис Наумов
        - Зинаида Вайнштейн
    - Биографии в письмах
        -
        - Каринэ Геворкян
        - Ольга Рыженкова
        - Валентина Лис
        - Александр Кабаков
        - Юлиана Хилова
        - Виктория Резвушкина
        - Людмила Куц
        - Юлия Бессонова
        - Ольга Вельчинская
        - Татьяна Гриценко
        - Галина Пиевская
        - Алексей Турбаевский
        - Леонид Чачко
        - Сергей Поляков
- notes
    - 1

Детство 45–53: а завтра будет счастье
автор-составитель Людмила Улицкая

Людмила Улицкая
Вспоминаем вместе…

«Времена не выбирают,
в них живут и умирают…»

Александр Кушнер

Ни история, ни география не имеют нравственного измерения. Его вносит человек. Иногда мы говорим: «жестокие времена». Но все времена по-своему жестоки. И по-своему интересны. Время создает определенные человеческие характеры, а что определяет характер времени? Вот неразрешимый вопрос!

Одно поколение сменяет другое, и каждое имеет свою собственную физиономию, свои неповторимые черты, особенности. Мы задумали вспомнить о поколении тех, чье детство пришлось на конец войны, послевоенные годы 1945–1953. Для меня это – ровесники, для других – родители, даже бабушки-дедушки…

Эта книга собрана из драгоценных воспоминаний разных людей, наших современников. Писем пришло очень много, больше тысячи, и поэтому я не могу называть здесь имен всех наших корреспондентов – благодарна всем, кто взял на себя труд разворошить давно забытое, встревожить прошлое, порой очень мучительное. Может быть, пережить горькие минуты и даже пролить слезы. Самому младшему нашему корреспонденту двенадцать лет, самому старшему – девяносто три года. Среди написавших нам есть человек, для которого эти записки стали его последним делом в жизни, – вдова Германа Кузнецова сообщила нам, что ее муж умер в больнице, едва успев закончить свое письмо.

Каждое письмо – драгоценный документ времени. Вне зависимости от того, попало оно в этот сборник или нет, хорошо уже и то, что в семьях останутся эти письма: из прошлого в будущее. Сложенные вместе, отрывки из писем людей разного возраста, социального происхождения и образовательного уровня меняют отношение к событиям прошлого, расставляют акценты иные, чем те, к которым мы давно привыкли. Они показывают изнанку советского мифа, правду жизни маленького человека, которому дана одна-единственная жизнь во времени, «которого не выбирают»…

Многие часы я провела с этими бесхитростными и

правдивыми документами и нашла в них великие образцы сострадания и милосердия. Многажды перечитав и переворошив полученные письма, прониклась чувством глубокого единомыслия, единочувствия с народом, среди которого живу. Может быть, впервые в жизни. Но в этом множестве людей я вижу все равно отдельные лица авторов этой книги, большинство которых мне глубоко симпатичны, других я полюбила, а некоторых признала за учителей и праведников. В книге довольно много фотографий авторов писем, но есть и фотографии, которые передают атмосферу тех лет.

До сего времени акты великой жестокости власти по отношению к своему народу – инвалидам войны, ветеранам, сиротам, старикам – загораживали мне отчасти полную картину времени, и только теперь я поняла, в какой загадочный узел завязаны лучшие качества нашего народа и его худшие черты, которые начинают проявляться у его представителей, когда они оказываются облечены неограниченной и бесконтрольной, да хоть какой-то, властью. Даже мне, рожденной в середине войны, пережившей скудные и тяжелые послевоенные времена, открылась какая-то новая правда о характере нашего народа – простодушном, бесконечно терпеливом, мужественном и милосердном и о природе власти – всегда бесчеловечной и циничной. Этот контраст я и восприняла как открытие. Однако объяснения такому положению вещей я не нашла. Это продолжает меня тревожить: какая такая тайна заложена в этом необъяснимом противоречии? Впрочем, среди писем, вызвавших во мне глубокие чувства, было несколько, описывающих факты чрезвычайной жестокости по отношению к детям-сиротам, невиданного безразличия к младенцам, оставленным на попечение работникам яслей и детских домов. Значит, сидят где-то в глубинах человеческой натуры потенциалы разные, добро и зло ведут свою борьбу именно на этом персональном уровне.

Русский философ Николай Бердяев считал, что «русская ментальность сильно поляризована и совмещает в себе противоположности (деспотизм – анархия, жестокость и склонность к насилию – доброта и человечность…)». Одним из объяснений таких особенностей национального характера он полагал тугое пеленание младенцев, которое было в обыкновении до сравнительно недавнего времени. Мыслители более позднего времени отмечали такую черту русского менталитета, как «поглощенность будущим, отсутствие личностного сознания и, следовательно, ответственности за принятие решений в ситуации риска и неопределенности…»

Наконец, приведу слова основоположника всей нашей культуры, умнейшего и проницательного Александра Сергеевича Пушкина: «Наша общественная жизнь весьма печальна. Это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, к справедливости и правде, это циничное презрение к мысли и человеческому достоинству действительно приводит в отчаяние». Эти слова не устарели и по сей день.

Большой радостью для меня было письмо Юлии Николаевны Ляликовой, которым я и открываю этот сборник. Я думаю, что она лучше меня выразила чувства, которые владеют и мною, когда я оглядываюсь назад.

Юлия Ляликова
Послание в неведомое

Однажды осенью я шла дворами по каким-то своим надобностям, и дорога пролегала неподалеку от обычной мусорки. Стараясь «не вступить» и не вдохнуть специфических ароматов, я наткнулась взглядом на лежащий между мусорным контейнером и тропинкой старый альбом. Его страницы стояли веером, и ветер «листал» их, то приоткрывая, то захлопывая. Там были фотографии! Я остолбенела. Что это? Господи, что это?

Кто выбросил? Дети, внуки умерших стариков? Ну не сами же хозяева. Может быть, это сделали новые хозяева квартиры, выбрасывая «хлам» прежних жильцов…

В любом случае мне представилась самой вероятной версия, что хозяев нет в живых, а альбом выбросили все-таки не потомки, а чужие люди. Согласиться с тем, что так могут поступить «наследники», просто невозможно. На некоторое время я в полном ступоре забыла, куда и зачем шла. Не знаю, почему я не подняла этот альбом, – побоялась лезть в грязную лужу? Теперь жалею, что не сделала этого. А тогда, повернув обратно в сторону дома, не могла отделаться от воображаемой картины: альбомы, фотографии моей семьи валяются где-то у помойки, их разносит ветер, бросая в грязные лужи. А мимо идут люди, идут люди…

Я начала лихорадочно думать, как сделать так, чтобы такого не случилось. И, грешница, подумала, что никто не даст гарантии от *такой* смерти памяти, собираемой и хранимой десятилетиями в каждой семье, о родных, близких, если не предпринять каких-то, пока не знаю каких, мер. Дело в том, что жизнь за последние пятнадцать-двадцать лет так изменилась – ее формы, так называемые артефакты, из физических перешли в виртуальные, не занимающие много места, не нарушающие современный стиль или еще что-либо. Многое просто стало «немодным» – кажется, именно это произошло со старыми семейными альбомами. Кто-то спрятал их подальше в шкафы. Но выбрасывать, мне кажется, еще рано, и эти предметы не заслужили такой судьбы. Можно выбросить старый шкаф, диван, стулья, но память?

Ну да что попусту рассуждать; надо, пока не поздно, продумать свои собственные меры, чтобы ничто и никто не мог поглумиться над святынями (ни время, ни обстоятельства, ни люди)…

Иногда кажется, что новая жизнь жестко и жестоко отрицает старую вместе с ее еще живыми носителями или вещественными

знаками. Обижаются на молодежь старики, не находя себе места в новых, не всегда понятных реалиях жизни. Новодел вымещает или грубо растаптывает знаки старины. Новые города не предполагают комфортного существования стариков. А старики в деревнях – это одни горчайшие слезы.

В новом ритме и стиле жизни кажется, что кроме стариков некому будет печалиться об утратах памяти. Молодым оглядываться и смотреть под ноги некогда.

Когда я, по-советски комплексуя, видно, не выдавив еще из себя совка, размышляла о том, а стоит ли вообще писать, то есть оставлять память о моих предках, среди которых, как оказалось, нет ни одного генерала (слава тебе Господи!), ни одного депутата (и за это отдельное спасибо), во мне рос и рос какой-то еще не осознанный протест против признания «малозначимости» родных мне людей. Я ощущала какую-то неправду и несправедливость. Вот я даже и сейчас как будто перед кем-то не знаю в чем оправдываюсь.

И вдруг что-то сложилось! Ничего себе – маленькие люди, винтики да болтики. По жизням моих родных прошлись колеса всех российских исторических событий, оставив в их судьбах неизгладимые, в основном трагические отметины. Нет уж, без таких, как мои родные, миллионов россиян никакое колесо истории не сделало бы и оборота и не было бы никакой страны, ни великой и ни могучей. А была бы территория, переходящая из рук одних правителей в руки других. И что бы без них, не упомянутых в хрониках, делали все вместе взятые цари, генералиссимусы и генеральные секретари?

Вот представьте, был бы в семье какой-нибудь генерал или академик, да всё вокруг них бы и крутилось – вот они такие и сякие, смотрите, дети, как надо жить! Учитесь и гордитесь! А так, в отсутствие в нашем древе таких гигантов жизненного успеха, я могу уделить каждому, кого знала и любила, столько внимания, сколько позволит моя память, без оглядки на чины и звания.

И ведь в каждой семье есть что сказать о своих близких. Я вдруг поняла, что они, наши предки, не только имеют право на память о них, а мы, как любящие их всех, обязаны сохранить хотя бы те крохи свидетельств об их жизни, что остались, и передать их своим детям.

День Победы [1]

Чем больше времени проходит от 9 мая 1945 года, тем более пышно празднуется этот день. Участники стихийного народного праздника этого незабываемого дня запомнили его на всю жизнь. При жизни Сталина день 9 мая отмечался как государственный праздник только два года – в 1946-м и в 1947-м. С 1948 года 9 мая не считалось государственным праздником, был рабочий день, – «красным днем календаря» стал только двадцать лет спустя после Победы, в 1965 году.

Первый парад Победы состоялся 24 июня 1945 года, кинохроника сохранила для нас известные кадры, снятые в тот день: брошенные к мавзолею Ленина немецкие знамена. Командовал парадом маршал Рокоссовский, а принимал парад маршал Жуков. Сталин был на трибуне. Существует мнение, что генералиссимус не считал, что главная цель достигнута: Россия не получила всей Европы, а только восточную часть ее. О мировой социалистической революции теперь и мечтать было нельзя. Парад был демонстрацией мощи Советской армии, разгромившей фашистскую Германию.

Пятьдесят лет военные парады не проводились, а в 1995-м, в пятидесятую годовщину Победы, снова провели военный парад. И далее это стало традицией.

С 2008 года в парадах стала участвовать тяжелая военная техника. Наверное, это должно питать чувство патриотизма и национальной гордости, демонстрировать мощь государства. Стоит это очень дорого: только ремонт асфальтового покрытия, проводимый после репетиций парада и самого парада, обходится городской казне в 40 млн рублей ежегодно. В 2012 году 64 млн рублей ушли на разгон облаков в день праздника. Убытки от транспортных пробок в 2011 году были оценены еще в 5 млн рублей. Нельзя сказать, что в связи с такими огромными тратами очень порадовало заявление властей о том, что в 2012 году еще 36 тысяч ветеранов получат отдельные квартиры. В стране сейчас проживает 364 тысячи ветеранов, 220 тысяч из них уже получили жилье. Если принять во внимание, что с окончания войны прошло уже более шестидесяти лет, то оставшимся очередникам придется жить не менее 110 лет, чтобы дожить до получения отдельной квартиры. Рассчитывать на это не приходится.

Каждое событие в нашей стране рассказывается не одним, а несколькими способами: есть правда солдатская и генеральская, свидетельства медсестер, выносящих раненых с поля боя, и начальников госпиталей, доклады партийных руководителей и

письма «простого советского заключенного».

Государство дальнозорко: мелочей, как правило, не замечает, видит только большую карту страны, оперирует цифрами с большим количеством нулей. Отдельно взятый человек близорук: в его поле зрения котелок с кашей, теплушка, кипяток, письмо от жены, кусок мыла, выданный к «банному дню», хлебные карточки…

Но праздник есть праздник, и он поистине народный. Об этом свидетельствуют письма людей, очевидцев того великого дня, 9 мая 1945 года, стихийного уличного ликования, радости и слез, которые волной прокатились от Красной площади до площадей больших и малых городов, поселков, деревенских улиц…

Вера Верхогляд-Троянова
Победа

1945 год. В начале мая (до 9 мая) по Ленинграду разбрасывали с самолетов листовки, в которых говорилось о наших военных успехах. Помню солнечный радостный день, бросают листовки, а я пытаюсь поймать их, стоя на балконе.

День Победы – 9 мая. День безумной радости и счастья. Толпы людей двинулись на Дворцовую площадь. Транспорт на Невском проспекте забит людьми, все едут на Дворцовую, всем хотелось собраться вместе и вместе радоваться. Я ехала со старшим братом Эриком.

Дворцовая площадь. Люди пляшут, поют, целуются, кричат что-то. Прожекторы. Кое-где установлены экраны и показывают фильмы (вероятно, документальные).

Наверное, были и люди, которые плакали от горя, оплакивая погибших, но я их не помню.

Потом салют.

Нина Тайц
День Победы с сыном Юрой

На всю жизнь, как уверял Юрочка, запомнил он День Победы (ему было тогда два года). Я с Юрочкой и с двумя моими подругами присоединились к многочисленной демонстрации, которая возникла стихийно, как только по радио (голос Левитана!) сообщили о капитуляции Германии, и пошли по улице Горького к американскому посольству (тогда оно располагалось на Моховой), а затем на Красную площадь. Народ все прибывал, чужие люди целовались, военных качали. Мы попали в страшную давку. Юрочку передавали с рук на руки, был грандиозный фейерверк. Юра часто вспоминал этот день, и иллюминацию, и как он плыл над толпой.

Как и многие дети послевоенных лет, Юрочка очень увлекался всем военным. Каждый день к его рубашкам я пришивала погоны, на шапочке у него была звезда.

Смешной случай: Юре четыре года. Мы с ним в кафе-мороженом на улице Горького. На курточке его прикреплена орденская колодка. С нами сидел мужчина, который очень внимательно смотрел на Юрочку, и, когда тот обратился ко мне с каким-то вопросом, сказав «мама», этот человек удивленно произнес: «А я думал, что это заслуженный лилипут республики!»

В годовщину Дня Победы Юра и его друг прыгали на диване и кричали: «Ура! Мы два Ленина! Мы два Сталина!»

Вячеслав Ищенко
Базар сгорел…

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года меня разбудил душераздирающий крик. Я спал в «темной» комнате – была у нас такая, где совсем не было окон. Она, эта комната, надо сказать, изолирована была неплохо от остальной квартиры, но крик был таким резким и сильным, что его услышал даже я. Что уж говорить о других домочадцах и соседях по двору. Потом я узнал, что кричала Тася Ежова, подруга моих сестер, веселая и добрая девушка. Она кричала что-то для меня совершенно неразборчивое, но мне в ее словах почему-то послышалось, что… сгорел базар. Да, да, наш гурьевский городской базар, без которого невозможно представить жизнь того времени. Там покупали буквально все – от хлеба до сладких красных петушков на палочке. Может быть, именно поэтому я своим детским сознанием не мог представить худшего бедствия, чем потерю базара.

Но она кричала о Победе.

Потом у взрослых началась суета, а я уснул.

Проснулся утром, выглянул в окно из большой комнаты и увидел, что какой-то дядька прибивает к нашим воротам флаг. И опять наваждение: мне показалось, что красное полотнище оторочено широкой черной полосой. Откуда все это явилось в моих ощущениях – сгоревший базар, траурный флаг? Не знаю.

Потом я пришел на кухню и увидел, что матушка на столе месит тесто. Это был явный признак большого праздника. Я спросил: что, разве праздник? И мать ответила, улыбаясь и плача:

– Победа, сынок! Война кончилась…

Тут же она указала на прибитый к стене отрывной численник и сказала, что теперь эта черная девятка на нем будет красной. Странно, что нерабочим днем 9 мая стало, кажется, только в 1965 году.

Чуть позже я видел на улицах рыдающих и обнимающихся людей, толпу у магазина, куда меня, несмотря на мое малолетство, уже иногда посылали за покупками.

Фронтовиков окружали люди, что-то горячо говорили им, обнимали, целовали. У нас во дворе было весело и радостно.

В Гурьев пришла Победа.

Фото ИТАР-ТАСС

Фото «РИА Новости»

Фото ИТАР-ТАСС

Вячеслав Кабанов
Сухое вино

Был май, год сорок пятый. И вот случился переполох. Не помню, чем я был занят, когда возник этот шум. Все бежали во двор. Там командиры стреляли вверх из пистолетов. Женщины плакали и смеялись. И тогда я услышал слово:

– Победа!

А баба Дуня сказала, что теперь моя мама скоро вернется ко мне.

Но мама вернулась нескоро.

Прошло девять месяцев. Было темное зимнее утро. Я проснулся от шума за дверью и как-то сразу все понял. Дверь приоткрылась, и… Не буду про это писать.

В последнее время все меня уверяли, что маму я не узнаю, что был слишком мал, что не могу ее помнить, от мая сорок первого прошло почти пять лет, а мне тогда было только четыре, значит, с мамой я прожил меньше, чем без мамы, и не видел ее фотографий…

Я не спорил. Зачем было спорить? И мне не надо было фотографий. Я помнил маму и видел ее так же отчетливо, как наутро после того, как она читала мне перед сном «Айболита»…

В доме стали бывать военные. Веселые, шумные. Командиры. Военные гости принесли вино, угощали. Наши отказывались, а один командир сказал:

– Это же сухое вино!

Я удивился, спросил, и тогда командир объяснил, что сухое – это такое вино, что можно опустить палец в стакан, а вынешь, и палец сухой.

Этим знанием я довольствовался несколько лет.

Лилия Мельникова
Лето после войны

9 мая 1945 года страна праздновала Победу. Маленький тихий городок на берегу Азовского моря наконец-то вздохнул свободно.

Все ужасы мучительной и долгой войны остались позади. Еще царили разруха и голод, стояли огромные очереди за хлебом и керосином, но люди радовались и были счастливы. Впереди ждала мирная жизнь, и никакие трудности не пугали. Привычка всё преодолевать в крови у нашего народа.

Радостные события происходили в городе. Возвращались с войны победители – отцы, мужья, братья и сыновья. Многие были покалечены, кто без руки, кто на костылях. Но их лица светились радостью.

Дети сновали повсюду. Среди них – мы с сестрой и наши друзья. С огромными букетами сирени школьники встречали поезда и одаривали каждого военного цветами. Так продолжалось весь месяц май. А затем к радости Победы прибавилась радость окончания занятий в школе.

Вера Суржикова
Детский фейерверк

Однажды весной, когда мы были у дедушки, мои братики взяли меня с собой на прогулку – за деревней на большое поле с оврагом. Они часто ходили туда гулять мальчишескими компаниями. Бегали, что-то искали, шумели, и вдруг слышу: «Ура! Нашли! Вера, сюда!» С собранными полевыми цветочками я побежала к ним. «Подставляй подол!» – хохочут мальчишки и высыпают мне в подол из металлического цилиндра (огромного патрона) набор разноцветных, ярких игрушек-макаронинок… Затем Ваня достал взятое из дому круглое толстое увеличительное стекло, кусочек бумажки положил на собранный бугорок сухой травки и солнечным лучом через увеличительное стекло разжег маленький костерчик. По очереди в этот костерчик мы бросали по одной «макаронинке», которые с треском вспыхивали ярким пламенем. Глаза у всех сверкали от счастья, и улыбка не сходила с уст… Эта прогулка запомнилась мне на всю жизнь.

Правда, мальчики строго приказали мне ни в коем случае не рассказывать никому наш большой-большой секрет.

Этот секрет мы раскрыли в день освобождения нашего города.

В День Победы взрослые вынесли на нашу поселковую улочку столики, сдвинув их в ряд, и с радостью поздравляли друг друга. А наша детская команда встречала этот праздник с длинными светлыми «макаронинами» – противотанковыми, как сказали мальчишки.

Построив нас на одном конце улицы, Ваня поджигал по очереди каждому «макаронину», и мы с высоко поднятой сверкающей, трещащей пороховой палочкой изо всех сил мчались друг за другом на другой конец улицы. Ваня нас предупредил: когда догорает «макаронина», чтобы не обжечься, бросайте ее вверх, чуть в сторону.

Вот такой счастливый сюрприз мы устроили себе и своим мамам, которые с удивлением и радостью смотрели на нашу детскую демонстрацию с фейерверком в честь Победы.

Юрий Белаковский
Подкова

Не знаю, как кому, а мне День Победы запомнился подковой. Старой ржавой подковой. Да, я не помню военных, взлетающих в тот майский день над счастливой, радостной, праздничной толпой. Может быть, они и взлетали, но это не запечатлелось в моей памяти. А «летающими» я их увидел и воспринял много позже – по многочисленным фильмам, по кадрам кинохроники. И салюта в тот день не помню, да и не было салюта, наверное, в нашем небольшом сибирском городке. Это теперь он – Новокузнецк с его металлургическим комбинатом, с химическими заводами и угольными шахтами. А тогда… Хоть и назывался он Сталинск (!), а вот салютов ему, как я теперь догадываюсь, по штату не полагалось. И познакомиться с настоящими, яркими, красочными салютами – с брызгами разноцветных огней, с бегающими по небу лучами прожекторов, с плывущим в вышине и как бы изнутри светящимся портретом «архитектора победы» – мне довелось только через год, уже в Москве. А тогда я, пятилетний, и слова-то такого не знал. А вот что запомнил на всю жизнь, так это отчаянный стук в дверь нашей с мамой комнаты, отведенной нам к концу войны. Стук ранним-ранним утром, еще почти ночью, только переходящей в утро, когда так сладко спалось, и голос тети Тины, маминой старшей сестры: «Вставайте! Войне конец! Левитан по радио объявил – Победа!..»

Честно говоря, я не помню, какая в этот день была погода. Но всю жизнь уверен, что в этот день солнце светило особенно ярко и ласково и что весь город высыпал на улицы и заполонил городской бульвар. И мы гуляли в этот день все вместе: мама, тетя Тина, я и мои двоюродные братья – уже почти взрослый восьмилетний Женя, на которого я старался во всем равняться, и трехлетний несмышленыш Толик. Толик, вечно путавший правый и левый ботинки и не умевший даже шнурки на них завязывать. Толик, еще совсем недавно проглотивший первый в своей жизни леденец, принесенный дедушкой, и ревевший по этому поводу: «Упал!», показывая при этом себе на живот (а мы с Женей, уже «грамотные», опытные, сосали свои леденцы и потешались над «неумехой»)…

Тетя Тина обычно старалась на улице не отпускать от себя Толика, который в каждом военном «узнавал» своего никогда еще не виденного им отца и бросался к нему с криком «Мой папа!». Чем, конечно же, приводил в немалое смущение и свою мать, и не

ожидавшего такого натиска мужчину.

И вот этот несмышленыш, неумеха и плакса, по случаю праздника получивший свободу и бежавший по бульвару впереди всей нашей «команды», лавируя между встречными, вдруг остановился, наклонился и что-то поднял с земли. «Толя, брось сейчас же и ничего не подбирай!» – последовал обычный в таких случаях родительский оклик. Но через мгновение, когда стало видно, что именно Толик держит в руке, тон изменился: «Подожди минутку! Покажи, что ты нашел? Да это же подкова! Молодец! В такой день нашел подкову! Говорят, что подкова приносит счастье! Значит, скоро приедет папа!»

Услышав это, я почувствовал обиду и досаду. Ну почему не я шел впереди? Почему не я нашел подкову? Ведь я тоже очень хочу, чтобы и мой папа поскорее приехал! И я начал упорно глядеть себе под ноги, надеясь на чудо. И чудо произошло! Я увидел ее еще издали – ржавую, изогнутую дугой железяку, словно поджидавшую как раз только меня! Ведь многие, очевидно, прошли в тот день мимо этой подковы, не обратив на нее никакого внимания! Ее никто не замечал, она никому не бросалась в глаза! А заметной она сделалась лишь для меня. И, схватив подкову, я высоко поднял ее над головой и закричал так, что все окружающие обратили на меня внимание: «Мамуля, я тоже нашел подкову! Скоро папа с войны приедет!» Люди вокруг смеялись, и кто-то сказал: «Ну, раз ты нашел подкову в такой день, то теперь-то обязательно приедет!» Кто-то добавил: «Если дожил до победы, конечно!» А какая-то женщина сказала мне очень серьезно: «Ты, малыш, не выбрасывай эту подкову. Храни ее всю жизнь, и она всегда будет приносить тебе счастье!» И мы с мамой принесли подкову домой, обернули ее «серебряной бумагой» и повесили на гвоздь над входной дверью. И подкова не обманула – папа действительно приехал!

Прошли годы. Подкова долго хранилась в нашей семье. Она приехала с нами из Сталинска в Москву, где почти двадцать лет висела над дверью в нашу комнату – одну из двадцати комнат в длинном коридоре большого шестиэтажного дома, переоборудованного позднее в гостиницу «Урал» недалеко от Курского вокзала. Наверное, она и правда приносила нам счастье – во всяком случае, недостатка в друзьях ни у моих родителей, ни у меня никогда не было. А разве это не счастье? Не знаю, в подкове ли дело, но ведь получили мы в конце концов отдельную двухкомнатную квартиру-«распашонку» в одной из хрущевок – и это было по тому времени величайшим счастьем. А вход в квартиру уже привычно то ли охраняла от невзгод, то ли осеняла добром все та же старая, по-прежнему обернутая алюминиевой

фольгой подкова, найденная мною в День Победы 9 мая 1945 года. И женился я, и отцом стал – всё под сенью моей находки! Вот только в Германию мы подкову с собой не взяли.

Ели…

Маленький экскурс в историю человечества: в самых древних времен человек ел все, что только ни попадалось ему под руку: он – животное всеядное. Лишь бы продукт не был ядовитым! Но установить это можно было только на практике. Так узнавали, что без-обидное с виду растение смертельно, а ядовитая змея, если не успеет ужалить, идет в пищу. Племена, обитающие у воды, кормились рыбой и моллюсками, обитатели степей и саванн питались растениями и животными, которых могли поймать. Охота на крупных животных была одним из первых «социальных» действий. Жестокие голода были привычны для наших предков. Однако людоедство, как можно предположить, носило скорее ритуальный характер. В самые жестокие голода случалось трупоедство. История недавнего времени – ленинградская блокада, сопровождавшаяся небывалым для новейших времен голодом, – рассказывает об этих ужасах. В такие годы в пищу употребляли и крыс, и собак, и кошек, варили старые кожаные изделия, чтобы утолить голод.

В России голод – вещь привычная. Первое упоминание о голоде в России относится к XI веку. В XX веке Великих голодов насчитывают три – 1921–1922, 1932–1933 и 1946–1947.

Причиной голода во всех странах бывают обычно неблагоприятные природные условия: засуха, ливни, ранние заморозки, нашествие саранчи. Лишает людей пищи и война.

Историки XX века проанализировали причины голода в России и пришли к выводу, что голод 30-х годов был в большой мере следствием социально-политических обстоятельств. То же и в первые послевоенные годы: засуха 1946 года привела к снижению урожая – он был в два с половиной раза меньшим, чем в предвоенном 1940 году, послевоенная нехватка рабочих рук, сельскохозяйственной техники, которая не производилась в годы войны, лошадей. И тем не менее экспорт зерна не только не прекратился, но возрос: в 1946–1948 годах из страны было вывезено 5,7 млн тонн зерна, на 2,1 млн тонн больше, чем за три предвоенных года. Это было политическое решение: для восстановления разрушенной промышленности нужны были деньги, и они были вырваны изо ртов голодных людей.

В эти 1946–1947 годы СССР получил помощь международных организаций. Продовольствие и товары на сумму 250 млн долларов поступили по программе послевоенного восстановления, которая была создана за счет взносов стран – членов Лиги Наций. Американский Красный Крест предоставил

товары и продовольствие общей стоимостью 31 млн долларов. Но это была капля в море.

В 1947 году в СССР умерло 508 тысяч детей в возрасте до одного года. Это было первое послевоенное поколение, то поколение, которому был обещан коммунизм. Колхозницы воровали хлеб с полей, собирали колоски. Законы ужесточились. По официальным данным в конце 1948 года за подобные «кражи» в местах заключения содержалось 23 790 матерей, вместе с которыми за колючей проволокой отбывали «срок» малолетние дети. По стране прокатилась волна нищенства, которое достиг-ло невиданных прежде размеров. По самым приблизительным подсчетам, число нищих составило 2–3 млн человек.

Даже в тех регионах, где не было жестокого голода, ощущалась сильная нехватка продовольствия. Где достать продукты, как накормить детей, как избавиться от постоянного чувства голода? Эта мысль владела женщинами и мужчинами, старыми и малыми.

Мы живем во времена смущающего изобилия: сегодняшние люди, страдающие от ожирения и переедания, озабоченные снижением веса и поиском разного рода диет, составляют яркий контраст с худыми, подвижными, работающими до последних дней жизни послевоенными стариками. В наше время Россия, как и большин-ство «сытых» европейских стран, переживает невероятный ресторанный бум. Поваренные книги стали одним из самых потребляемых «продуктов», возникла новая отрасль в журналистской профессии – ресторанные критики, эксперты по изысканной кухне. Высокообразованные повара создают новые блюда, с необыкновенным набором вкусовых оттенков. Но есть ученые, которые считают, что «высокая кухня» – один из признаков скорого упадка цивилизации. Не знаю, насколько эта точка зрения справедлива. Но есть о чем задуматься.

Послевоенные домохозяйки проводили над своими печками, керосинками, керогазами не меньше времени, чем сегодняшние гурманы. Но что они готовили? Бедный супчик, каша, картошка. Это было безотходное производство: картофельные очистки – еда, свекольная ботва – еда, жмых – еда! Послевоенное поколение мечтало о хлебе!

Пережившая блокаду в Ленинграде сестра моего деда, когда я гостила у них спустя много лет, досуха выскребала содержимое яйца, чтобы не пропала ни одна молекула драгоценного продукта. До самой смерти она бдительно следила, чтобы ничего не выбрасывалось. Все подкисшее, подгнившее, третьёводнишнее она, вздыхая, подъедала: «Надо спасать еду!» Всякий раз, наблюдая, как отправляют на помойку горы недоеденных или

испорченных продуктов, я вспоминаю об этих стариках…

Этика людей моего поколения формировалась в эти скудные годы, многих из нас до сих пор коробит неуважение к хлебу. Среди тысячи полученных писем нет, кажется, ни одного, где не упоминался бы хлеб – буханка, батон, довесок, пайка, порция, ломоть… И, конечно же, хлебные карточки. Те, кто пережил те времена, помнят до самой смерти. А кто не слышал, пусть узнает.

Николай Белков (записано внучкой Екатериной Белковой)
Потерянные карточки

Первое воспоминание: мне три годика. Мать везет меня на поезде из поселка Могэс в детский сад на Пятницкой улице. Садик для детей сотрудников Мосэнерго, где мама трудится. До станции Карачарово, откуда мы ездили, еще и три с половиной километра идти надо было. Но когда приходили, смотрели, а там чудо и красота – паровые поезда. Тогда они еще ходили. Мамка меня отвозила в сад на всю неделю, до субботы.

Помню сорок пятый год. Победу. Все паровозы в тот день загудели. Даже нашему поселку слышно было. Люди закричали и побежали на улицу. Уличное радио на столбе объявляло, что кончилась война.

До сорок седьмого года была карточная система. Я один раз потерял все карточки на месяц. Мне тогда три или четыре годика было. Вот мать лупила меня! Прям по жопе веревкой, а как же? И плакала. Кушать было нечего, страна голодала.

Помню эти карточки на хлеб: четыреста грамм – рабочая, двести грамм – детская. Ничего, как-то выжили. Помню, ботву привозили на корм лошадям. А там «шлепочки», попки от морковок. Их и ели.

А еще идешь по поселку, у кого есть еда, тот угощает. Видят ребенка, сразу – «На́ пирожок». Все друг другу помогали – это и была война.

В поселке было десять или одиннадцать бараков, это значит двадцать, может, тридцать комнат. И керосин стоял у каждой двери в коридоре, чтобы в лампы наливать. Мы жили в бараке номер три – я и мамка моя. За водой ходили на колонку.

Мама работала то в первую смену, то во вторую. Оставляла меня на соседей. Все так делали. Общение тогда людское было, понимаешь?

В 1949 году я пошел в школу. В этот год продукты стали покупать, но муку по три килограмма в месяц давали на человека. Моя первая учительница брала меня с собой, чтобы побольше муки дали. «У меня сын на иждивении!» – говорит. И ей давали. Так мы убегали с уроков с ней и стояли в очереди за мукой.

Анна Сальникова
Девочка без карточек

Нет, в нашей семье не было потерь от костлявых смертельных рук войны, никто в ней не участвовал: отец был слепым, мама – тоже инвалид. Не были мы беженцами, не были и под немцами, но все тяжести военных и послевоенных лет тоже ощутили сполна. И вот теперь я, единственный очевидец, вспоминаю все так живо, будто это было вчера.

В нашей семье было четверо детей, я и братик самые младшие. Нас, детей, выручало молоко, которое покупали у соседей, державших корову. Обычно нам полагалось пол-литра молока на день, пока родители не придут с работы и не приготовят что-то. Однажды братик выпил все молоко, но сообразил детским умишком, что сестренке ничего не осталось, испугался и… налил в банку воды. Я увидела, что молоко подозрительно голубого цвета, попробовала и поняла – в банке просто вода, подкрашенная молочными остатками, но ничего не сказала братику. Потом жизнь развела нас, но при встрече брат снова и снова просил у меня прощения за свой поступок.

Вспоминается мне до сих пор и жареная картошка на вонючем рыбьем жире, но это сейчас кажется ужасным, а тогда картошечка казалась такой вкусной! А сколько раз приходилось чистить целый чугунок мелкой картошки, величиной с грецкий орех. Делали пюре без всякого масла и молока. Только картошка и вода! Ни о каких яйцах понятия не имели. Большим подарком была требуха, отданная или проданная соседями. Долго мы с мамой обрабатывали ее кипятком, а после варки уплетали за обе щеки. Недоеденная каша не выбрасывалась в ведро: мама из остатков делала и оладьи, и блинчики. А до ее прихода с работы, пока она что-то приготовит, мы довольствовались после школы луковицей с подсолнечным маслом и солью. Ах, как вкусно!

В одном дворе с нами жила моя подруга детства, худенькая Лариса. Их семья для таких тяжелых времен была богатая. У Ларочки была самая большая и красивая кукла: гуттаперчевая красавица с пушистыми светлыми локонами и большими закрывающимися глазами. Даже хозяйка редко держала куклу в руках, не говоря уж о других детях. Порой поможешь у них в доме помыть полы, и в награду за это тебе разрешали подержать несколько минут эту куклу, а она размером чуть ли не с тебя. Потом кукла водружалась на комод, где гордо восседала и свысока посматривала на детей. А так у всех были куклы в

основном тряпичные с глиняными головками. И у меня была такая же, но папа по слепоте своей однажды сел на нее и, конечно, раздавил. Тогда кукол мне стали заменять полотенца, смотанные в рулончик и подвязанные носовым платком вместо косынки. Не было у детишек и кукольной одежки, кукольной посуды и мебели. Земля-матушка, да песок, да кусочки бумаги и палочки от деревьев или найденные на дороге красивые стекляшки от чьей-то разбитой посуды. Во что играли? Еще любили прятки, лапту, штандер, казаков-разбойников. Бывало, по вечерам сидят родители да старики на крылечках, щелкают семечки, говорят о чем-то о своем, а детвора со всего квартала собирается и играет, не мешая родителям отдыхать от тяжелого трудового дня.

Видела я сытую жизнь Ларисы. Иногда меня сажали за стол вместе с ней покушать лишь только для того, чтобы Ларочка съела «хоть самую малость». А у меня всегда аппетит был «звериный», съедала бы все, чем угощали, но понимала, что надо быть «вежливой и тактичной», и сдерживалась. Нравилось мне бывать в этой семье: и дом казался большим, и кукла была настоящая, и мух почти не было, а в летнее время – червей. Да, да – настоящих живых ползучих червей! Как я уже упоминала, Ларочкина семья была богатой и у них скотины был полный двор: корова, лошадь, свиньи, куры. Весь этот скотский помет, или, по-другому, навоз, вычищался из сараев и складывался недалеко от нашего крыльца. За зиму куча вырастала огромная, и, как только становилось тепло на улице, хозяева нанимали женщин и делали кизяк (смесь навоза с соломой). Этот кизяк раскладывали по всей площади двора. Солнышко пригревало, в кизяке заводились черви. И расползались повсюду. Поскольку домик наш был без фундамента – прямо на земле, то черви заползали и в дом. А где черви, там и мухи черными стаями заполняли комнаты. И ничего с этим не поделаешь, пока кизяк не высыхал. Потом этот кизяк в виде кирпичей складывали в маленькие кучки, затем в большие штабеля, и лишь когда он высыхал окончательно, переносили в сарай. Лишь спустя много лет городские власти запретили собирать навоз во дворах.

Но вернемся лучше к столу, ко всякой вкуснятине, которой старались напичкать Ларочку. Видела тетя Паня, Ларисина мама, что мне всегда нравилось быть у них в доме. И вот однажды решила пошутить:

– Нюся, хочешь быть моей дочкой?

– Хочу! – представляю, как заблестели от радости мои глаза.

– Беги домой, возьми у мамы карточки и приходи к нам.

Вприпрыжку я побежала домой и, задыхаясь от радости,

выпалила:

– Мама, дай мои карточки, и я пойду жить к тете Пане. Лариска будет моей сестрой.

Обняла меня мать, погладила по головке и сказала, горько улыбнувшись:

– Глупенькая, пошутила над тобой тетя Паня. Если бы ты нужна была ей, она взяла бы тебя без карточек.

И стала объяснять, что без продуктовых карточек мы останемся голодными. Когда мне приходилось идти в магазин, мама строго наказывала:

– Смотри, только не потеряй.

Продавщица в магазине ножницами отрезала талоны и взвешивала то сахар, то крупу, то хлеб. Слава Богу, вроде бы всегда все было хорошо и не было потери карточек, а может, я просто не знала всех подводных течений, может, взрослые вслух не говорили об этом. Но создалось впечатление, что весь период карточной системы в нашей семье прошел без потерь. Отменили карточки в 1947 году.

Иногда средняя сестра брала меня с собой в столовую железнодорожного депо, где она тогда работала. Но, чтобы сократить путь, сестра пролезала под железнодорожными составами, а за ней и я. Какой страх приходилось заглушать в себе! А вдруг в этот миг поезд тронется?! В депо рабочим часто выдавали брынзу, и тогда сестра приносила ее домой. Наверно, не могла съесть из-за того, что она была уж больно соленая. На всю жизнь и мне запомнилась эта соль.

А еще поминки… За поминальными столами сидели сначала взрослые, а потом усаживали детей со всей округи. Как ни тяжело жилось, но поминки все всегда старались сделать по всем правилам. Обязательно подавались блины с медом, рисовая сладкая кутья. Потом обязательное блюдо – борщ с мясом, тушеная картошка, тоже с мясом. Потом пшенная каша на молоке и в конце компот с пирогами. Мы, дети, не сознавали трагичности происходящего, главное – сытно покушать.

В летнее время хорошим подспорьем для детской «подкормки» служил черный паслён. У соседской девочки, Милы Рукавицыной, был длиннющий двор. Не принято было сажать что-то во дворах, так как полива не было, а носить воду из колонки за два-три квартала было слишком тяжело. Вот и приспосабливали дворы кто подо что, а чаще просто пустовала земля. У Рукавицыных весь двор зарос пасленом. Спелый паслен заменял сахар или конфеты. Взрослые пекли с пасленом даже пирожки. Нет, у нас пирожки не пеклись, но Мила разрешала собирать паслен сколько хочешь. Большим везением было, если

насобираешь целую кружку этой ягоды и потом лакомишься, стараясь растянуть удовольствие.

Антонина Кухтина
Карточки отменили, очереди остались

Самое первое и самое яркое воспоминание детства – это очереди за хлебом. Мне тогда было четыре года, а брату – два. Карточки на хлеб к тому времени уже отменили, а вот очереди…

Отец поднимался в четыре часа утра. Наскоро перекусив и выпив чаю, он шел в ближайший магазин занимать очередь. А к восьми часам ему нужно было идти на работу. К этому времени мама поднимала нас, хныкающих и невыспавшихся, умывала, кормила, и мы шли на смену отцу.

Он сообщал нам номер очереди, записанный химическим карандашом на ладони, затем громко объяснял стоящим сзади, что это вот и есть его семья, на которую он занимал очередь и о которой он их предупреждал. Только тогда мы равноправно вливались в это временное сообщество, а отец уходил на работу.

У магазина уже не просто стояла, а клубилась огромная толпа: женщины, дети, старики. Стояли здесь и мужчины, почему-то всегда уже успевшие подружиться и «сообразить». Кто-то вязал носки, кто-то монотонно и однообразно рассказывал всем желающим каждый день одно и то же о тяжелой, беспросветной жизни и о погибших кормильцах. Тут же завтракали, матери кормили грудничков. Однажды женщины, собравшись в кружок, даже пели песни.

Ближе к обеду подвозили хлеб. Он мог быть белым, пшеничным, ржаным или пеклеванным. Что означает это слово, не знаю до сих пор. И тут начиналось настоящее светопреставление. Очередь «строилась», и дети, несмотря на их слезы и протесты, также запихивались в нее. Ведь норма продажи – булка в руки, иногда полторы. И тут уж бдительно считались даже наши детские ручонки. Огромная очередь выплескивалась далеко за пределы магазина. Слышались бесконечная ругань и выяснения, кто здесь стоял, кто не стоял. Чем ближе к прилавку, тем ожесточеннее проходили баталии, ведь первые обычно занимали очередь с вечера.

Добровольные блюстители порядка торжественно закрывали двери, и не дай Бог, если кто-то в этот момент отошел по делам или просто зазевался, а его честно выстоянная очередь оказывалась внутри магазина. «Занимай снова!» – вот и весь сказ.

Тут-то и вступал в свое решающее действие номер, написанный на ладони. Когда очередной распаренный, счастливый обладатель хлеба выбирался из магазина, только этот

номер очереди служил находящемуся на улице законным пропуском туда, ближе к хлебу. Причем с завидным постоянством находились «любители» подделать этот несчастный номер, и с таким же завидным постоянством они тут же вычислялись почти сроднившейся за полдня толпой и торжественно изгонялись из ее временно дружных рядов. А иногда даже маленько избивались под одобрительные возгласы окружающих. Драки, смех, ругань, мат…

Как только очередь добровольного наблюдающего исчезала в магазине, ему тут же находилась достойная смена; желающих почему-то всегда было больше, чем нужно. Купленный хлеб расходовался очень экономно и растягивался на несколько дней. Если хлеба на всех в магазине не хватало, а такое частенько случалось, то на следующий день все повторялось сначала.

Однажды, когда моя счастливая мама, держа на руках братишку и подталкивая вперед меня, сказала продавщице: «На троих», та вдруг заартачилась:

– Нет, только на двоих! Пацан маленький, он не считается!

– Как это не считается? Он ведь тоже полдня толокся в этой очереди!

– А вот так! Не считается, и все! Да он и хлеба-то столько не съест! Бери на двоих и уходи! Не мешай работать!

Толпа загудела. Одни, с малыми на руках, истерично закричали:

– На всех! Давайте на всех!

А стоящие без детей, конечно, приняли сторону продавщицы:

– Не давать! Не давать! А то соберут всех соседских сопляков и хапают, хапают!

Да, было и такое. Иногда, купив хлеба по своей очереди, матери по договоренности тихонько передавали своих детей соседям или родственникам, стоящим сзади. Ребенка ведь легче подсунуть в очередь, у него нет номера на ладони, а научить громко называть соседку или тетю мамой, чтобы купить лишнюю булку хлеба, не так уж и сложно. Один-два раза могло сработать.

Короче, продать хлеб на братишку нам категорически отказались, несмотря на горячие заверения сочувствующих знакомых:

– Да ее это пацан, ее!

Это был первый и последний раз в жизни, когда я видела, как громко и безутешно плакала несчастная мама, как истошно кричал перепуганный братишка. А вокруг были глаза, глаза! Одни – заплаканные, несчастные и сочувствующие, другие – озлобленные, торжествующие и довольные. А вечером, рассказывая о происшедшем отцу, мать в сердцах сказала

братишке слова, о которых жалеет до сих пор:

– Видишь, Петенька, хлеба на тебя не дали, значит, и кормить тебя не будем.

Двухлетний братишка не очень-то и понял, о чем она говорит, а вот со мной случилась ужасная истерика, после которой я несколько дней не могла подняться с постели.

Анатолий Компаниец
Туркменский лук

Впечатления детства сохраняют свою остроту практически на протяжении всей жизни, моей уж точно. Память не знает жалости, она иногда впрыскивает в тебя дозы такого свойства, что хочется выпрыгнуть из своей оболочки, удалиться от нее до поры, пока это воспоминание не опустится в глубины памяти. Но чаще память служит мне по-доброму.

Операция по эвакуации усеченного киевского семейства прошла успешно. Отец с 22 июня был в строю. Мама, дочь десяти лет и сын трехлетка (да простит читатель, мне проще говорить о себе в третьем лице) после краткого пребывания у нелюбезной тетки в Ставрополе оказались в Ашхабаде, в семье сестры отца.

На быте семьи четко отражались события на фронте. После разгрома под Киевом элитной дивизии, в которой служил отец, и перевода его в общеармейскую часть, содержимое продовольственных пайков изменилось (вместо сахара давали торты, а их сменила сахарная свекла). Прошло полтора года.

Мама и родичи на работе, сестра в школе. Почти пятилетний хлопчик дома один. Точнее, не дома, а во дворе. Дом заперт. Заперт и двор, окруженный высоким забором – дувалом. Жарко, тени коротки, солнце в зените. Большая акация во дворе тени не дает. Вдоль забора ползают две черепахи, отыскивая выход куда-то. Есть едва прикрытый досками глубокий безводный колодец. Мама хранит в нем продукты. И есть еще деревянный ящик, в котором легко помещался малец. Но нет игрушек. Ни одной. Подобно черепахам, обошел весь периметр двора, ведя палочкой по забору и стенам… Дом и двор оживут нескоро. Мальцу тоскливо от одиночества, страшновато от одиночества и от одиночества хочется плакать. Но еще больше хочется есть.

Голод обостряет чувства. Пацаненок видит добротный ломоть хлеба с остюками, окропленный хлопковым маслом, и слюнки обильно орошают рот. Он их глотает, глотает, но это ни голода, ни жажды не утоляет. Под крыльцом, спрятанная от солнца, стоит банка с водой. Он ее достает, пьет воду и от досады всхлипывает – вода почти горячая. А холодная вода такая вкусная! Но жажда утолена. Голод остался.

Он здесь один уже очень давно, по солнцу определять время еще не умеет. Знает только, что, когда тень от дома достигнет во-о-он того угла двора, из школы вернется сестра… Да все равно обедать-ужинать будут только с мамой. Но он умеет определять

время по часам, висящим в комнате тети, прямо против окна. Часы эти ему очень нравятся, особенно два железных грузика на цепочке, которые напоминают ему что-то вкусное. Мама называет их бананами. Чтобы заглянуть в комнату, нужно перетащить ящик поближе к окну и с него рассмотреть большую и маленькую стрелки часов. Цифры он знает хорошо, но желанное время определяет по положению стрелок – мама придет, когда маленькая стрелка совсем опустится, а большая будет вверху.

Перемещение ящика особых усилий не потребовало – он сооружен из тонких дощечек, расположенных на расстоянии друг от друга.

Дело сделано, ящик на месте. Малец осторожно карабкается на шаткую опору и, еще не взглянув в окно, слышит-чувствует, что в ящике что-то стукнуло (упало?). Глянул вниз и через щель между планками увидел… луковицу! Там луковица! С ящика не сполз, а спорхнул. Там луковица! Перевернул ящик, сложившись вдвое, дотянулся и, медленно сжав пальцы, стал ее властелином! Не беда, что при этом оторвалась пуговица, которой пристегивается шлейка штанишек. Мама не ругает, если пуговица не утеряна.

Теперь торопиться не следует. Нужно расправиться с трофеем в комфортных условиях.

Комфорт обеспечит всё тот же ящик. Обладатель луковицы неспешно переворачивает его на бок, забирается в ящик и приступает к трапезе.

Луковица очищена. Она, видимо, давно находилась в этом ящике и существенно привяла. Нет, откусывать от нее он не будет. Он отделяет слой за слоем и очень медленно их жует. Привядшая луковица не вызвала специфической реакции слизистых. Осталась сладость и еще какой-то особенный привкус, который ощущался, когда язык прикасался к мягкому нёбу. Это было не просто поедание, это было впитывание каждой частички сока и мякоти овоща истосковавшейся по еде плотью. И это впитывание сопровождалось нарастающей радостью жизни. Притупилось чувство одиночества, и плакать совсем расхотелось. Пропало даже желание посмотреть на часы.

Он положил оторвавшуюся пуговицу в карман штанишек, вздохнул облегченно и уснул в этом ящике.

Сестра не стала его будить, а мама вытащила из ящика, обцеловала и повела в дом. А он указал маме на шелуху и спросил, как называется этот лук. Мама сказала, что это туркменский лук.

Память об этой луковице и ее вкусе, ящике и дворе остались на всю жизнь.

Юрий Орлов
Бой без правил

Эх! Сегодняшнюю гастрономию, что давно ломит и прогибает прилавки даже сельских магазинов, хоть на миг перенести бы в далекие послевоенные годы… В то время все люди (кроме жуликов, хапуг, несунов и прочего отребья) жили бедно, и когда нынешним школьникам рассказываешь про тогдашнее житье-бытье, они лишь снисходительно улыбаются, как бы говоря: «Давай, давай, дедуля, загибай дальше…»

А те дедули, чье детство, как и мое, было голодным и холодным, вспоминая былое, хмурят брови, а бабули, не стесняясь, смахивают мелкую как бисер и холодную как капель слезинку.

…Было это году в сорок седьмом или сорок восьмом. Моя мама, в отличие от своих пятерых братьев и сестер, часто болела. Не знаю, как называлась та болезнь, которая бросала маму в цепкие объятия приступов удушья и сильных сердечных болей, и я, боясь возможного самого страшного исхода, неистово прижимая к груди маленький образок, взывал к Богу: «Боженька, миленький, спаси мою маму. Она хорошая, самая хорошая, я ее очень люблю».

Часто мои мольбы помогали, и приступы вроде бы проходили, а когда не проходили, тогда отец бежал к своему директору и просил его:

– Выручайте! Дайте вашу упряжку отвезти жену в больницу, ей снова стало плохо.

И директор Новосибирского завода бетономешалок Евгений Владиславович Кравцов давал своему сотруднику, главному экономисту, то есть моему отцу, свою «персоналку»: летом – двуколку, а зимой – дровни.

Я и сейчас вспоминаю этого доброго руководителя, много раз выручавшего нас своим «персональным» транспортом. А сам он частенько после тяжелой работы (должность директора – трудная доля!) возвращался домой пешком.

Но тогда это была норма жизни, норма поведения. То были поистине советской закалки люди, для которых слова «товарищ», «патриотизм» не были пустым звуком. Это сейчас эти слова потеряли высокую цену, их и произносить стало как-то неловко…

…В один из ничем не примечательных дней отец, уходя на работу, разбудил меня рано утром:

– Сын, вставай, надо навестить маму. Я сам не смогу – ты

видишь, работаю без выходных.

Наша мама уже месяц лежала в больнице. А в больнице, мы знали, кормят плохо, и врачи прямо говорили, чтобы приносили свою еду из дома. А тут как раз нашим соседям подфартило – из деревни прислали посылку, и они дали для мамы небольшой, грамм пятьдесят, кусочек мяса. Ночью, пока мы с братьями спали, отец сварил супчик. Его-то я и должен отвезти маме.

Больница находилась на противоположном конце города, на окраине. Сначала нужно было проехать на двух трамваях, потом на автобусе и дальше пешком через небольшой лесок.

Я взял кастрюльку с супом за две ручки, которые отец предусмотрительно «сварганил» из бумажного шпагата, завернул в тряпицу кусочек черствого черного хлеба, положил все это в сумку, прихватил бумажку-«путеводитель» и поспешил на трамвайную остановку.

Ехал я долго, наверное, часа два, а то и больше. Я уже шел через лесок, впереди сквозь высоченные сосны забелело здание больницы, и, несмотря на изрядную усталость от дороги, все же прибавил шагу.

Вдруг откуда ни возьмись передо мной нарисовалась ватага таких же, как и я, пацанов. Они сразу взяли меня в кольцо. Их было четверо. По виду они были моими одногодками – лет по десять, а один значительно старше. Я мысленно дал ему кличку «старшой». Он был, видимо, главарь.

– Куда это мы так торопимся? – наступая на меня и суживая кольцо осады, подкинул мне вопрос «старшой».

– Да к мамке я иду, в больницу. Она сильно болеет.

– Ты, как я вижу, не с пустыми руками идешь к своей мамке?

– Да вот папка сварил супа – мама совсем голодная.

– А можно ли твоей больной матери кушать это пойло? А ну-ка, Васек, попробуй, может, и не вкусный суп-то вовсе? – с подленькой ухмылкой обратился «старшой» к одному из дружков.

– Вы что, пацаны! Мы с папкой даже по чайной ложке не попробовали – это только для мамки. Ей поправляться надо. Без нее мы все пропадем. Отпустите меня!

– Ты че, Васюха, не слышал, что я тебе сказал? Бери у него котелок!

– Не подходите! – я принял угрожающую позу. – Первый, кто приблизится ко мне, получит по я…м вот этим сапогом! Не подходи!

– Ты глянь, какой сердитый. Не таких обламывали. Нас в детдоме тоже плохо кормят. Что нам, подыхать с голодухи?

– Я-то тут при чем? Когда я был в пионерлагере, там тоже были детдомовские, они справедливые. А вы… Это нечестно!

Это… – я не успел договорить, как сзади двое или трое пацанов навалились на меня, схватили за руки, вырвали сумку и отбежали в сторону.

– Отдайте, гады! Отдайте! – я ругался и умолял пацанов. – Отдайте сумку! Что я мамке скажу? Что скажу отцу? Братья подумают, что это я слопал суп…

– Ну-ка, дайте-ка мне отхлебнуть из баклажки, – приказал «старшой».

Ему повиновались и поднесли кастрюльку с супом.

– Да ты что, пацан, в натуре! Разве можно больного человека кормить такой гадостью? Ну-ка, пацаны, попробуйте. По-моему, отрава какая-то, а не суп, – ерничал «старшой».

Не выдержав издевательства, я рванулся к обидчику. Теперь руки у меня были свободны, а драться, хотя и был хиляк, я умел. Мне нужно было во что бы то ни стало отобрать то, что еще оставалось в кастрюльке.

– Отдайте! Убью! Сволочи! Отдайте!

Я кинулся на главаря и врезал ему, как и обещал, в пах со всего размаха детским, но увесистым кирзовым сапогом. Он душераздирающе завопил:

– Ой, больно! Пацаны, помогите! – скрючившись в три погибели и обхватив пах двумя руками, орал «старшой».

Я же в тот момент ничего не видел и ничего не сознавал: кого-то кусал, кого-то рвал за уши, кому-то въехал по зубам… Я неистовствовал. Страха не было и в помине. И боли не чувствовал, несмотря на то что на меня сыпались десятки тумаков по голове, по ребрам, по животу…

«Лишь бы не упасть», – пронеслось у меня в голове.

И вдруг все разом стихло. Только сквозь свалившуюся на голову тишину слышалось птичье чириканье. «Старшой» теперь уже молча, корчась от боли, отползал в тень деревьев, а остальные: кто – сплевывая кровь, а кто – вытирая сопли – вполголоса грозили:

– Берегись, на обратном пути ноги тебе переломаем.

А я сидел по колено в пыли, один зуб мой шатался и готов был покинуть своих собратьев, глаз заплыл, рубашка разорвана от ворота до пупка, правое колено нестерпимо ныло от боли, а из носа тонкой горячей струйкой текла кровь.

Но все это показалось мне мелочью по сравнению с тем, что кастрюлька с остатками супа была отвоевана и я мог, пусть на донышке, но все-таки отнести эту драгоценную еду маме. «Чернушку», лежавшую тут же в песке, я поднял, бережно положил на ладонь и долго сдувал с этого кусочка хлеба пыль, а потом с трудом поднялся и заковылял, прихрамывая, к больнице.

Дмитрий Виноградов
Буханка № 13

После окончания первого класса в 1951 году мне было предложено поехать в пионерский лагерь. Я очень удивился, поскольку не был еще пионером. Мне в школе объяснили, что туда направляют только отличников. А на все четыре начальных класса я был таковой один. Я очень опасался, что пионеры встретят неприветливо, как самозванца. Но оказалось, что таких, как я, еще три человека. Нам выдали пионерские галстуки и обязали носить их ежедневно. Слово учителя в те времена было равносильно закону.

Это уже позже я узнал, что государство подкармливало детей из малообеспеченных семей, отправляя их в пионерский лагерь. Времени прошло много, и я мало что помню, но на всю жизнь запомнился поход за хлебом. Лагерь находился в деревне с экзотическим названием Гноев (по русски – Навозово), а хлеб приходилось приносить в лагерь из соседней деревни Борисовщина через речушку. Начальник лагеря Ерошок Григорий Васильевич ежедневно отправлял за хлебом шесть человек, которые должны были принести в лагерь тринадцать буханок хлеба. Старшим начальник ставил кого-либо из ребят порасторопнее. И вот перед «командой» вставал вопрос: «Как донести тринадцатую буханку, если в руках можно было нести только по две буханки, а вот тринадцатую – некому?» Тогда принималось решение злополучную буханку попросту съесть, что и совершалось в прибрежном кустарнике.

До сих пор помню тот стыд, когда мы стояли перед Ерошком. Он молчаливо выслушивал объяснения старшего, что, дескать, буханок-то и было всего двенадцать. Затем, отрешенно махнув рукой, отпустил всех безнаказанно. Я затем старался обходить начальника стороной, поскольку не мог смотреть ему в глаза.

Назавтра за хлебом отправлялась другая команда. Но история с тринадцатой буханкой повторялась снова. И так до конца смены.

Уже будучи взрослым, после окончания института я попал на работу к Григорию Васильевичу. Там при первой возможности исповедовался перед ним за этот детский грех. Он только грустно усмехнулся, сказав, что он знал об этом и делал это специально. А сама тринадцатая буханка выпекалась в деревенской пекарне нелегально по уговору Ерошка с начальником пекарни. Оказывается, они на фронте служили в одной части в разведке.

Эти люди, с лихвой хлебнувшие горя, изобрели свой способ подкормить оголодавших детей, поскольку видели, что лагерного пайка нам явно не хватает. Конечно, способ не из лучших, но вкус того лагерного хлеба я помню до сих пор. Ничего более вкусного мне в жизни есть не приходилось.

Юрий Леонов
Лепешки с лебедой

Восемьдесят километров от родной деревеньки Белорусцы до Вятки отец когда-то одолевал в лаптях за два дня. А мне на велосипеде из Кирова до тех Белорусцев – да одним махом. С такими самоуверенными заявлениями отец не спорил, лишь похмыкал многозначительно. Но и отговаривать от затеи не стал. Мол, вымахал выше меня ростом, в девятый класс перешел, пора самому отвечать за свои поступки.

Об этом разговоре вспомнилось, когда я покорял очередной тягунок на полпути к деревеньке. Тягунок был длинный. Пыль от редких встречных автомашин успела припудрить лицо так, что слипались глаза, а шеренгам трухлявых берез вдоль обочины, казалось, не будет конца.

К посеревшей от непогод избе тетки Анны я подрулил за полдень. В доме была лишь туговатая на ухо бабушка Василиса, двоюродные сестры-малышки да туча мух. Бабушка, как водится, заохала, закружилась, не зная, куда усадить, чем потчевать гостя. Голодное время стояло – сорок девятый год. А я, гостинцы передав, сказал, что пойду навещу дядю Федора.

– Сходи, родимый, сходи, – благословила меня бабушка, осенив крестом, словно провожала в дальнюю дорогу, а не в соседнюю избу.

Дядя Федор в свои далеко за шестьдесят годков еще плотничал по окрестным деревням, и в доме его всегда водился достаток. Так что завернул я к нему не без тайного умысла. За дальнюю дорогу живот так подвело, что, казалось, мог за один присест съесть всё, что приготовлено было бабушкой на семью.

Еще не пригнутый годами дядя Федор, поблескивая крепкими зубами, встретил племянника по-царски. Крепко пожал руку узловатыми, в трещинах и порезах пальцами и провел в горницу, где дразняще пахло притомившимися в русской печи кислыми щами. От одного запаха их закружилась голова, и я присел на табуретку.

Пока дядя Федор расспрашивал про городское житье-бытье, на столе появилась горка пышных румяных оладьев, а чуть позднее и самовар. К оладьям были поданы миски и с медом, и со сметаной, так что я с аппетитом отдал должное угощению. Мечталось, правда, о тех самых, кислых, наваристых, да разве язык повернется сказать об этом. Спасибо и за оладьи, наелся я их до отвала.

Подивиться успел, какая молодая жена у дяди, едва ли не мне ровесница. И статью вышла, и на лицо пригожа. Ишь как порхает по избе! Вот так дядя Федор! Такую кралю подцепил на старости лет!

Тем временем исчез самовар, а на место оладьев воцарился графинчик настойки, а к нему – и соленые пупырчатые огурчики, и грузди в сметане, и нарезанное тонкими ломтиками сало…

– Небось можно уже тебе? – спросил, наливая по маленькой, дядя Федор. – Настойка целебная, на калгановом корне.

Мне оставалось лишь кивнуть, хоть прежде доводилось пить только любимую мамину «сливянку». Пригубила с нами рюмочку и хозяйка, сразу зардевшись маковым цветом. Стеснялась она меня и, едва присев за стол, упорхнула.

Горька была настойка, еле в горло пролезла. Зато я с удовольствием отдал должное и грибочкам, и салу. Вот уж и сыт стал совсем. А оказалось, что это только прелюдия к застолью.

Когда дошел черед до тех самых наваристых щей, места для них в желудке уже не осталось. А впереди, как выяснилось, ждала гостя и картошка, тушенная наверняка с какой-то вкуснятиной.

Ну не издевательство ли это над человеком? Если б знать порядки, бытовавшие раньше на вятской земле, – сначала разогреть гостя с дороги чайком, чтоб не скучал за столом, а уж потом потчевать по полной программе, – разве б накинулся с такой жадностью на оладьи?..

ЯН 12-4

Да и порядки эти остались в ту пору лишь у редких зажиточных хозяев. А той же тетке Анне, к которой я приехал на несколько деньков, такие порядки и не снились. С рассвета до

заката отрабатывала она в поле свои трудодни, чтобы осенью получить на каждый по килограмму ржи. И держалась семья на том, что давали куры, коровенка да огород, который грозились отрезать за недоимки по продналогам. Хоть привез я из города и хлеб, и кое-что из продуктов, а все равно чувствовал себя стеснительно. Велико ли подспорье – грибы да ягоды, что приносил из леса?..

В первый раз по грибы собралась со мной и бабушка Василиса. Годами она была намного старше дяди Федора, но огород держался на ней. Чудно выглядели наши сборы. Я взял с собой под грибы плетеную корзину. А бабушка… бутылку.

Не спеша отправились в лес, что напротив, за логом. Едва дошли до опушки, я стал срезать подберезовики да обабки. А бабушка будто вышла лишь прогуляться. Ни разу к земле не нагнулась, пока не набрели на ельник. Там ничего не росло, кроме мхов, и я не мог понять, почему мы здесь остановились. А бабушке это место, как видно, издавна приглянулось.

Она ковырнула палкой пласт мхов, и оттуда проглянули розовые шляпки совсем молоденьких рыжиков. Те, которые проходили в горло бутылки, бабушка и брала, быстро заполнив тару. Очень дивно было смотреть на такую грибную охоту. Но понять ее секрет удалось вскоре.

Едва вернулись домой, бабушка залила чесночным рассолом бутылку с маломерками, тщательно закупорила ее и опустила на веревочке в колодец с ключевой водой – местный холодильник. Когда приедет в гости отец, она достанет эту бутылку, и до чего же вкусны и ароматны окажутся те скользкие рыжики, сдобренные сметаной.

В один из дней двоюродный брат, тонкошеий, загоревший до цвета пленки от топленого молока, Колян, позвал меня на рыбалку. Правда, не сразу было понятно, куда он меня зовет. Ведь кроме речушки Лыстанки, более похожей на ручей, вокруг – никаких водоемов.

– А в Лыстанке и рыба, – попробовал развеять мои сомнения Колян. – Правда, одни гольяны, да ведь все равно – рыба.

– А удочки есть?

– Тю! А корзины на что?.. Корзиной знаешь как ловко их…

Подходящие корзины, как оказалось, надо было взять у тетки Тани, тоже сестры отца. Сколько же их у него, сестер, не то три, не то четыре, и все живут на одной улице, у всех мужиков забрала война.

– Ей и рыбу отдадим, – как о чем-то само собой разумеющемся сказал Колян. – Девок у нее трое, поди-ка всех накорми…

Пошли на рыбалку рано – только стадо прогнали за околицу. Солнце малиновым шаром просвечивало сквозь ветви берез на том берегу.

Лыстанка – тихая речка, шепчет по мелководью в логу, чуть пошевеливает тугие стебли стрелолиста да седоватые пряди осоки. Где тут рыба?

– А вот мы ее сейчас… – приговаривает Колюня и, опустив корзину с мшистого бережка, лихо бьет по нему босой пяткой.

Что-то затрепыхалось в сорной траве на дне ивовой снасти. Небось лягуха?..

Колюня резво сунул туда пятерню и выволок на божий свет блеклое хвостатое созданье размером с гороховый стручок.

– Во! – торжествующе приподнял братан свою добычу над головой. – А ты говоришь… Если повезет, может, и на пескаря наткнемся. Они тут под камнями да под корягами. А еще, рассказывали, сома однажды припутали… Здесь! А где же еще?.. В половодье тут знаешь как вода гуляет…

Через час такой рыбалки и я почувствовал нечто вроде азарта. Запустишь руку под какую-нибудь кочку, а тебе в ответ пощекочет пальцы неведомо кто. Вытащишь его, бедолагу, – и в пестерь. А там уже еле дно просвечивает – всё копошится, елозит по бересте. И так хочется поймать того самого, усатого, чтоб все в деревне только ахнули.

Правда, однажды ухватил меня за палец клешнею рак. Не столько больно было, сколько напугал он меня. Никак не ожидал такого конфуза. Однако охоты шариться по чужим закуточкам рак не отбил.

Ближе к полудню мы поднялись по косогору с увесистой добычей. Среди гольянов трепыхалось и несколько пескарей.

На правах забойщика Колюня внес пестерь в избу тети Саши, как знамя. Одетая в домотканую одежу тетка всплеснула руками и принялась открещиваться от такого дара как могла.

– У самих-то жрать нечего, – напирала она на братана. Но в конце концов сдалась на условии, что пожарит сейчас эту рыбу, а есть будем вместе.

От той трапезы осталось самое горькое воспоминание о послевоенной деревне. Когда поставила тетка на стол артельную сковороду с томленными в молоке рыбешками, то, извинившись, подала к ним и лепешки цвета макухи, как называли в войну наше лакомство – подсолнечный жмых.

Три детских рта жевали напротив, три пары серых глаз внимательно смотрели, как я, отломив кусок лепешки, старался проглотить ее, не покривившись. Легче было пить горькую настойку, чем протолкнуть в себя кусок такого печива. Лепешка

горчила и царапала небо колючей остью. Рецепт такого изделия оказался несложен:

– Лебеда да сныть, отруби да немного крахмала из прошлогодней картошки. Так что ты уж не взыщи, племяш, за такое угощение. Может, когда и вспомнишь, как мы тут выживаем.

Помню, помню, теть Саша, и по сию пору, хоть давно уже нет и тебя в живых, и не осталось следа от той деревеньки…

Съев пару рыбок, я поблагодарил за прием, ругая себя за то, что не догадался кинуть в рюкзак лишних пару буханок хлеба. В то время он продавался в городе уже не по карточкам.

Выйдя на улицу, Колюня сказал, что тошнотики всё же вкуснее таких лепешек, и пояснил, что это за еда. Весной, едва сойдет снег, они с сестрой отправляются по огородам да по колхозному полю собирать перезимовавшую картофельную мелочь. Вымытая весенними дождями, она то тут, то там выглядывает из земли. Подсушив ее до крахмала, из этой, перезимовавшей, и пекут то, что мы сейчас называем драниками. Только драники из свеженатертой, «нонешней» картошки, а тошнотики – из прошлогодней.

…К дяде Федору я больше не заходил в гости, хоть он при встрече и приглашал заглядывать без стеснения. Не укладывалось в голове, как могут жить родные люди через дорогу друг от друга, по краям разящей пропасти между достатком и нуждой.

Может быть, я неправ в своих домыслах и дядя Федор помогал родне, чем мог, но в ту пору только он оставался единоличником на всю деревню, и вся деревня была ему родней – Пантюхины да Марковы в каждой избе.

Ольга Лазарчук
Быть гордыми умели

В Севастополь приходили и британские, и американские корабли. Однажды делегация из моряков решила посетить и нашу школу. Нас учили, как нужно приветствовать гостей и осторожно брать предложенные конфеты. Вот уж этому нас учить было не нужно. Мы четыре года их не ели, а быть гордыми умели. Вошли американцы в форме и ошеломленно остановились на пороге. Цементный пол, затертые лужи, по углам мелкая капель с потолка. Стали нам протягивать коробки с шоколадными конфетами. Мы чинно брали их и клали на столики рядом с собой. Никто их в рот не потащил. Как только гости ушли, мы положили это угощение в свои портфели и понесли домой, чтобы поделиться чудо-конфетами с домашними.

Геннадий Шульгин
Я тоже ничего не забыл из прошлого

Началась война, а я вот взял и родился. Мама прихватила нас с братишкой и увезла не в «хлебный» Ташкент или Куйбышев, а подальше от войны – в далекую Сибирь, в Алтайский край. Давно уже живу, многое забылось, а вот военное и послевоенное детство помню. Самое несмываемое из памяти воспоминание – постоянный голод! Наверно, и болячки-то все затаились с тех времен от этого проклятого чувства.

Никто, наверно, уже и не знает, что такое затируха. Горсть ржаной муки с отрубями высыпалась на лист фанеры, заливалась водой и раскатывалась крохотными шариками. Затем эти шарики высыпались в кипящую воду, и на поверхности всплывала белая пена. «Молочко!» – кричали мы. Потом сваренные крошки моментально съедались. И все равно после очень хотелось кушать. Наверно, с тех пор у меня осталась на всю жизнь привычка относиться к хлебу с уважением! Не забуду, как меня поразило, что герой всей молодежи Павка Корчагин из конъюнктурной саги о шепетовских комсомольцах «Как закалялась сталь» насыпал в тесто махорки! «Вот сволочь!» – думал я. – Это же ХЛЕБ, как можно!»

Особенно тяжело было зимой. Выходить на мороз не хотелось, да и не в чем было!

Весной всё оживало, можно было рвать молодую крапиву и щавель, мама варила из них что-то наподобие борща. В колхозе начинали высаживать картошку, и большие ребята по ночам ее выкапывали, хотя в поле постоянно находился объездчик-сторож – одноногий инвалид дед Кащенко. Иногда и нам кое-что перепадало. В оврагах и на окраинах колхозных полей росло много конопли. Из нее плели нитки, а из ниток делали мешки для картошки. У многих в огородах рос мак, но что-то наркоманами и не пахло.

Вернулся с фронта мамин брат дядя Володя! Как сейчас помню: я сидел на стульчике, сделанном из посылочного ящика. Дядя Володя вытащил из заплечного мешка две банки тушенки желтого цвета с нарисованной коровьей головой. Вскрыл банку красивой финкой, и я от волшебного запаха упал в обморок.

Потом узнал, что это и есть тот самый «второй фронт» – часть американской помощи воюющему народу. Возможно, эти самые банки не дали мне загнуться от голода! И после этого я еще должен ненавидеть Америку?

Жили мы в землянке. Это вырытая в земле канава, а вокруг нее были возведены стены из дерна. Стены укреплены тальниковыми палками и обмазаны глиной вперемешку с соломой и коровьими «лепешками». Посреди землянки была «буржуйка», сделанная из железной бочки. Топились сушняком из близлежащего леса и краденным на железнодорожной станции углем. Помню, что не мерзли.

Александр Огарев
Рассказ дедушки Петра Николаевича Огарева, записанный с его слов

Родился я в 1940 году в бедном поселке. Мать моя, Василиса Сергеевна, была очень красивой женщиной. Когда началась война, моего отца, Николая Семеновича, забрали в местное ополчение защищать родной край. Словом, свои ранние годы я не помню; когда была война, я был еще очень маленьким.

Зато очень хорошо помню грустный день 10 июня 1946 года, когда мать получила письмо о том, что наш отец погиб в бою в сорок четвертом. Это был сильный удар для матери – она плакала целую неделю. Словами не могу передать, что я чувствовал, мне было жалко и маму, и себя, что не смогу уже увидеться с отцом.

Мне не успело исполниться и шести лет, а на мне уже было хозяйство. В сорок четвертом году у матери родилась девочка – моя сестричка Соня, поэтому приходилось присматривать и за ней… А мать целыми днями пропадала вместе со всеми в поле. Приходила домой поздно ночью, вся уставшая. Утром я кормил Соню, затем вместе с ней отправлялся на наш маленький огородик: поливал картошку, рыхлил землю. Бывали дни, особенно ранней осенью, в сентябре, что быстро холодало, мерзла земля, погибали деревья. А в теплые созревало больше, чем обычно, и тогда то, что оставалось, мы ездили в город и продавали: картошку, яблоки, лук, огурцы, а иногда меняли их у соседей на ягоды. Я, признаюсь, очень любил красную смородину. В школу я не ходил – она была разрушена; мать чему сама была научена, тому и меня научила.

Целый день с Соней я проводил на огороде. Она играла со своей деревянной куклой, я копался в огороде.

Каждый год мы копили купоны на сахар, и раз в году ко дню рождения Сони мать делала нам варенье из смородины и клубники. А бывало, приходилось нам на троих делить маленький кусочек черного хлеба.

По субботам, пока мать работала в поле, я прибирался в нашем маленьком деревянном домике: подметал старый потертый пол, мокрой тряпочкой протирал поломанные старостью кухонные полочки, мыл потрескавшиеся окна.

У матери были старые фотографии с нашим отцом. Каждый вечер она сидела под светом лампадки и вспоминала тот майский день 1936 года, когда она впервые встретилась с Николаем на вокзале. Он был кондуктором, она ехала домой на поезде. Вскоре

они стали встречаться. Николай переехал в поселок, построил дом. Спустя четыре месяца сыграли свадьбу. Еще мать рассказывала про тот прекрасный День Победы 9 мая. Люди кричали, смеялись, кто-то плакал, целовались друг с другом, обнимались. Как и многие женщины, наша мать ждала своего мужа. Но получилось совсем не так…

Жили мы прижато, но друг другу помогали. Через три года Соня уже могла разговаривать и даже помогать мне и матери по дому.

И все же это было как нельзя мое хорошее детство!

(Тут Петр Николаевич заплакал как дитя…)

Лариса Перебейносова
Молоко

Послевоенные зимы были пышными. Я еще не хожу на улицу одна, мне четыре года. Утро. Окна намерзли внизу инеем, а наверху играют солнцем. Солнце ласкает желтые половицы. Тепло. Бабаня уже истопила печку, и так вкусно пахнет свежим ржаным хлебом! Это еще что! Мне в кружку налили молока! В разгар зимы корова наша не доится: теленка, говорят, Бог даст, дождемся. А корма не хватит – и коровы не видать. Вон, рассказывают, весной едва на веревках ее, кормилицу, подняли и на травку дотащили. От солнца да от ветра отошла, поднялась. Деданя сам как солнышко, борода рыжая, в зеленых глазах золотые зайчики сверкают. У меня волосы тоже золотые, в деданину бороду. Зовут его уважительно, Федор Васильевич, он на ферме главный. Молока принес целую бутылку поллитровую. Никогда так не было.

Тут Ганька зашла, соседка, противная, любопытная. Небось не видать ей, что у меня в кружке молоко? Я сейчас его отцежу изо рта на подбородок и на платье – сразу обзавидуется! Мне сказали: «Не балуй!» Ничего не понимают! Разве у кого-нибудь есть сейчас молоко? Ганька ушла – небось злится. Так ей и надо! Зачем напраслину возводила, будто мы ее кур приваживаем, чтобы в нашем дворе неслись. Да от такой Яги и куры не знают, куда деваться! Ну, лето придет!

После деданя с бабаней чего-то боялись. «Донесет, не донесет». Молока зимой больше не было…

Леонид Левин
Белый хлеб, горькая мука

Во время войны мы жили в Магнитогорске, эвакуированных в доме было много, жили бедно, но некоторые куда хуже нас. Я видел это собственными глазами. Хлеб, картофельная похлебка, морковный чай или просто кипяток с кусочком сахара-рафинада вприкуску – вот основное «меню» многих наших соседей по дому в военно-послевоенные годы. Но помню и другое.

У меня был одноклассник Коля Савченко, тихий большеглазый мальчик. По утрам я заходил за ним, и мы вместе шли в школу. Если я приходил слишком рано, когда Коля еще завтракал, его мама приглашала меня пройти в кухню и немного подождать.

У Коли я увидел настоящую, уже забытую мебель, которая по сравнению с нашими собранными с миру по нитке колченогими табуретками, казенными тумбочками и убогим подобием стола казалась роскошной. В прихожей стоял диванчик, на стене висело зеркало, в кухне – буфет со стеклянными дверцами, красивый кухонный стол.

Там я впервые после Днепродзержинска увидел белый хлеб – круглую буханку с аппетитной золотистой корочкой. Я был поражен: оказывается, на свете есть не только тот черный, клейкий, который мы получали по карточкам, но и это сказочное чудо! Я впивался в белый хлеб глазами, ощущая его упругость и хруст корки. От чудесного, неповторимого запаха кружилась голова, я невольно сглатывал слюну. Я мысленно просил: ну дайте попробовать хоть маленький кусочек! Но моя молчаливая просьба ни разу не была услышана.

Как-то раз я зашел за Колей совсем рано, когда он только еще начинал завтракать. Откусив хлеб, Коля недовольно отбросил кусок и капризно воскликнул:

– Опять черствый!

– Сейчас, сейчас, Коленька, – засуетилась Колина мама и достала из буфета… непочатый каравай!

Я не верил своим глазам. У нас хлеб не успевал черстветь. А уж такой белый… Да я бы за один присест съел ту, начатую буханку, какой бы черствой она ни была!

Когда я рассказал о виденном мной чудо-хлебе, мама объяснила, что отец Коли, подполковник Савченко, работает интендантом в лагере военнопленных на правом берегу. Там в лагере есть своя хлебопекарня. Вот оттуда и хлеб… А то, что меня

не угощают, вовсе не значит, что Колина мама жадная. Для них этот хлеб – обыденность, привычная еда, Колиной маме просто в голову не приходит, что у кого-то при виде хлеба могут течь слюнки…

Я перестал по утрам заходить за Колей. Мы проучились с ним до пятого класса, а потом его семья переехала на правый берег.

* * *

Если кто-нибудь из ребят выходил во двор с чем-либо съестным, неважно, был ли это пирожок с картошкой или хлебная горбушка, пацаны бросались к жующему с криками:

– Со́рок, со́рок! Сорокни́! – что означало: «Дай, оставь кусочек, поделись!» Кто-то делился, кто-то поскорее запихивал в рот последний кусок – на нет и суда нет.

В нашем дворе жил Жора Матухно, большой, толстый, щекастый мальчишка, он никогда ни с кем не делился, хотя постоянно что-то жевал. Мне он напоминал гайдаровского Мальчиша-Плохиша: такой же жирный, такой же обжора и, судя по нахальному взгляду и наглому поведению, такой же подлый. Он не дружил ни с кем, держался особняком. Если изредка принимал участие в общих играх, то сразу начинал качать права, спорил по пустякам, орал, толкался. Получив несколько раз отпор, вообще перестал с нами водиться, окружил себя малолетками, командовал и помыкал ими.

Словно желая подразнить нас, Жора выходил во двор, жуя и держа в руке невиданные яства: то огромный кусок белой булки, намазанный повидлом, то бутерброд с толстым куском колбасы, то длинный пряник, покрытый розовой глазурью. Малышня моментально окружала Жору, заглядывая ему в рот. «Со́рок, сорокни́!» – тщетно просили мальчишки. Жора не обращал на них никакого внимания, он продолжал жевать, пока не сжирал все.

Отца Жоры привозили с работы на «эмке». Он с трудом вылезал из нее, здоровенный грузный дядька с большим животом, с таким же, как у Жоры, жирным, мясистым лицом. Шел к подъезду, ни на кого не глядя, ни с кем не здороваясь. Говорили, что он большая шишка в отделе рабочего снабжения (ОРС'е). Не знаю, как насчет рабочих, но свою семью он, похоже, снабжал неплохо.

Однажды Жора вышел во двор с карманами, набитыми печеньем. Съев несколько штук, он неожиданно произнес:

– Ну че, сорокнуть, что ли?

Пацанята недоверчиво приблизились к Жоре.

– Нате!

Он откусил половину печенья, а другую бросил на землю. Поднимая пыль, малышня бросилась подбирать огрызок.

– Нате, жрите! – хохотал Жора, бросая объедки в пыль.

– Что же ты, паскудник, делаешь, а? – возмутилась тетка, сидевшая на лавочке у подъезда, но Жора даже не посмотрел в ее сторону.

Малыши продолжали ползать в пыли.

– Кем же ты, гад такой, вырастешь? Ты же хуже фашиста! А вы чего смотрите? – повернулась она к нам, но, увидев, что мы, прервав игру в клек, с корявыми битами в руках уже направляемся в сторону «фашиста», с одобрением сказала: – Во, во! Дайте этому махно как следует! Гоните его к чертовой матери!

Увидев наше приближение, Жора повернулся и сначала пошел, а потом побежал к своему дому и скрылся в подъезде. Догнать нам его не удалось.

А правда, интересно, кем же он вырос, этот гаденыш? Наверняка нашел свою нишу в стане мерзавцев…

* * *

Один раз бабушка раздобыла где-то немного пшеницы. От зерна исходил затхлый, неприятный запах. Бабушка объяснила, что зерно долго лежало в кучах, не проветривалось и начало преть. От соседей она узнала, что где-то на Дзержинке есть кустарная мельница, на ней можно перемолоть зерно в муку.

Мы с мамой взяли торбочку с зерном и пошли на поселок Дзержинского искать мельницу. Идти пришлось довольно долго.

Наконец показались первые землянки – длинные невысокие холмики. Мама рассказала, что в этих землянках живут люди, приехавшие из Средней Азии. Они освобождены по каким-то причинам от службы в армии и привезены сюда на принудительные работы. Называлось это «трудовой фронт». Некоторые из азиатов, особенно пожилые, умирали здесь от истощения, потому что отказывались есть свинину.

Мы спустились по земляным ступенькам и зашли в первую землянку. Время было рабочее, в длиннющем помещении, оборудованном двухэтажными нарами, находилось всего несколько человек: два-три бородатых старика в длинных халатах, возившиеся у огромной печи, и молодой парень в тюбетейке, лежавший на верхних нарах. Парень тихо пел заунывную песню, аккомпанируя себе на струнном инструменте с

очень длинным грифом. Обитатели землянки почти совсем не говорили по-русски и так и не поняли, чего мы от них хотим. Мы вышли из землянки.

Редкие прохожие ничего не знали о мельнице, пожимали плечами. Наконец один из прохожих, местный пожилой татарин, плохо говоривший по-русски, показал рукой вглубь поселка и сказал:

– Пильрам, пильрам! Пильрам ходить, там найдешь!

Мы не могли взять в толк, что такое «пильрам». Вдруг маму осенило:

– Пилорама! – воскликнула она. – Надо найти пилораму и там спросить про мельницу.

Мы долго шли в направлении, показанном прохожим, но никакой пилорамы не находили.

Возле одной из землянок мы увидели двух девушек, подошли к ним и спросили насчет пилорамы. К счастью, девушки знали не только где находится пилорама, но и где можно перемолоть зерно. Мама разговорилась с девушками; оказалось, что они из Белоруссии, из тех мест, где родилась мама. Мама прослезилась.

Девушки зазвали нас в землянку, где находилось еще несколько женщин, все из Белоруссии. Они тоже были «бойцами трудового фронта». В землянке топилась печь, одна из девушек пекла оладьи прямо на раскаленной плите, вокруг конфорок. Нас угостили оладьями, они были очень вкусными, с похрустывающими краями.

Мама пригласила девушек к нам в гости. Две-три девушки-белорусски потом долго ходили к нам по выходным, пока не получили разрешение вернуться к себе на родину. Мама их всегда угощала «чем бог послал».

Наши скитания по поселку увенчались успехом: зерно было перемолото, мы вернулись домой с мукой.

Оладьи, испеченные из этой муки, оказались настолько горькими, что есть их было почти невозможно. Я вынес стопку оладий во двор и предложил их ребятам, предупредив, что оладьи с «сюрпризом». Оладьи были съедены вмиг, никто даже не поморщился.

Ребята сказали, что оладьи мировые, только чуть горьковатые. Я тоже съел парочку. Правду говорят, что за компанию все кажется слаще!..

Василий Омельченко
Чужой хлеб

В войну кусок хлеба был на вес золота. Есть хотелось постоянно. И порой мне до горечи делалось обидно, что до войны у нас столько было хлеба – целые буханки, а я, дурак, всё ел без хлеба.

В школе на большой переменке на деревянном подносе дежурный приносил горку тоненьких хлебных ломтиков. В классе вмиг воцарялась тишина. Каждый брал по кусочку и не ел – священнодействовал. Если бы этот крохотный кусочек, прозрачный, как лист бумаги, и ароматный до головокружения, думал я, разрезать на десять кусочков, и каждый из них превратился бы снова в такие же кусочки по сто грамм – вот наелся бы! Нам не верилось, что мы когда-нибудь наедимся хлеба досыта.

Но однажды такой случай мне представился. Придя в школу, я, как обычно, сел за парту, сунул было под парту свой портфелик, а там что-то есть… Пошарил я это «что-то» – сеточка, авоська, а в ней сверток шелестит, а в свертке – я вмиг определил – кусок хлеба! Грамм на триста, а может, и на все пятьсот… У меня аж дух захватило: нам, школьникам, на целый день дают по триста, а тут сразу столько!

Радость-то моя была чуть скованной, сжатой, я ведь сразу догадался, откуда хлеб: по вечерам в нашем классе сидят взрослые, днем или ночью они работают, а вечером учатся. Забыл кто-то…

Конечно, о своей находке надо было сказать учительнице, это я сразу подумал, да я и хотел уже сказать, но… мне очень хотелось хлеба. И это желание пересилило во мне все другие чувства и мысли. Да и Вовка, сосед мой по парте, узнав о находке, сделал большущие глаза и ошалело воскликнул:

– Чур, на двоих!

– Это кто-то забыл, – проговорил я осипшим вдруг голосом – в горле у меня запершило, и я сказал это больше для того, чтобы снять с себя хоть капельку ответственности, и на всякий случай предложил, хотя не хотел этого: – Может, отдадим учительнице?

– Понятно, что кто-то забыл, – недовольно прошептал Вовка и нетерпеливо сглотнул слюну. – Но, может, тот кто-то не придет: забыл и забыл…

– Может, – согласился я.

И мы заговорщически переглянулись.

Мы хорошо понимали, что ищем лазейку к овладению таким богатством, мы ловчили – уж больно хотелось хлеба.

Учительница что-то рассказывала, что-то писала на доске, но это всё нас не касалось, мы были словно в другом мире.

– Может, и не придет, – повторил я охотно, хотя не очень верил в это, а скорее, и совсем не верил.

Пальцы мои сами уже ровненько-ровненько разломили под партой хлеб пополам. На ощупь я определил, что один кусок все-таки оказался больше. Я бы взял его себе, если б Вовка не смотрел, – ведь я нашел. Но Вовка посмотрел, и тогда я спрятал хлеб за спину.

– В какой руке?

Он всегда говорил – в правой, я знал это и специально положил больший кусок в правую, чтобы он подумал, что я держу его в левой. Но он совсем не думал об этом и сказал торопливо:

– В правой!

И получил больший.

О, какой это был вкусный хлеб! Мы отщипыва-ли его маленькими, совсем крошечными кусочками и клали в рот, подставляя другую ладонь, чтобы не обронить на пол ни единой крошки. Хлеб таял во рту, как сахар.

Не помню, о чем был тогда урок. И какой урок. Что нам учительница рассказывала. Кого вызывала. Кому что ставила. Мы были на седьмом небе от счастья, мы праздновали!

Мы наелись хлеба почти досыта. Чужого, правда, но в тот момент об этом мы не думали.

Когда за милую душу уплели хлеб – довольные, переглянулись. Потом переглянулись еще раз – короче, стесняясь, что ли, друг друга. Нам было и хорошо, и как-то не по себе, тревожно немного: мы ждали чего-то. Нет-нет да и поглядывали на дверь.

И вдруг в конце урока в дверь раздается стук. Короткий, негромкий – его, наверное, даже не все услышали. Только учительница. И мы. И в следующее мгновение дверь открывается, и в класс вступает одной ногой молодая, очень худая женщина в голубом берете.

– Извините, пожалуйста, я тут сумочку вчера забыла, можно взять?

Учительница кивнула, женщина вошла и направляется прямо к нам, к нашей парте. Спокойная такая, вежливая. Видно, очень добрая. И виновато улыбается: извините, мол, что я вам помешала, я сейчас уйду, только свою сумочку с хлебом возьму.

Я сижу ни жив ни мертв. Я проклял уже всё на свете. Я сгорал от стыда. Сейчас она поравняется со мной, сунет руку под парту

и… Что я скажу ей? Какими глазами буду смотреть? А что потом скажу нашей учительнице? Почему я раньше не подумал об этом? Я даже прижмурил глаза.

Когда она подошла, я вынул свой портфель. Она и мне виновато улыбнулась. Наклонилась, провела рукой под партой и извлекла оттуда порожнюю, тощую сеточку-авоську, темно-зеленую, местами повязанную черными нитками. Меняясь в лице, глянула на меня, и я похолодел от стыда и страха…

К моему удивлению, она не накинулась на меня, не разразилась гневом и даже ничего не спросила о хлебе – где он и куда делся. Будто его тут и не было. Только глянула еще раз, так, что меня аж в сердце кольнуло. Нет, совсем не зло посмотрела она, а как-то так болезненно и горько… Я взгляд ее запомнил на всю жизнь. Глянула и молча пошла себе.

– Извините, – сказала учительнице и тихонько затворила за собой дверь.

Урок шел своим чередом, а я сидел как истукан и куда бы ни посмотрел: на парту, исчерченную, изрисованную, на доску с белыми разводами, в окно, за которым весело сновали воробьи, – всюду видел перед собой глаза той женщины. На учительницу я не мог смотреть. А на Вовку не хотел.

Мне тогда ничего не хотелось, разве что провалиться сквозь землю. Я сидел и думал о том, что женщине этой тоже, наверное, хочется есть. Она, видимо, пришла сейчас прямо с работы, с ночной смены, как и моя мать. Что, наверное, как и моя мать, ночью делала снаряды и, как у моей матери, у нее есть такие же пацаны, как и мы с Вовкой. И что тот хлеб она несла им.

И еще я подумал: что теперь она им скажет, почему не принесла хлеба?

Евгения Дымова
Пирожки с капустой

Наш знаменитый Первый Староводопроводный тупик, который мы упорно называли улицей, одним концом упирался в глухой и высокий заводской забор, а другим выходил на дорожку, по которой горожане ходили в баню, индустриальный техникум, нарсуд и прочие конторы, расположенные на Ярославке, в Мытищах. Но главной достопримечательностью для ребятни всего города была Курочкина горка, высокая и крутая. Называлась она так в честь одного парня, чей дом стоял у горки. Рассказывают, что в голодный военный год стащил он где-то курицу и съел ее чуть не с перьями. За что хозяином птицы был нещадно бит. Со временем это событие из памяти тупиковцев стерлось, зато парень получил прозвище, которое его младшие земляки тут же увековечили в названии горки. Все свободное время мы проводили там.

Вот и в тот морозный день, когда мы высыпали на горку, какой-то пацан крикнул мне: «Женька, беги домой, к вам новые соседи приехали!» Со всех ног бросилась я к дому. Вообще-то на нашей улице стояло всего пятнадцать частных домишек, и все про всех знали. Перед войной через стенку с нами жила одна семья с Рязанщины. В войну муж ушел на фронт, да и пропал без вести. Вдова же, помаявшись с двумя малышами в голодных Мытищах, подалась назад, оставив пустующее жилье.

Появление новых людей на нашей улице, где годами мало что менялось, сразу стало событием. Наш небольшой двор был полон. Приплелась даже старожительница, которую для удобства произношения называли Марьяванной. И посмотреть было на что. Таких молодых, красивых и – главное – богато одетых женщин наша захолустная улица не видела. Это были две сестры, очень не похожие друг на друга. Одна – беленькая, с курносым носиком, приветливо всем улыбалась. Вторая – брюнетка, с более строгим лицом, не обращая внимания на собравшихся, командовала крепкими мужичками, которые сгружали вещи. Когда всё было внесено и кое-как расставлено, блондинка вдруг огорошила всех: «Заходите в гости, новоселье отметим». Сестры поднесли взрослым по рюмке водки, а нас, детвору, одарили конфетами. Это был настоящий праздник на нашей улице!

На другой день, идя из школы домой, я увидела, что дверь в соседские сени чуть приоткрыта. Любопытство подтолкнуло меня, и я зашла. «А, наша юная соседка, – сказала черненькая, которую

звали Людой, – пирожка хочешь?» Еще бы не хотеть, если мы и хлеб не всегда видели. Она достала из печи противень, наполненный кучей поджаристых румяных пирожков, от аромата которых у меня даже закружилась голова. Обычно стеснительная, тут я забыла про все, глотая аппетитные пирожки один за другим – с капустой, яйцами, с жареным луком. Так я стала частой гостьей в этом уютном доме, где так тепло привечали детвору. И никогда не уходила отсюда с пустыми руками. Нам нравилось приходить в это светлое, сытное и уютное тепло из наших домов, где измученным заботами родителям было не до нас, где из каждого угла глядела на нас нужда.

И только взрослые не разделяли нашей радости, хотя Люда и ее сестра Нина были по-прежнему приветливы со всеми. Спустя какое-то время по улице поползли завистливые слухи: неспроста, мол, в такое голодное время сестры живут безбедно. Все чаще возле нашего дома останавливались черные «эмки», из которых выходили хорошо одетые мужчины и исчезали в половине, которую занимали соседки. А потом долго оттуда доносились звонкий смех и музыка. Тогда мать начинала недовольно швыркать посудой на кухне, а однажды, когда я собиралась, как всегда, к соседкам, она строго заявила: «Не ходи туда – там грязно». Я никак не могла понять, о какой грязи она говорила, если в их комнатке всё блистало чистотой.

Прошло два или три года. Всё реже появлялись машины у нашего двора, да и сестры как-то изменились. Нет, они по-прежнему были приветливы и всегда находили для нас гостинцы. Но какая-то тревога появилась в их глазах и поведении. Сочувствуя им всем сердцем, я однажды спросила: «А вы не больны, может, за лекарством сбегать?» «Нет, милая, хуже, вырастешь – узнаешь», – ответила Нина.

А однажды летом, когда мы играли на улице, к нашему дому подкатил наводивший на всех ужас черный «воронок». Милиционеры вывели и посадили в него сестер, бледных, со сжатыми губами, в наспех наброшенной одежде. В толпе соседей кто-то злобно бросил: «Догулялись…» А мы, детвора, со слезами смотрели вслед. Нам было непонятно, как можно таких хороших, добрых людей сажать в тюрьму? Я с недоумением вслушивалась в разговоры взрослых. Как всегда, самым знающим оказался дядя Коля. Оглядываясь вокруг с опаской, он полушепотом рассказывал: «Начальник один к ним ходил. Его посадили, ну а их за то, что связаны с ним были. Может быть, разберутся – отпустят».

В эту ночь я спала плохо. А утром, надеясь, что всё «выяснили» и сестры уже дома, побежала к ним. Дверь была

приоткрыта. Я порадовалась, распахнула ее и вошла. В комнате находились двое мужчин: один, милиционер, сидел за столом и что-то писал, а второй, высокий, в штатском, ходил, скрипя хромовыми сапогами по половицам, рассматривал какие-то вещи и диктовал: «Подушки пуховые – три, самовар медный – один…» Увидев меня, недовольно бросил: «Тебе чего?» Слезы брызнули у меня из глаз – я поняла, что сестры уже никогда не вернутся сюда, и стремглав выбежала из комнаты. Последнее, что я успела увидеть, был торчащий из печи пустой противень…

Светлана Крапивина
Эскимо на палочке

В начальных классах я училась в той школе, где работала мама, и нам приходилось ходить пешком от Александро-Невской лавры до 6-й Советской улицы. Наш класс учился во вторую смену, а потому в школу я добиралась самостоятельно. Однажды я шагала со своим тяжелым ранцем, сделанным из фанеры и обшитым серой парусиной, мимо госпиталя. Некоторые выздоравливающие раненые вышли на улицу, курили, беседовали, и тут появилась я. Мне строго-настрого было запрещено вступать в беседу с посторонними людьми – в городе было не очень спокойно. Но они не просто подошли ко мне, а протянули эскимо на палочке. Какая подстава – меня хотят не просто похитить, а отравить! Я шла по улице, не решаясь есть мороженое, а оно начало таять и течь по руке. Я лизнула один раз, второй и почувствовала: как же это вкусно! Больше я не могла терпеть эту муку и съела это мороженое. Со мной ничего страшного не произошло, но маме я на всякий случай ничего не рассказала. Прошло несколько дней, и я в чем-то провинилась. Мама, в свойственной ей манере, стала читать мне нотацию, я же горько заплакала и сказала ей: «Мама, не ругай меня, все равно я скоро умру. На днях дяденьки дали мне мороженое, и я его съела…» Мама рассмеялась, обняла меня и объяснила, что ничего страшного от этого мороженого мне уже не грозит, а брать еду от посторонних все же нельзя…

Ян Хуторянский
«Три мандарины»

После войны многие одесские предприятия стояли разрушенными. Папин завод имени Дзержинского перешел с выпуска стального проката на проволоку, гвозди и металлические сетки.

Маме повезло: кондитерской фабрике потребовались женщины в цех, где очищали от кожуры плоды цитрусовых фруктов. В первый же день начальник собрал новеньких и записал, сколько у кого детей. Затем сказал: «Здесь ешьте, сколько сможете, а домой уносите по три мандарины на каждого ребенка». Так мы с сестрой полакомились давно забытыми мандаринами, которые много лет делали из ваты для новогодней елки.

Спустя неделю-другую мама уже смотреть не могла на эти плоды, а мы с сестрой встречали ее во дворе и заглядывали в сумку. Скушав без промедления положенные нам цитрусовые, брызгали друг в друга соком, выдавливая его из кожуры мандаринки. Это была наша первая парфюмерия.

Татьяна Горина
Отец никогда не ел мандарины…

Папа про войну ничего не рассказывал. Да я особенно и не спрашивала.

Но знала, почему он никогда не ест мандарины.

Ему было шестнадцать лет, когда началась война. В сентябре немцы подходили к Кременчугу. Мой дед со своей второй женой эвакуировались, и почему мой папа с ними не уехал, я так и не узнала. Папа пошел на восток, на Кубани рыл оборонительные рвы. А потом прибился к регулярным советским войскам, которые отступали на восток. И так до Кавказа. Шли строем, плотно прижавшись плечами, даже привалы не делали, а спали по очереди на ходу.

Шли по абсолютно оранжевой дороге. Мандарины! Их не ели, а просто выдавливали сок, остальное выплевывали. Это была единственная еда.

А потом всё очень просто. Приказ Сталина «Ни шагу назад!». Заградотряды.

С одной стороны – немцы, с другой – внутренние войска.

Папа всегда говорил, что выжил по глупости, по случайности и потому, что его, совсем юнца, жалели старшие.

Все свои медали он подарил внуку, и среди них есть его первая – «За оборону Кавказа». Провоевал до самого конца войны. И никогда после не ел мандарины.

Екатерина Терешкевич
Про колбасу, пельмени и мандарины

У каждого ребенка в Загорске была мечта – попасть на елку в Кремль. И почти у каждого была иллюзия, что если попадешь в Кремль, то обязательно увидишь Сталина. Я тоже очень мечтала об этом: Кремль, красные звезды и Сталин! И однажды моя мечта чудесным образом сбылась. В организации кремлевских елок работала папина племянница, она-то меня туда и провела.

Всё было огромным! И Георгиевский зал, и красивый ковер, и величественная елка… Там я впервые увидела «настоящих» Деда Мороза и Снегурочку. Все маленькие дети рассаживались прямо на полу, на этих прекрасных коврах. Там выдавали подарки с прекрасными конфетами! Подарки были в железных коробочках, которые хранились потом много-много лет. В общем, апофеоз детских мечтаний. Правда, Сталина на той елке я так и не увидела, но впечатлений было столько, что меня это и не расстроило.

…Игрушки на Новый год нам не дарили, только конфеты и мандарины. Причем купить мандарины в Загорске было невозможно, за ними ездили в Москву. Из столицы везли докторскую колбасу, останкинские пельмени и мандарины. Это было всё самое вкусное, что лишь можно представить! Колбасы покупали по несколько огромных батонов, поэтому в то время ходил анекдот: «Что такое: длинное, зеленое, пахнет колбасой? Электричка!»

Родители приезжали из Москвы, сразу же варили пельмени – мы их обожали! Могли съесть в огромном количестве! И обязательно делали бутерброды с докторской колбасой и свежим хлебом. А мандарины можно было таскать со стола и прятать под подушку. Поэтому сначала я ела мандарины «официально», вместе со всеми, потом втихомолку днем, а потом еще ночью – под подушкой. В итоге я так наелась мандаринами, что у меня началось отравление – всю ночь рвало! Но от этого любить мандарины я меньше не стала.

Василий Омельченко
Первые конфеты

Вряд ли кто из нынешних ребят может хотя бы приблизительно вспомнить, когда впервые в жизни ел конфеты. Какие они были на вкус, на цвет и как назывались. Сейчас конфеты суют даже беззубым малышам, и тем почти все равно, что у них во рту: конфеты или соска.

А я свои первые конфеты хорошо помню. Потому что, когда впервые попробовал их, не ел, а именно попробовал, мне было уже немало лет – целых шесть, по нынешним временам – школьник!

Было это в 1946 году. Я называю дату потому, чтобы легче было понять, почему свои первые конфеты я попробовал так поздно: родился накануне самой войны с фашистами, а в войну какие конфеты… Да и после войны время было очень трудное: все разрушено, а тут еще неурожай… Если б хоть отец был, но отец мой погиб на фронте. Мать работала одна. На турбинном заводе. Уборщицей. Вечерами подрабатывала в станционных буфетах, полы мыла. За это ей давали несколько пирожков с мясом или горсточку конфет. Пирожки она отдавала нам, детям: нас было трое, я – самый младший. А конфеты чаще даже не показывала нам, считала, что это не еда, и, как только принесет, прячет в тумбочку, а тумбочку на замок, а ключ себе в карман. Когда собиралось конфет десятка два-три, мать носила их на базар к проходной завода, чтобы на вырученные деньги купить еды посущественней: хлеба, молока, картошки. И вот однажды это дело доверила мне: мать заболела, братья были в школе, а денег на хлеб не было.

Опыт торговли я уже имел. Как-то я носил на базар продавать мыло. Мама тоже болела и денег на хлеб у нас тоже не было. Провожая на базар, напутствовала: «Проси пятьдесят рублей, если будут торговаться – соглашайся за сорок, ну, а окончательно можешь отдать и за тридцать». Только я достал кусочек мыла, меня сразу обступили. Сколько, спрашивает одна женщина, просишь за этот смылочек. Я сказал, что это, во-первых, не смылочек, а мыло, и мы только раз умывались. Потом сказал, что прошу пятьдесят… Если будете торговаться – за сорок, а окончательно отдам за тридцать. Сунула она мне тридцатку, взяла мыло и была такова. И я тоже пошел, довольный собой. Правда, кто-то бросил мне вслед: ну и дурачок… Только потом, дома, я понял почему.

Словом, опыт торговли у меня уже был, поэтому мама и доверила мне продать конфеты.

– Рубль пара, – сказала она, – дешевле не отдавай, конфеты очень хорошие, лимонные дольки, запомнил?

– Запомнил, – сказал я, поедая глазами конфеты, которые мать аккуратно доставала из тумбочки.

– Только ж смотри, ни одну не съешь по дороге… и деньги не потеряй!

– Не съем, не потеряю…

Я во все глаза смотрел на конфеты. Какие красивые, солнечные такие, веселые. Наверно, очень вкусные. Мать нашла старую дощечку от посылки, застелила ее газеткой, ровненько разложила в два ряда конфеты, один ряд желтой стороной кверху, другой – зеленой. В каждую конфету ткнула пальцем.

– Ровно двадцать, – сказала, – как раз на десятку.

Я согласно кивнул. Осторожно взял дощечку с конфетами, вышел на улицу.

Иду, несу их перед собой, как хрусталь, боюсь споткнуться и стараюсь не смотреть на них, а конфеты мои глаза как магнитом притягивают: уж больно красивые они, а пахнут… Я оглянулся назад, поднес дощечку с конфетами ближе к носу – всю жизнь бы дышал таким запахом! Потрогал одну конфету – твердая. И другая твердая. Все, стало быть, твердые.

Опять оглянулся: мама в окно не смотрит. А что, если… чуть-чуть попробовать, только одну конфету, только одну и чуть-чуть… Как у нас пацаны говорят, когда пряник или печенье вдруг кто-нибудь вынесет: на, пробуй, только не кусай…

Кусать, понятно, я не собирался, материн наказ для меня – закон. А если лизнуть… она твердая, эта лимонная долька, как камешек. Еще раз оглянулся на дом – мать не смотрит. Пошел медленней. Не глядя на дощечку, нащупал одну конфету – твердая… Осторожно поднес ко рту, язык ее сам – раз и за щеку. Я даже не понял, как это получилось. И в тот же миг во рту разлился такой вкус, сразу сладкий и чуть кисленький, но больше сладкий, такой вкус, что у меня аж под ушами заколoло – никогда в жизни я ничего не пробовал вкуснее. Я испугался, что конфета растает, и тут же положил ее на место.

Завод был недалеко. Я шел, счастливый, что попробовал конфету, знаю теперь, какие они на вкус, и думал о том, что я очень хитрый. Думая так, я нащупал на дощечке другую конфету, глянул по сторонам и отправил ее за щеку, так незаметно я это сделал, будто муху от лица отогнал. И снова блаженствовал.

Хитрым, наверно, бывает каждый. Один больше, другой меньше. Одним удается это, другим – нет. Мне – не очень удается,

вечно я попадусь. Как-то еще при немцах ходили с матерью в деревню на менку. Вещи меняли на кукурузу. Чтоб потом кашу варить. Ночевали у одной бабушки. У нее был петух, один-единственный. Дело было зимой. Утром я открываю в сени дверь, а за мной петух выскочил, точнее, хотел выскочить, а я его нечаянно дверью прижал, да так, что он больше и не поднялся.

Понятно, перепугался я насмерть. И петуха жалко. И попадет же мне теперь! Схватил бедолагу и бегом к колодцу. Там ледяная горка от воды образовалась. Положил я его на лед: скажу, что выбежал петух на улицу, бежал, бежал, добежал до колодца, а тут поскользнулся на льду и голову себе разбил. Так я потом и сказал бабушке, когда она спросила меня про петуха. Выслушав, она как-то интересно посмотрела на меня, словно приглядываясь, я это или не я, покивала головой, вздохнула и в сердцах проговорила:

– Чтоб тебя, пострел, дождик намочил!

Теперь, когда, случается, меня мочит дождь, я знаю, за что он меня мочит, и не сержусь на него.

Пока я вспоминал этот случай, незаметно для себя я перепробовал все конфеты, и в этот момент не было, наверно, мальчишки счастливее меня.

Сияя от радости, я подошел к заводу, где у проходной уже собрался базарчик. Я пристроился в рядок к женщинам, которые разложили перед собой кучки огурцов, картофеля, пучки лука. Сипло и настойчиво баском запел гудок, и вскоре из проходной повалил рабочий люд: женщины, подростки, старики. Все худые-прехудые. Вышли и несколько мужчин. Деньги из карманов достают, торгуются, покупают. А ко мне подойдут, глянут на дощечку и дальше себе идут. Конечно, конфеты не еда… Но все равно кто-нибудь купит, успокаивал я себя, мать же всегда продает…

Из проходной уже вышли все рабочие. Базарчик быстро редел, женщины-торговки расходились. А ко мне по-прежнему никто не подходил. Вернее, подойдут, глянут и дальше идут. Я уже совсем забеспокоился: неужто никто не купит? Посмотрел на конфеты, а они, бедные, уже сами на себя не похожи: светленькие лепестки, а не конфеты лимонные дольки… Кто купит такие? Только теперь я пожалел, что все их перепробовал… лучше б одну съел и потом признался б матери. Зато все продал бы, кроме одной. Эх, как иногда бывает… сделаешь что-то, а потом жалеешь, локоть себе кусаешь… Ну зачем я их пробовал, эти конфеты? Как теперь идти домой? Что матери сказать? Какой же я дурак…

Слезы сами навернулись на глаза. Проходная завода помутнела, посмотрел на конфеты, через слезы они казались

бóльшими, чем были на самом деле. Вот так схитрил… Как же теперь быть? Мать отдерет как сидорову козу… И денег на хлеб не будет. Если бы я сейчас только выходил из дому, ни за что бы не притронулся к этим конфетам, продал бы все до одной и деньги бы принес до копейки.

Я уже стоял один у проходной завода, с дощечкой с конфетами, потерявшими свой былой вид, и несчастнее меня, наверное, не было на всем белом свете. И тут подходит ко мне, прихрамывая, еще один рабочий, в замасленной фуфайке, воротничок гимнастерки выглядывает, лицо в пороховинках, будто на лице иголки для наколки пробовал, снаряд, наверно, разорвался перед ним или мина. Подходит, одна нога у него скрип-скрип, на протезе, значит. Посмотрел на меня, на конфеты. Протянул руку к моей голове, я подумал, за ухо возьмет – может, он видел, как я пробовал конфеты… И я уже вобрал голову в плечи, еще мгновенье – и дал бы деру, но он не взял меня за ухо, а вдруг потрепал по плечу и незло так спрашивает:

– Что это у тебя, парень?

– Конфеты, – говорю, – лимонные дольки.

Кашлянул он, поинтересовался, где взял и где мать, отец. Я всё рассказал как есть.

Постоял рядом. Повздыхал. Спросил:

– Почем же они, твои лимонные дольки?

– Рупь пара, – ответил я поспешно, как и наставляла мать. И замер в ожидании: неужто купит?

– Сколько у тебя их тут? А ну, давай вместе сосчитаем.

Сколько их, было хорошо видно, что там считать, но мне показалось, что он хочет проверить, как я умею считать. И большим пальцем с сизым ногтем – наверное, как я однажды, молотком по нему угодил – принялся считать тонкие, как листики, лимонные дольки, а вернее то, что осталось от них:

– Пять, шесть… двенадцать, тринадцать… два десятка, значит.

– Два, – с готовностью подтвердил я.

– Вкусные? – спросил он лукаво.

– Очень, – торопливо заверил я. И мне показалось, что он видел, как я пробовал конфеты.

Неспешно он полез в боковой карман фуфайки, вынул деньги, отсчитал сколько надо, подает мне:

– Держи, парень, и домой бегом к матери!

Не веря своим глазам, я взял деньги и протянул ему взамен дощечку с конфетами, но он снова потрепал меня по плечу:

– А конфеты сам съешь!

Я вовсе опешил.

– Да что вы, дяденька?!.

Он улыбнулся.

– Вырастешь, заработаешь и угостишь меня как-нибудь, – сказал он, подмигнул мне как своему старому знакомому и, сильно припадая на поскрипывающую ногу, быстро зашагал к проходной завода. А я – бегом домой. Деньги отдал матери, все до копейки. Конфеты поделил с братьями.

…Никто ничего не делил. Никаких денег матери я не отдал. Потому что никто тогда ко мне не подошел. Ничего не спросил. Никаких денег мне не дал. Это я придумал… Мне так хотелось, чтоб кто-то тогда ко мне подошел. Потрепал по плечу…

Еще с полчаса простояв у проходной завода, сгорбившись, я побрел домой.

Когда мать всё узнала, когда увидала опробованные мной конфеты, она задала мне такую нещадную трепку, что я запомнил ее на всю жизнь. Как и те первые свои конфеты.

Потом, правда, конфеты мать отдала нам.

– Ешьте, куда их теперь…

Съели, конечно. Только вкус теперь у конфет был иной, под ушами, как тогда, от удовольствия не кололо – кололо в сердце…

Пили…

Почему в России так много пьют? Ответ на этот вопрос не может дать ни статистика, ни социология. Однако если исходить из цифр, Россия не удостоилась даже бронзы во всемирном состязании по потреблению алкоголя – мы занимаем всего лишь четвертое место, пропустив впереди себя Молдавию, Чехию и Венгрию. Правда, не учитывается самогон, стеклоочиститель и прочие спиртосодержащие жидкости, не предполагающие их потребление внутрь! Но, несмотря на столь скромное место в мировом потреблении, именно русское пьянство вошло в культурную мифологию. Страны южные, где издавна культивируют виноградную лозу, пьют вино – пьют его давно, усердно, повседневно, ежевечерне, цедят по глоточку, наслаждаются букетом. Южное пьянство, таким образом, оказывается «мягким». Более того, даже считают, что вино полезно для здоровья. Чехия и Венгрия потребляют пиво – в огромных количествах. Но ни в одной из этих «передовых» стран алкоголизм не превратился в национальное бедствие, как в нашей стране. Северные страны пьют водку – «залпом», большими дозами, сморщившись и крякнув. Пьют от холода, от тоски, от усталости, от горя и от радости. Это пьянство северное. Наш отечественный фасон. Незабвенный Виктор Черномырдин оставил замечательный афоризм «Вино нам нужно для здоровья, а здоровье – чтобы пить водку».

В России послевоенной пили, судя по статистике, как всегда – не больше и не меньше. Только жизнь была более обнаженной – всё на виду. Картинки пьянства остались в памяти.

Одно только горькое замечание: сегодня от пьянства умирает гораздо больше мужчин молодого и среднего возраста…

Борис Иванов
Киселёв и гитара

1947 год. Моя семья – а это всего лишь я, восьмилетний малолетка, и затюканная работой мать – обитала на самой-самой окраине небольшого шахтерского городка Прокопьевска в Кузбассе, в поселке Южный на улице Павлоградской. Дальше поселка была только цепь обвалов, образующихся после того, как из недр земли выдадут «на-гора» необходимый стране уголь. В залитых водой обвалах мы купались – и у каждой пацанской компании был свой личный обвал. В сухих – играли в футбол. Мячом поначалу была какая-то старая шапка, потом обшитая оболочкой куча тряпок, и наконец, по мере роста мастерства, общими усилиями был куплен мяч. Ах, какой был замечательный мяч! Сначала его по очереди надували ртом, аж приседая от натуги, потом завязывали плотно пипку, прятали ее под шершавую оболочку и шнуровали сыромятным шнурком. Наш мяч был предметом зависти соседских улиц, и иногда мы даже снисходительно приглашали соседей на игру в свой обвал. Другим захватывающим делом было взрывание капсюлей. Мы добывали их на терриконах, куда по канатной дороге вагонетки вывозили из шахты породу и наверху ее вываливали. В этой породе и попадались невзорвавшиеся капсюли. На дне обвала мы разжигали костер, бросали туда капсюль и стремительно мчались в укрытие. Несколько секунд – и взрыв! Особо ценился медный капсюль – его взрыв напрочь разметывал костер.

Улица Павлоградская состояла из двух десятков частных домиков с непременными огородами и двух оштукатуренных бараков о двух этажах. В каждом бараке обитало по два десятка семей. На всех насчитывалось человек тридцать пацанвы разного возраста (кстати, в ходу у нас было слово не «пацаны», а «огольцы») и не более десятка взрослых мужиков. Главы семейств были существами суровыми и загадочными, мы их видели редко и слегка побаивались. На работу они уходили, когда мы еще спали. Обычно в 5 утра расположенная рядом шахта давала первый гудок – это чтобы рабочий люд проснулся и готовился к трудовым подвигам. В 6 часов второй гудок – все, выходи из дома!

В мирной жизни улицы дважды в месяц были дни тревоги и беспокойного ожидания. Это были дни «аванса» и «получки». Уже с середины дня матери семейств становились озабоченными и сердитыми, нещадно раздавая ребятне подзатыльники. А часам к 7–8 вечера начинали тревожно вглядываться в начало улицы –

надеялись издали углядеть, в каком состоянии появится «мой». Главное было не в том, что появится «выпимши», – это дело законное, привычное и неискоренимое. Главное, чтобы шел все-таки на своих двоих и не пропил бы всю получку. Обычно отцы семейств являлись домой под хорошим хмельком, но добрые и веселые, со всеми здоровались, раздавали угощенье. Именно в эти дни безотцовщина судорожно сглатывала слюну, толкалась неподалеку, ожидая, когда из подъезда появится счастливец с сытыми глазами и отцовскими подарками в карманах.

В один из таких дней мой погодок Генка Киселев, ожидая отца в куче огольцов, выбрал момент тишины и солидно произнес, глядя куда-то в сторону:

– А мне батя обещал гитару купить, – замолк, ожидая реакции.

Мгновенно установилась тишина и мы все уставились на Генку. Гитара? Да быть такого не может! На всей нашей Павлоградской улице было лишь два музыкальных инструмента – две старенькие балалайки. А тут вдруг – гитара! Для Генки!

– Врешь ты, Генка! Быть того не может! – был единодушный вердикт. Генка, видно, и сам сомневался, не верил, он лишь насупился и не спорил.

День получки заканчивался. То одна, то другая мамаша, углядев «своего», торопилась подхватить его и утащить в недра барака. Если тишина в квартире сохранялась – значит, все в порядке, получка сохранена и теперь надежно припрятана. «Сам» же, лихо выбив ладонью пробку из принесенной «чекушки» и приняв внутрь ее содержимое, мирно уснул до утра.

И вот в начале улицы показался Киселев. Приветливый, добродушный, разговорчивый – и в руках его действительно была гитара! Блестящая, новенькая, с шикарным бантом на грифе! Не гитара, а мечта, такой не было не только на нашей Павлоградской улице, но, наверное, и во всем поселке! Генка стремглав бросился к отцу, они прошли мимо, при этом Генка бросал на нас горделивые взгляды: «Я же говорил, говорил! А вы-ы…»

Киселевы и гитара скрылись в темном зеве подъезда. Разойтись мы, конечно, не могли, тут же возник жаркий спор о достоинствах Генкиной гитары. Мы с нетерпением ждали: через час ли, через два, но Генка обязательно появится с инструментом, может быть, даже даст кому-нибудь подержать в руках это чудо, подергать новенькие струны!

По летнему времени окна во многих квартирах распахнуты. Открыты они и у Генки. И вот оттуда через какое-то время стали доноситься голоса – самого Киселева и его жены, Киселихи по-уличному. Преобладал, конечно, голос Киселихи. Он то спадал,

то повышался до крика. Изредка слышалось глухое «бу-бу-бу» Киселева. Явно назревал скандал. Потом, как перед грозой, небольшое затишье, и все взорвалось пронзительным криком «И-и-и… Убиваю-ю-т!», и из подъезда вихрем вылетела Киселиха. За ней гнался Киселев. Всклокоченный, с гитарой в руке, он пытался схватить жену то за развевающиеся волосы, то за одежду. Он не дотягивался чуть-чуть, еще три-четыре шага – и догонит, схватит, и тут уж ей не поздоровится! Но внезапно Киселев споткнулся и со всего маху грохнулся на дорогу. Взвилось облачко пыли. А Киселиха, не переставая заполошно кричать свое «а-а-а…», вихрем пронеслась мимо нас и скрылась за углом дома.

Киселев полежал на дороге, потом сел, потом медленно поднялся и побрел к подъезду. Внезапно он остановился, поднял гитару и изо всех сил хряснул ею по перилам крыльца. Гитара жалобно пискнула, веером брызнули блестящие щепки. Киселев отшвырнул оставшийся в руках гриф и скрылся в подъезде. Несколько секунд на улице стояла полная тишина. Потом женские головы в окнах исчезли, мы – огольцы – занялись игрой в «ножички», всполошившиеся было куры вновь озабоченно стали рыться в пыли.

Так и осталась улица Павлоградская без гитары, лишь при двух старых балалайках…

Валентина Никитина
Безысходность

Для меня первый год после смерти папы был годом разгула. Я в третьем классе, взрослая, самостоятельная. Не надо никого слушаться, в школе можно уйти с урока через окно, не готовить домашнее задание и вообще не клянчить (как другие) у Веры Владимировны сумку с учебниками и тетрадями, которую она отбирала у нас, отправляя за родителями. Можно безудержно хвастаться хорошей, сытной, просто замечательной домашней жизнью, потихоньку сглатывая голодную слюну при виде кусочка хлеба в руке своих товарищей. Была свобода от всех обязанностей: от выполнения школьных правил поведения, от домашней уборки – а что убирать, если в доме ничего нет. Ни-че-го. Столи две кровати с досками вместо сетки, сухие веничи (стебли трав) вместо матраца и рядюшка, чтоб от холода накрыться ночью. Холодная плита, на которой ничего не варится. Нас дважды за этот год обокрали свои же сельские родичи и соседи. Мама, неграмотная безработная с тремя малолетками на руках, от горькой безысходности нашла единственный выход. Она запила.

А началось это так. Зашла к нам в гости соседка. Все ее звали баба Домка, говорили, что их семья богатая. Дочка Катя работает на мясокомбинате, мясо едят они каждый день. Я не верила этим россказням. Как можно мясо есть каждый день? Мясо едят по праздникам, а их каждый день не назначают. Но в тот день баба Домка нам устроила праздник. Тяжело переваливаясь на кривых ревматических ногах, она опустилась на табурет возле импровизированного стола, покрытого вместо скатерти какой-то то ли серой бумагой, то ли старыми газетами, долго, подслеповато прищурившись, осматривала пустую кухню, посмотрела на маму, оглядела нас и достала из сумки одуряюще вкусно пахнущий сверток и маленький кувшинчик.

«Наверное, там молоко», – подумала я. Развернув сверток, баба Домка достала кусок кровяной колбасы, немного хлеба и попросила стакан.

«Сейчас нальет молока!» – ликовала моя душа, и бурно урчал голодный желудок, ликуя, как и я, в предвкушении молока.

Ах, если б я знала последствия этого праздника. Если б я могла предположить, сколько горя принесет нам то, что было в кувшине, я бы разбила его на мелкие-мелкие осколочки. И наша мама, наша милая мама не стала бы со временем пьяным зверем,

избивающим своих детей всем, что попадет под руку, пропивающим нашу маленькую пенсию за три-четыре дня, обрекая на медленную голодную смерть, постоянный позор от слов, бросаемых вслед: да это Гали пьяницы байстрюки. Тяжело вздохнув, кивнув своим мыслям, баба Домка налила в принесенный стакан вина и сказала:

– Галочка, выпей стаканчик вина, а я хоть посмотрю, потому что пить не могу, мне нельзя.

Мама выпила. И впервые со дня похорон засмеялась, а мы поели колбасы с хлебом. Больше практически мы трезвой маму не видели. Сначала чуть под хмельком, она всё глубже увязала в пьяном угаре. В замутненном сознании ей виделась такая счастливая ее прежняя жизнь, а отрезвление порождало только еще большее желание не возвращаться в беспроглядную нищету.

Андрей Красулин
Танкист на масловке

Год сорок девятый или пятидесятый. Я учусь в МСХШ (Московская средняя художественная школа). Мы с другом Саней Белашовым идем от Верхней Масловки, где мастерская его матери, на Беговую. Зима, холод, страшно скользко. Нас окликает еле бредущий на двух протезах парень в шлеме танкиста. Он сильно и привычно нетрезв. Мы ведем его, подхватив с двух сторон. Он идет в пивную, небольшое кирпичное строение. У входа в пивную он сует руку в карман и протягивает нам горсть мелочи. Мы отказывается. Он ссыпает мелочь в карман. Потом сдергивает с коротко остриженной солдатской головы танковый шлем и громко говорит:

– Перед Лениным Владимиром Ильичом я снимаю… а идола грузинского…

Дальше идет длинная матерная фраза.

Мы идем в сторону Беговой, в столовую авиамоторного завода, на котором написано большими буквами «ФАБРИКА-КУХНЯ». Там кормят всех, не только рабочих завода. И в зале стоит древний автомат. Выбиваешь чек, и продавщица дергает рукоять – льется сто пятьдесят грамм водки. Но мы тогда еще не пили.

Людмила Улицкая
Грудь в орденах

Василий Иванович был сосед по коммуналке. Как мне казалось, старик. Пил он по-черному. Трезвым я его никогда не видела. Но даже в пьяном виде он был милый и улыбчивый, только падал часто. Всегда у него на лице была какая-то отметина – то синяк, то ссадина. Жена его – сильно пьяного – домой не пускала, и он довольно часто засыпал на полу возле нашей двери – приглянулся ему наш половичок или просто идти было недалеко. И в пьяном, и в трезвом виде был он миролюбив и застенчив.

Двери наших комнат были друг напротив друга. Уже когда я пошла в школу и возвращалась домой, взрослая, семилетняя, с ключом в руке, я часто заставала Василия Ивановича спавшим перед порогом нашей комнаты. Я вытягивала вперед руку с ключом, дотягивалась до замка и, перешагнув через спящего в луже Василия Ивановича, закрывала за собой дверь. Я его не боялась. И вообще до сих пор умею с пьяными обращаться. А году в пятьдесят втором он умер. Это были вторые похороны в нашей квартире. За несколько лет до него умер его зять, тоже пьяница, Филипп, но тот был совсем молодым. На большой коммунальной кухне на двух табуретках поставили гроб. И надели на покойника черный пиджак. Но материя видна была только на рукавах, потому что грудь оказалась вся в медалях и орденах. Вот такой был наш пропойца.

Мылись…

Привычное дело: открыл кран, течет вода. Хочешь – холодная, хочешь – горячая. Смесителем регулируется температура. Моется большинство людей каждый день. Не выходя из собственной квартиры – и душ, и ванна…

Трудно даже вообразить, какой радостью и блаженством было мытье в послевоенные годы. Моя бабушка жила в старой квартире, где была ванная комната с большим котлом, который топили дровами. Там же была и раковина – старинная, фарфоровая, в розовых хризантемах, иссеченных трещинами… Топили котел раз в неделю, и тогда меня приводили из соседнего дома, где я жила с родителями.

Сначала ванную занимал дед, он любил мыться чуть ли не кипятком. За ним – все другие члены семьи. Дети – в последнюю очередь, когда вода уже не была горячей. Для моих младших братьев ставили на табуретку прямо в ванную цинковую детскую ванночку, и мне разрешали тереть их спинки мочалкой… Какое счастье – горячая вода, мыло, хрустящее полотенце, белые простыни, пододеяльники, маленькая думочка на подушке, все жесткое от крахмала и пахнущее чистотой… Какая это роскошь – мытье горячей водой с мылом!

Леонид Добровольский
В баню в мужской компании

С Сережей и Володей нас объединяло еженедельное совместное хождение в баню. Дело в том, что никаких там ванн ни у кого из нас дома не было, но, что важнее, у нас не было отцов. До какого-то возраста каждый из нас ходил мыться в баню с мамами или бабушками, в женское отделение, но по понятным причинам наступил момент, когда это стало невозможным. Теперь я уже не помню, как мы объединились по поводу бани: то ли наши матери как-то между собой договорились, то ли случайно как-то вышло. Надо себе представить трех восьмилетних мальчишек с огромными эмалированными тазами, в которых лежат свертки с чистым бельем, полотенцами, мочалками и мылом, идущих в Ямские бани, располагавшиеся на нашей улице Достоевского, которая прежде называлась Ямской.

Сначала надо было отстоять очередь за билетами, а затем уже встать в очередь в банный класс согласно купленному билету. Были классы с парной за сорок копеек и так называемый «общий класс» без парной – за тридцать. Ходили мы в баню обычно по пятницам, очереди были невероятно длинные – часа на полтора-два. Не представляю, как у нас хватало терпения их выстаивать. Из «классов» выходили люди с распаренными красными лицами, и через некоторое время банщики объявляли, что могут пройти, например, четверо. Верхнюю одежду принимали в гардероб, там же давался номерок, который соответствовал номеру шкафчика и места на белой деревянной скамейке.

Здесь ты раздевался, вешал одежду в шкафчик и звал банщика, который закрывал шкафчик на ключ. Номерок за веревочку вешался на щиколотку или на запястье – кому как больше нравилось.

Потом шли в мыльную, где прежде всего надо было занять место на мраморной скамье для мытья и захватить пару цинковых тазиков – шаек. Для мытья головы и тела использовался принесенный с собой эмалированный таз, одна шайка с водой ставилась под ноги, а другую обычно наполняли прохладной водой для окатывания.

Захватив скамейку, мы наполняли все тазы водой, клали рядом с ними свои мочалки и мыльницы и шли в парную.

Помещение парной, обычно полутемное с тусклой лампочкой в плотном тумане, стены и потолок – почти черные от копоти. В одном углу – печь с раскаленными большими булыжниками

сверху, за дверцей в топке ленивый огонь лижет обугленные крупные поленья. Большую часть парилки занимает деревянная конструкция в виде лестницы с огромными ступенями – полка́ми, на верхнем полке́ – самая жара, не продохнуть, на нижнем – жарко, но терпеть можно. В тазиках замоченные веники, березовые и дубовые, их продают мужики у входа в баню, но настоящие парильщики приходят со своими. Кто-то с огромным ковшом на длинной ручке кричит: «Посторонись, сейчас поддам!» – и выплескивает с размаха воду из ковша на камни. С верхней полки раздается: «Вот пошло-пошло, хорошо! А ну-ка, поддай еще!»

После каждой поддачи нас обдает жгучим жаром, пронимающим до самого нутра.

Мы жмемся на нижней полке. Кто-то берет брошенный избитый веник, и, подражая мужикам, мы начинаем охаживать друг друга. Эффекта никакого, иногда только больно от царапающих кожу голых веток. Тут кто-нибудь из взрослых вдруг замашет над тобой настоящим целым еще веником, и жар, кажется, проникает в каждую клеточку организма.

После парной, откуда мы в конце концов вылетали пулей, атмосфера зала для мытья казалась благодатью, особенно если после этого окатиться холодной водой из полного таза. Мы принимались за мытье: мылись сами, а потом по очереди яростно терли спины друг другу намыленными мочалками. Кажется, до такой степени чистоты во взрослые годы мне отмываться больше никогда не приходилось – кожа скрипела, и во всем теле чувствовалась какая-то небывалая легкость.

Одевшись и собрав вещи, мы выходили в вестибюль и направлялись в новую очередь – к пивному ларьку. Здесь мы пили квас или клюквенный морс. Когда стали постарше, то уже выпивали и по «маленькой» – граненую кружку на четверть литра жигулевского пива. Стоила она 11 копеек. Случалось это мероприятие еженедельно по пятницам или субботам.

Вообще в те годы с мытьем были проблемы: либо нужно было идти в баню и отстаивать длиннющие очереди, либо идти на помывку в гости к родственникам или знакомым. В некоторых коммунальных квартирах, где жило по нескольку семей, были ванные комнаты с дровяными колонками. Соседи устанавливали очередь, закрепляя за каждой семьей определенный день недели, дни при этом разыгрывали по жребию.

Мы, бабушка, мама и я, ходили иногда мыться к бабушкиному племяннику, дяде Володе. Дома у него собиралась целая компания. Все приходили со своими дровами – небольшой вязанкой тонко нарубленных сухих чурок, – но, кроме этого,

приносили выпивку и что-нибудь из закуски или сладкое. После мытья в ванной, которое растягивалось на несколько часов, все усаживались за стол, и начинался настоящий праздник, иногда даже с танцами под патефон или электропроигрыватель. Кто-то приходил с детьми, и дети, в том числе и я, что-то поев, забирались под стол – другого свободного места не было – и там занимались своими делами.

Татьяна Жданова
Баня

В сороковые и пятидесятые была проблема – мытье. Ведь никаких ванн и душей в наших домах и помину не было. Где и как люди умудрялись совершать свой туалет, особенно женщины, – это особая песня. Но и еженедельное мытье требовало специальных усилий.

Мылись, стоя в корыте. Перед корытом ставили табурет, на табурет – таз. Грели воду в ведрах и больших кастрюлях, смешивали горячую и холодную воду тоже в ведрах или в баках для кипячения белья и мылись. При этом вода плескалась на пол. После мытья ее надо было подтереть, а грязную воду из корыта – вылить в помойное ведро. Одному это было не под силу, надо было позвать кого-нибудь еще. При этом дома должно было быть тепло, даже очень тепло, – стало быть, перед мытьем надо было натопить печку. А перед этим надо было натаскать воды с колонки. Словом, забот хватало. Если мыли детей, то ставили корыто на два стула, сажали ребенка в корыто, мыли, потом разрешали встать и обливали чистой водой. Моя тетушка Гера иногда устраивала мне душ: она брала дуршлаг и поливала меня через него водой из ковшика. Мне это ужасно нравилось.

Сама Геруся мылась до пояса каждый день, когда приходила с завода «Красный богатырь». Противный запах технического рыбьего жира и резины въедался в ее кожу, и она старалась отделаться от него. Она часто приносила новые упаковки «Земляничного» мыла, в голубенькой бумажке с узором из ягод земляники, с приторно-сладким запахом. По тем временам это было последнее слово советской косметики, выше могло быть только мыло «Красная Москва». Геруся ставила на стул таз и доверяла мне поливать ей воду из кружки на руки и шею. Потом вытиралась вафельным поло-тенцем.

Тот, кто не желал связываться со всеми этими трудностями, шагал в баню. Бань вокруг было много. Мама Женя ходила со мной в Богородские, а Геруся иногда водила меня в Потешные бани. И туда, и туда надо было ехать на четвертом трамвае, только в разные стороны.

Я гораздо лучше помню Богородские бани. В бане были женское и мужское отделения, иногда их почему-то меняли местами. В бане мыться можно было очень вольготно: и воды сколько хочешь, и лей ее куда хочешь. Однако в бане всегда была очередь. Иногда надо было простоять и просидеть час-другой в

ожидании, пока освободится место в предбаннике. Иногда не хватало шаек. Иногда трудно было найти место, чтобы поставить свои шайки. Но если уж дорвался до всего этого – мойся всласть. Некоторые ходили в баню со своими тазами (эмалированными), шайки же в бане были оцинкованными. Их надо было сначала как следует помыть, потом ошпарить кипятком, и место на лавке тоже надо было ошпарить, чтобы не подхватить какую-нибудь инфекцию. В душ обычно тоже стояла очередь, и женщины торопили друг друга – всем хотелось постоять под струями воды, свободно льющейся сверху.

В банном отделении было душновато, пар поднимался высоко к окнам. Там же была и парная, но мы никогда туда не ходили. Я попала туда, когда мне уже было лет двадцать с лишним.

Как-то раз что-то случилось с краном, откуда текла горячая вода. Пару набралось больше, чем обычно, и в нем вдруг возникла фигура мужчины, вполне одетого, с инструментами в руках. Он деловито, не обращая внимания на обнаженных женщин, подошел к крану, повертел толстую деревянную ручку, что-то там подправил и так же спокойно удалился. Голые женщины испытали легкий шок, но никто в обморок не упал. Стыднее всех, кажется, было мне, пятилетней.

Когда мама Женя мыла мне голову и мыло попадало мне в глаза, я начинала вопить. Мама Женя говорила, что я ору басом, совсем как Поль Робсон. Я не обижалась, потому что он мне очень нравился.

Но мы не очень часто ходили в баню, во-первых, потому, что мама Женя не отличалась повышенной чистоплотностью, а во-вторых, мне кажется, она плохо себя там чувствовала. Однажды она чуть не упала в обморок, уже в предбаннике. Кто-то догадался дать ей понюхать нашатыря, и она пришла в себя. Я очень перепугалась за нее и за свою особу.

В предбаннике рядами стояли диваны с очень высокими спинками. Спинка была одна, а диваны были с двух сторон. На спинках висели крючки для одежды или для полотенец. Женщины

шли по дорожкам, разостланным на полу, к своим местам, а детишек чаще выносили из моечного отделения на руках, чтобы они не пачкали ноги, и ставили на диван. Помнится, я шла сама: наверное, у мамы Жени не было сил таскать меня на себе.

Один раз мама Женя сказала о какой-то женщине в бане: «Посмотри, какая красивая у нее фигура». Я посмотрела и ничего не поняла: просто голая тетя. Я вообще долго ничего не понимала в фигурах. Лицо – вот это понятно, либо оно нравится, либо нет, а фигура?..

Иногда летом родители не ленились и выносили на лужайку перед нашим домом корыта, наливали туда холодную воду, и мы в трусиках сидели в этих корытах и плескались. Вот было счастье!

Помню, как-то раз, когда у нас в очередной раз отключили электричество, мать зажгла коптилку и устроила мытье в корыте мне и моей подружке Гале. Я, уже помытая и завернутая в полотенце, сидела на кровати и смотрела, как мать поливает Галку чистой водой, при этом свет коптилки ярко отражался в мокрой Галкиной попке. Это было очень живописно.

При всей скудости наших омовений у нас не было вшей. Маме Жене вовсе не хотелось возиться с моими волосами, поэтому меня стригли «под мальчика». Специальных детских парикмахерских не было, поэтому меня просто приводили во взрослую, где маме Жене иногда делали шестимесячную завивку. Когда подходила наша очередь, поперек кресла, на его ручки, клали широкую доску и сажали меня на нее. Стригли меня механической машинкой, которой я сначала боялась, но потом перестала бояться. Но все равно: прикосновение холодной металлической машинки к загривку вызывало у меня какое-то атавистическое чувство ужаса. Вопрос, как постричь ребенка, состоял только в одном: под нуль или с челочкой? На мою голую голову мама Женя надевала отнюдь не панамку, а сооружение своего собственного изобретения – колпачок, сделанный из верхней части старого чулка. Чулок обрезался, его обрезанная часть стягивалась и сшивалась, и туда пришивалась кисточка – получался колпачок. Зачем надо было меня так уродовать, ума не приложу, но сама я ничего не имела против этих колпачков, не то что против фартучков. Меня часто принимали за мальчика или просто дразнили: «Лысый, иди пописай!» Однако о косах я все равно не мечтала, мне было хорошо и так.

Кстати, о волосах. У Геруси были довольно длинные светлые волосы, которые она заплетала в косички. Когда она их расчесывала, на гребешке оставались волосинки. Она их снимала, сворачивала на пальце в колечки и бросала на пол, аккуратистка! Почему-то я их ужасно боялась, они казались мне живыми, при

сквозняке они перемещались по полу, как мыши.

Марина Краевская
Случай в бане

В 1945 году мне было одиннадцать лет. Мы жили в самом центре Москвы, естественно, в коммуналке и, столь же естественно, без ванной. Организация семейного мытья была делом непростым и, уж конечно, не слишком частым. Родители с утра занимали очередь в ближайшие к нам Чернышевские бани, а я шла в школу. По возвращении присоединялась к ним.

Запомнился случай. Дедушка, рассеянный ученый, далекий от реальной жизни человек, по ошибке вышел прямо из моечного зала мужского отделения в соответствующем (вернее, несоответствующем) виде в общий вестибюль. Никто не был смущен, кроме него самого. Да и до того ли было! Простоявшие несколько часов на улице люди теперь находились «на финишной прямой». Не более получаса отделяло их от вожделенного момента получения маленького кусочка темного хозяйственного мыла (выдавали при входе непосредственно в предбанник всем, и детям в том числе!). А дальше предстояла борьба за шайки, желательно две, попытка что-нибудь простирнуть, что жестко пресекалось администрацией, но неизменно проделывалось: дома еще сложнее. Так кому какое дело до голого мужчины, когда вот-вот сбудется мечта!

Ирина Безуглая
Дочка, потри спинку!

…На кухне в цинковых ванночках или тазах купали грудничков и малышей. Ни душа, ни ванной не было, только две уборные по обе стороны длинного коридора, с крупными буквами «М» и «Ж», нарисованными на дверях масляной синей краской. Старшие дети раз в неделю шли с родителями в Усачевские бани, недалеко от рынка того же названия. Мы с подружками не любили ходить в баню, потому как знали, что, едва мы появимся в помывочной, со всех сторон послышится: «Дочка, потри спинку». Мы перетерли тогда много старушечьих спин, искривленных тяжелым трудом, особенно в годы войны. Сейчас думаю, что этим «старухам» было не более сорока – сорока пяти лет.

Одевались…

Мы живем во времена невиданного изобилия. Никогда прежде в мире не было произведено такого количества всяких вещей: обуви, одежды, мебели, посуды… Вещи дорогие и дешевые, хорошего качества и плохого и, как предел презрения к самой материи, – вещи одноразовые. Всего много, даже слишком много. Ломятся от вещей шкафы, ломятся и помойки…

Дома у меня стоит швейная машинка, кабинетный «Зингер», подаренный моей бабушке на свадьбу весной 1917 года. Очень был своевременный подарок: на этой машинке бабушка обшивала всё семейство чуть ли не до самой смерти. Я помню эти семейные вещи, которые проживали много жизней, – пальто долго «строили», покупали материю, подкладку, ватин, бортовку, воротник, пуговицы, потом бабушка раскладывала ткань на полотне, рисовала обмылком чертеж, кроила, долго и пристально корпела, делала множество ручной работы, а под конец, сдвинув шаг стежка на максимальный, строчила на машинке, подправляя ткань руками и покачивая ногой чугунную подножку… Пальто долго носила моя мама, потом его перелицовывали, и оно служило еще десяток лет, потом оно перевоплощалось в юбку и в жилет, и последнее, уже предсмертное существование: круглая перочистка, сшитая из темных лоскутков изношенного сукна, прошитая посередине красным шнурком, варежка-хваталка для кастрюли. Бывший воротник перевоплотился в стельку… Такое семейное пальто следовало бы сохранить как музейную реликвию, но это невозможно, поскольку оно отслужило до последней нитки. Гордые, уважаемые, почтенные вещи, которых теперь не стало. Изобилие испортило наше отношение с вещами: мы перестали их уважать и ценить.

Давно умерла бабушка, но до сих пор, когда мне нужна розовая нитка или зеленая пуговица, я нахожу их в ящичке швейной машины. Другой мир, другая культура. Мне до сих пор нравятся эти строгость и скудость, и нравится всё реже встречающийся особый женский талант обращения с мукой, сахаром, шерстью, полотном и шелком…

Людмила Кожурина
Всепогодные сандалии

– Ты зачем надеваешь босоножки, дождик ведь?

– Так потому и надеваю, что вода тут же выльется и нога быстро высохнет.

Это обо мне беспокоятся дети: я собираюсь по делам на целый день. Мое объяснение их невероятно смешит. Но ведь правда, дело привычки.

В детстве на каждое лето мне покупали одни сандалии и одно ситцевое платье. И то и другое снашивалось в дым, потому что сандалии были всепогодные, а платье стирали в субботу после бани, и к утру оно было готово к дальнейшей носке.

Сейчас у меня есть туфли, и не одни, юбок-платьев хватает, но на каждый сезон я подбираю что-то одно, «любимое», что ли. Прошлогоднюю юбку не надену, пусть и хорошую. Новую сделаю.

Кстати, это «сделаю» осталось с тех самых пор, с перешиваний и перелицовок всего, что еще не полный хлам. Этим занималась мама, она сама эти платьица «делала» – мне и себе. В пятидесятые годы, когда я посещала детский сад, у меня было штапельное платье старушечьей расцветки, темно-зеленый фон и мелкий горошек, причем подол с одного боку отвисал – видимо, ткани было не настолько много, чтобы выкроить детали правильно, вдоль нити, а не поперек. Я это платье сильно не любила, чем и запомнила. Другой особенностью платьев, которые мама шила мне в детстве, было отсутствие карманов. Видимо, за нехваткой времени или ткани опять же. Но ребенок не на все неудобства может посетовать, потребовать карманов – непредставимо. Тем более что вместо карманов мы, маленькие девочки конца пятидесятых, использовали штаны. Это нам так повезло: штаны у детей были в виде панталон, с резинкой у колена. Как теплые, «на байке», так и «простые», хлопчатобумажные, – их тоже мама шила. Штаны были длиннее, чем платье, и в старшей группе девочки их «подбирали», подкручивали, чтоб не выглядывали. То еще ощущение толстых колец вокруг ног. Но я ведь не о красоте, а о карманах.

Этот жест – подобрать что-то с земли и засунуть за гачу, за резинку – он памятен. Мы так делали. Яблоко недоеденное туда, мелок, маленькую куколку. Однажды по дороге в сад – а в садик мы ходили самостоятельно, причем я даже ездила на автобусе, – так вот, видно, в автобусе я и подобрала тюбик губной помады. Естественно, засунула за гачу. На прогулке показала девочкам,

они крутили-смотрели и крышку потеряли. В общем, я и без крышки – за гачу. А после тихого часа началось: воспитательница, увидев меня, завизжала, дети замерли, я тоже посмотрела на себя: вся в алом. Помада эта, значит, растаяла и потекла. Панталоны в тот день у меня были ярко-желтые. «Лимонного цвета», как их хвалила моя мама.

Моя мама умела похвалить всякую дрянь. «Ешь, ешь, килька чуть с душком, ароматная… вот каша пшенная – она на воде такая остренькая получается, вкуснотища… картошечка-то с разварочки, хороша, ничего к ней и не надо». Ботинки – «еще крепкие, не промокают», пальто – «как новое, рукава совсем не протерлись». Костюм клоуна, который она мне сшила из матрасной ткани, – «загляденье, а не костюм». И так, казалось, всё нормально у нас, хорошо живем.

Когда мне надо было идти в первый класс, встал вопрос о белом фартуке. Первая идея у мамы была – из отбеленной марли, и, если накрахмалить… Но она остановилась на кухонной занавеске: хорошая бязь, где у нас хлорка? Ленты в косы она «сделала» из своего старого крепдешинового платья – «благородные ленты»!

Эта нищета (мама врач, отец инженер) в нашей семье не проходила. Когда мне надо было торжественно вступать в пионеры перед лицом своих товарищей, мама сделала мне галстук из куска бордового сатина, аккуратно так руками обметала тряпочку. Уголки сразу скрутились в трубочки, и это было не разгладить.

Ну, тебе уже десять лет, ты видишь, что есть у подруг, что им покупают, в то же время ты замечаешь, как окружающие уважают твою мать, вообще семью. И ты спрашиваешь: почему у нас нет этого, того. И получаешь укрепляющий завет:

– Вот как ты видишь богато одетого человека, как входишь в дом, который от добра ломится, – знай: это нехороший человек, это плохой дом. В нашей стране честные не могут быть богатыми.

Радикально, конечно. Но тогда спасало и от зависти, и от преклонения, и от униженности – дружить не мешало. А в случае намека на мой скудный гардероб я вытаскивала козырь: «Зато мы ездили к морю». Это доставало. Тогда мало кто выезжал в отпуск. Считалось, пустое. То ли дело – люстру купить.

А тоску людей по большим путешествиям утоляло радио. И все самозабвенно пели: «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы».

Леонид Добровольский «Комбинации»

Одеваться тогда приходилось довольно сложно: и мальчики, и девочки носили чулки, пристегнутые резинками к лифчику, сверху натягивались шаровары с начесом, шерстяной или байковый свитер, а поверх всего – пальто на вате с меховым воротником или шубка. Кроме того, надевались теплые вязаные варежки на резинке, чтобы не потерять, и длинный шерстяной шарф, который несколько раз оборачивался под воротником пальто и часто завязывался на спине. Еще пальто или шубка подпоясывались ремнем, чтобы снизу не задувало, а на голову одевали меховую шапку с ушами, которые завязывались под подбородком.

Отдельная тема – обувь: зимой тогда носили валенки с галошами, а позже – суконные боты с резиновым низом, которые одевались поверх ботинок. При этом, конечно, еще одевались и теплые вязаные носки. Особым шиком были так называемые бурки – сапожки из специального толстого сукна с толстой утепленной подошвой и отделанные кожей. Такие бурки стоили очень дорого, и носили их только дети из очень состоятельных семей. Говорили, что бурки очень теплые, практичные и ноские, сам я это подтвердить не могу – носить их не пришлось.

Большинство детей в то время одевали в перешитые из вещей родителей или старших братьев и сестер платья и костюмы, которые назывались «комбинации», поскольку для их пошива использовали куски разных тканей, выкроенные из старой одежды. Например, девичье платье могло иметь различные верх и юбку, а также кокетку и рукава из другого материала. То же было и в мальчишечьей одежде: пиджачки или курточки, брючки, составленные из двух-трех типов тканей.

Мальчики примерно до десяти-двенадцати лет носили тогда в основном либо короткие штаны – выше колен, либо так называемые «брюки-гольф» – штаны чуть ниже колен с манжетой или резинкой, плотно охватывающей ногу. В праздничном варианте под пиджачок или курточку надевали светлую рубашку, украшенную жабо или бантом. Очень многие дети, мальчики и девочки, и в будни, и в праздники носили нечто вроде лыжных байковых костюмов.

Помню, как мы с бабулей тянем за веревку детские санки, груженные торфяными брикетами, по узенькой тропинке, протоптанной на тротуаре между высоченными, выше меня,

снежными сугробами. Вообще с топливом для печки, торфяными брикетами и дровами связано множество эпизодов того времени, запечатлевшихся в моей памяти, равно как и бесконечные очереди за яйцами.

Наталья Гаврилова
Красное платье

В школу я пошла в первый послевоенный сентябрь. Была я маленькая, худенькая, читать и писать не умела, букв никаких не знала. Надо ли говорить, что никакой подготовки к школе в те годы не было и все первоклашки узнавали азбуку, цифры, учились читать и писать уже сидя за партой.

Моя мама считала меня не готовой стать школьницей, ей хотелось оставить меня еще на год в детском саду. Строгие правила не позволяли семилеткам, а мне в мае исполнилось семь, посещать детский сад, и в августе я была «по возрасту» отчислена. Мама по этому поводу сильно сокрушалась, а так как деть меня было некуда, то и отвела меня в школу.

Видимо, особого впечатления это событие на меня не произвело, потому что ни свой первый школьный сентябрь, ни начала учебы я не помню. Пытаясь вспо-мнить свою первую учительницу, вижу размытый облик молодой женщины, имени которой память не сохранила, но зато живо помню, как мне становилось не по себе, когда слышала я ее произношение: «свекла́ и моркошка». При любом удобном случае я громко и четко, как мне тогда казалось, говорила: «свёкла и морковь». Еще помню, что писать чернилами разрешили мне одной из последних в классе, дольше многих писала я палочки и кружочки карандашом. Маму моя учеба в первом классе не заботила. Лишь изредка она интересовалась, сделала ли я уроки, и, услышав ответ «сделала», больше ни о чем меня не расспрашивала. Так спокойно, без особых событий пролетел мой первый учебный год.

И вот я уже получаю табель с одними пятерками, получаю и подарок – мою первую в жизни награду за отличную учебу. Подарок завернут в бумагу, и я узнаю от учительницы, что это отрез ситца мне на новое платье. Счастливая и гордая, бегу домой, одной рукой прижимая к груди бумажный сверток, а в другой бережно держа листочек-табель и чернильницу-непроливайку. Бегу быстро, со всех ног; завидя маму на нашем огороде, кричу во все горло: «Мама, мама! Я отличница, отличница, отличница!» Она смотрит на пятерки в табеле, потом как-то удивленно на меня и тихо говорит: «Молодец». Но ведь это еще не всё! У меня в руках подарок! Отрез ситца на новое платье – так сказала моя учительница. Мама разворачивает сверток, и луч майского солнца ослепительным светом падает на ткань ярко-красного цвета с белыми горошинами. От этой красоты у меня

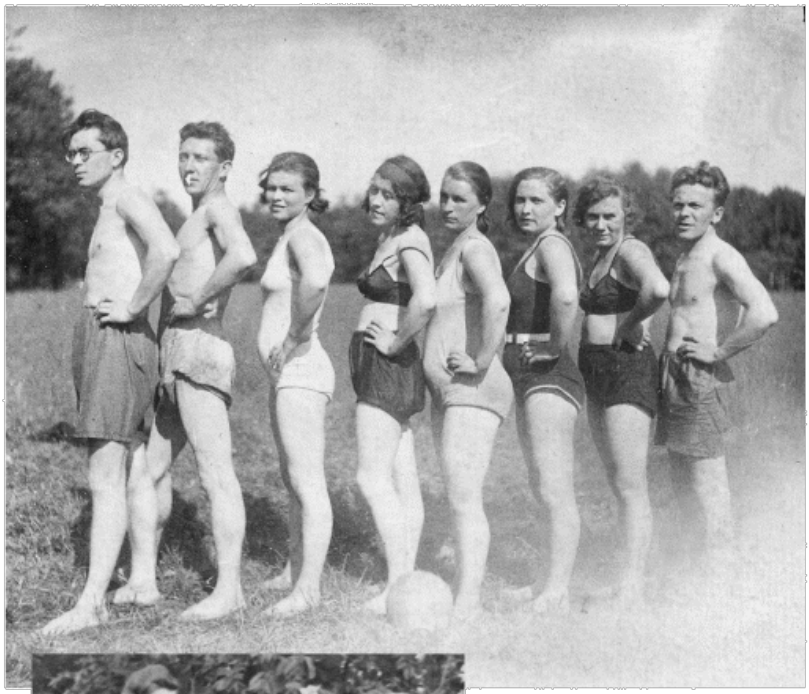
захватило дух, замерло, а потом радостно забилось сердце, волна счастья накрыла меня с головой. Я уже вижу себя в новом красном платье и нетерпеливо спрашиваю маму, когда она сошьет мне новое платье, но мама говорит: «Нет, Натка, нового платья у тебя не будет. В воскресенье на базаре мы продадим этот отрез и купим семенной картошки. Нам нечем сажать огород, ведь свою семенную картошку мы почти всю зимой съели». Кончилось счастье. Обида и горе свалились на меня. С плачем убегаю и долго отсиживаюсь в темном углу сарая.

В детстве горюют недолго, отгоревала и я, ведь впереди меня ждали каникулы, летние солнечные деньки, речка, лес, ягоды, подружки. В тот день я дала себе обещание, что когда-нибудь у меня непременно будет ослепительно красное платье.

Шли годы, появлялись обновки, но как-то так получалось, что никогда у меня не было ничего красного, так никогда и не довелось мне нарядиться в королевский красный цвет. А всё оттого, что мне – сероглазой блондинке – красный цвет вряд ли был бы к лицу.

Елена Шор
Один сапог

…А еще в Москве были барахолки, где можно было продать-купить всё что угодно. Я знала две из них – Преображенку и Палашевский рынок. Торговля на Преображенском рынке начиналась прямо от станции метро «Сталинская» (ныне «Семеновская»). Море людей толкалось, протискивалось туда-сюда, держа в руках то, что хотели продать.



Однажды мы с сестрой поехали туда покупать ей сапоги. Видим человека: держит в руках один сапог, демонстрирует, дает примерить. «Второй, – говорит, – вот он, в коробке». Сестра

просовывает руку в коробку, нащупывает голенище… Примеряет сапог. Всё в порядке. Расплачиваемся, суем второй сапог в коробку, приезжаем домой. Не терпится обуть новые сапоги! Лезем в коробку и видим: там один сапог и свернутый в трубку кусок грубой кожи.

Владимир Розанцев
Две истории о смерти вещей

История с поркой

Прошло уже очень много лет, но я до сих пор с огромным стыдом вспоминаю историю, которая случилась со мной, восьмилетним мальчиком.

Я жил в комнате с отцом и матерью Верой Петровной, или тетей Верой, как ее все звали в нашем дворе. На лестничной клетке в соседней квартире жила подруга матери, тоже Вера, с дочкой, и тоже Верочкой.

Мы с Верочкой родились с разницей в четыре часа. Когда мы стали чуть постарше, нас во дворе стали дразнить «тили-тили тесто, жених и невеста». Это повторялось почти каждый день. Меня эта бесконечная насмешка очень смущала и тревожила.

В 1947 году, когда я учился во втором классе, меня эта «шутка» стала изводить. Весной этого года мама Верочки сшила ей новое пальто. Пальто было голубенькое с маленьким беличьим воротником и очень шло девочке. Где ее мама смогла достать материал в такое тяжелое послевоенное время, было удивительным. Она всегда старалась свою дочку одеть получше. И вот однажды во дворе нас опять стали дразнить, и я решил, как-то ничего, в сущности, не понимая, обидеть Верочку. Придя домой, я взял безопасную бритву отца и, при очередной насмешке, распорол спину ее голубенького пальтишка. Испугавшись сделанного, я закричал: «Верочка, у тебя пальто сзади разрезано!» Дети, которые всё это видели, тут же сказали, что я сам ей пальто разрезал.

Вечером мама, услышав эту историю, пришла в ужас. Как она будет теперь глядеть в глаза подруге? Будучи женщиной больной и нервной, она всегда сдерживалась, когда я что-нибудь вытворял. Но тут… Она замочила ремень, сдернула с меня штаны и отстегала по одному месту, повторяя при этом: «Чтобы тебе было неповадно». Никакие слезы, рыдания и мольба «Мама, прости, я больше никогда не буду!» не остановили экзекуцию.

И эти удары и шлепки я запомнил на всю жизнь. До этого меня никогда не пороли. Мне кажется, именно с этого момента я начал что-то понимать в жизни. Я этой порке благодарен. А пальто было потеряно безвозвратно: никакая художественная штопка не могла бы его спасти.

История о беличьей шубке

Удивительное свойство памяти: подчас я совершенно не могу вспомнить, что было два-три года назад, а стоит закрыть глаза и подумать о своей родной школе, как я отчетливо вижу первый класс, в который я поступил в 1945 году.

1 «Д» был сформирован в конце августа и был пятым по счету. В него попали дети, которые по разным причинам ранее не были записаны в школу. Среди таких был и я, мама умолила директора втиснуть меня в этот класс. Наша Малая Грузинская улица делила собой два района: Краснопресненский и Советский. Нечетные номера домов относились к первому району, а четные – ко второму. Мы жили на нечетной стороне. А мама, ничего не знавшая о том, что можно учиться только в школе своего района, по прописке местожительства записала меня в Советский район, где учился в четвертом классе мой кузен. Придя в школу накануне 1 сентября, она испуганно увидела, что в списках меня нет. Так я оказался в незабываемом 1 «Д» школы № 82 Краснопресненского района.

Что же это был за 1 «Д»? Сейчас, по прошествии более шестидесяти пяти лет, сегодняшнему поколению очень трудно себе представить. Буквально бурса по писателю XIX века Помяловскому.

Дети войны. У большинства учеников отцы погибли на фронте. У многих мальчиков не было мам, и жили они с кем-нибудь из родственников. Возраст детей в классе колебался от семи до одиннадцати лет. Основная масса ребят жила крайне бедно. Одежда не по размеру: переделанные отцовские гимнастерки, большие сапоги или ботинки, шапки-ушанки. Наша классная руководительница, окончившая гимназию в дореволюционное время, со слезами на глазах смотрела на нас. Мы за глаза называли ее старухой и завидовали ребятам других классов, у которых учительницы были очень молодые.

Я жил в конце Малой Грузинской улицы, ближе к Белорусскому вокзалу, а школа находилась в районе Красной Пресни, и ходить до нее было достаточно далеко. Моя мама очень переживала, как я буду переходить два переулка по дороге в школу. С этого края улицы нас было только трое ребят, и для многих учеников класса, живших поблизости от школы, мы были «чужаками», так что было не избежать пинков и тумаков. Но среди нас троих был один десятилетний парень по прозвищу Царь, прошедший колонию и вызволенный оттуда родной теткой. Это была колоритнейшая фигура, этакий Мишка Квакин из повести А. Гайдара «Тимур и его команда». Его боялись все,

вплоть до учителей. В рваной одежде, лохматый, с горящими глазами и обязательным окурком во рту, он был на голову выше всех в нашем 1 «Д».

Бедная классная руководительница не знала, как с ним справиться. Особенно страдала учительница пения – интеллигентная пожилая еврейка. У нее на лице был ужас, когда он появлялся на уроке пения, хотя прогуливал его почти постоянно. Однажды он принес в класс большое оконное стекло и грохнул его об пол, когда учительница отвернулась, играя на разбитом стареньком пианино. Она испуганно закричала и бросилась из класса за директором. Исключить его из школы было невозможно, поскольку он был сыном погибших родителей.

Никто в классе не любил опрятных и аккуратных мальчиков, которых встречали и провожали мамы или бабушки. Вспоминается случай: когда мама одного из учеников привела своего сына в новой беличьей шубке, которую привез из Германии возвратившийся с войны отец, в классе произошло событие, потребовавшее вмешательства директора школы.

Мы в начальных классах снимали верхнюю одежду прямо в классе и вешали пальто на крючки к прибитой на стене доске. Вестибюль школы тогда не работал, было в нем холодно, да и вещи постоянно пропадали.

Так вот, висит эта красивая шубка, и весь класс внимательно на нее смотрит, и каждому хочется ее потрогать. Царь на перемене приказывает классу: «Давайте, ребята, мех пощупаем и по перышку повыдергиваем». Через два дня от шубки ничего не осталось.

Разгневанная мамаша добилась того, что Царя из школы исключили. Мне было его бесконечно жаль: он являлся для меня, маленького шкета, надежной защитой и в обиду не давал, всегда заступался. Дальнейшей судьбы его я не знаю, да и фамилию не помню, кроме прозвища Царь. Возможно, он стал вором или, может быть, кандидатом наук – сказать трудно.

Людмила Фрейдлин
Демисезонное пальто

К тринадцати годам мне сшили первое, как мама его называла, демисезонное пальто. До этого жакетку сразу сменяло теплое пальто. Я выходила из дома и сейчас же расстегивала пуговицы – мне казалось, что я дымилась в этом пальто на ватине. Раздражала веревочка на шее, к которой были пришиты варежки, чтобы не потерялись. Такие же мучения приходилось переживать и в апреле.

Демисезонное пальто давало возможность ощутить в полной мере прелесть весны и осени, а зимней новинкой стали ботинки на меху – «румынки». До их появления на той же толкучке спасались в холода валенками или стегаными бурками с галошами. Модницы носили молочного цвета фетровые боты.

Бурный протест у меня вызывали шерстяные шапочки, вязанные из ниток разного цвета. Я сопротивлялась как могла, но мне такую нескладуху все-таки купили. Уже вся школа ходила в этих шапчонках, квадратных, если их держать в руках, и заломленных верхушкой внутрь, если надеть. Короткую моду пережили фетровые шляпки без полей, по форме схожие с селедочницами. У них было отталкивающее название – «менингитки», и тут, слава Богу, мои и родительские вкусы сошлись.

Школьная форма мне нравилась: коричневое шерстяное платье с черным фартуком и тоненьким белым кружевом вокруг шеи. Для торжественных случаев имелся белый фартук из штапеля. Мама сшила для платья черные сатиновые нарукавники, и оно служило мне много лет. К началу моей студенческой жизни его перешили, заменив школьную стоечку на отложной ворот, а еще через несколько лет, обрезав рукава и воротник, превратили платье в сарафан, под который можно было надеть любую блузу. А из моего долгожданного демисезонного пальто со временем соорудили немереной красоты вещь – куртку с шалевым воротником, фигурными манжетами, хлястиком и крупными пуговицами.

Всю одежду шили: от сарафанов до пальто. «Справить пальто» было мероприятием серьезным и небыстрым. Надо было «достать» сначала ткань, потом подкладку (саржу), ватин, пуговицы, на толкучке купить меховой воротник и отдать все это богатство в ателье, куда ходили в течение месяца, а то и полутора на три-четыре примерки. Все вещи шились с подпушкой и запасами по

бокам, поскольку носились годами, расшивались и сужались по мере надобности.

Хорошая портниха по тем временам была фигурой уважаемой в обществе…

ИГРАЛИ…

На картине великого нидерландского художника Питера Брейгеля «Детские игры» изображена часть улицы воображаемого города, на которой двести пятьдесят детей играют в восемьдесят четыре различные игры. Это подсчитали современные искусствоведы, а специалисты по культурной антропологии подтвердят: это все или почти все игры, которыми забавлялись дети в тогдашней Европе. Прошло четыре столетия с тех пор, как Брейгелем нарисована была картина, и в огромной послевоенной стране России, о которой он, скорей всего, и слыхом не слыхивал, во дворах воспроизводился тот же неизменный детский мир. Искусствоведы полагают, что изображенные на полотне детские игры – образ всего человеческого бытия. Дети, забавляясь, разыгрывают сюжеты взрослой жизни – в войну, в дочки-матери, в магазин, в профессиональные игры, с одной стороны, и в игры-соревнования, смысл которых – достичь победы лично или командно…

Сегодня, прожив начало следующего, двадцать первого века и отмечая скачкообразные перемены во многих областях человеческого бытия, связанные с прогрессом науки и новых технологий, мы уже можем сделать первые предварительные выводы: закончился тот период человеческого детства, который проходил на улице, во дворе, связан был с землей, водой, животными и растениями. Время коллективных и стихийных детских игр закончилось. Сегодняшние дети играют с электронными игрушками и компьютерными приложениями. Конечно, любимый зайчик или собачка еще укладываются спать в детскую кроватку, но их, плюшевых и бессловесных, уже готовы сменить тамагочи, имитирующие одновременно собачку и младшего братика.

Скорей всего, мы не сможем разорвать это логическое кольцо: сначала изменились люди, а потом их детские игры, или, напротив, изменились детские игры и меняются в соответствии с этим дети. Так или иначе, современные дети почти не знают игр пятидесятилетней давности. Бабушки и дедушки с отвращением рассматривают наладонник, который заменяет всё: и куклу, и ружьишко, и лапту… И рассказывают о своих играх послевоенного времени.

Эдуард Буйновский
Игры нашего двора

Пока родители на работе, мы были предоставлены сами себе. Двор был для нас местом, где мы, собираясь стайками, учились жизни во всех ее проявлениях. Здесь тебе и своеобразный Интернет, и секции, и кружки…

Моя память хорошо сохранила не только названия наших дворовых игр, но и «технологию» их проведения. Я даже помню отдельные случаи, когда мне доставалась победа или всеобщее дворовое признание и почет.

«Лямочка», «расшиши», «пристенок», «чижик», «лапта», «штандер», «скакалки» – названия, конечно, непрезентабельные и могут вызвать усмешку у современной детворы. Пусть! А мне дороги именно эти игры нашего детства.

Несколько лет назад я был на спектакле Театра Марка Розовского «Песни нашего двора». В качестве декорации – настоящий московский двор пятидесятых годов, где артисты исполняли популярные послевоенные песни. Тогда меня чуть ли не до слез растрогал сам Марк Розовский, когда он продемонстрировал, как играл в «лямочку» в своем далеком военном детстве.

«Лямочка» (в других дворах она называлась по-другому) – тяжелая старинная монета или что-то просто сравнительно тяжелое, упакованное в кусок плотной ткани (получалось что-то типа воланчика для современного бадминтона). И вот такой самодельный «снаряд» нужно внутренней стороной ступни поддать несколько раз. Мой одногодок Марк Розовский сегодня сумел это сделать три-четыре раза. А некоторые наши «асы» – за один заход десятки раз! Соревновались. Проигравшие гоняли по двору с целью поймать эту самую «лямочку», которую победитель старался как можно дальше отправить ударом ноги. Игра только мальчишечья.

Были и «денежные» игры типа «расшиши» или «пристенок». Нам, дворовой мелюзге, просто нравились само участие в таких играх, но никаких корыстных целей мы при этом не преследовали. Ребята постарше играли в эти игры с «меркантильным» интересом, отбирая у нас, мелкоты, наши «кровные» копейки, причем на законном основании.

В «расшиши» играли так: проводится на земле черта, участники игры кладут свой «пай» в виде столбика из монет (обычно пятнадцатикопеечных), причем все они – на «орле» или

«решке». Далее каждый с определенного расстояния бросает «биту» как можно ближе. Тот, кто бросил биту ближе всех к линии, бьет первым по этой самой стопке. Оказывается, это большое искусство – ударить по стопке так, чтобы все монеты или большинство из них перевернулись с «орла» на «решку» или наоборот. Такие монетки попадали в карман бившего. Оставшиеся из стопки монеты достаются остальным участникам этой игры. Бывает и так, что последнему из очереди бить уже и не по чему – остатки стопки «разбрелись» по карманам более счастливых участников.

А вот «пристенок». Рядом со стеной дома рисуется квадратик, куда участники складывают свой пай, – это «казна». Далее каждый из участников поединка своей монеткой (отработанное, хорошо отлаженное личное орудие получения финансовой прибыли) бьет о стенку так, чтобы его монетка попала в «казну» или выбила из нее как можно больше монет. Это – в карман бьющего. И так по очереди, пока монетки из «казны» не перекочуют в карманы участников. Играли азартно, с шумом-криком, с коллективным обсуждением удачного удара участника этой игры.

Если удавалось скопить за неделю или выиграть немного деньжат, мы обычно тратили их на коллективные «культурные» мероприятия. Тоже любимая наша игра – лапта. Здесь играли и девчонки. Мы тогда не очень церемонились с прекрасной половиной нашего дворового общества. Помнится, отбивающаяся команда «выбивала» члена противоположной команды сильнейшим ударом тяжелого мяча, не думая, в кого он попадет – в мальчика или девочку.

Вообще-то наши девчонки принимали активное участие практически во всех наших «мальчишеских» играх. Кроме, может быть, «денежных». К числу таких совместных игр относились «штандер» (игра с мячом), «в салочки» (бегали друг за другом). Лично мне нравилась игра «в садовника», когда мы все садились в один ряд на лавочке и где по ходу игры у нас, мальчишек, была возможность дотронуться до девочки. В других случаях на это был строжайший запрет. Ведь наши тогдашние воспитатели мудро решили, что в советской стране дети – мальчики и девочки – должны учиться только в разных школах. Поэтому двор был единственным местом, где мы могли общаться. Мальчишки также, не стесняясь, участвовали в «девчачьих» играх – «классики», «скакалки». Например, с двух сторон две девчонки крутят разными руками в разные стороны две скакалки. Нужно умудриться вскочить в такое «сооружение», да еще и попрыгать там сколько сможешь. Здесь иногда перевес был на нашей,

мужской стороне.

Мы ведь были дети военных лет. Поэтому как же без игры «в войну» или «казаки-разбойники». В качестве декораций к таким играм нам служили полсотни разбитых американских «Студебеккеров», припаркованных в ожидании ремонта на заводе, который еще с дореволюционных времен базировался в глубине нашего двора. Какие «маневры», какие «диверсии», какие «рейды» и «заходы в тыл» противника мы делали среди обломков этих огромных машин! На зависть, кстати, мальчишкам с соседних дворов.

Были и опасные игры. В те далекие годы коньки («снегурочки»), привязанные веревкой к валенку, – основное средство передвижения по льду. Но лед – это каток на стадионе МВО в Лефортовском парке. Туда еще надо дойти и заплатить за вход. Поступали проще. Делался крюк из хорошей проволоки, выходили на Танковый и ждали редкого грузовичка. Догоняли, цеплялись сзади за борт крюком, и так, с ветерком, – до конца нашего переулка. Особой опасности не было, ибо любой транспорт на нашей улице тогда был явлением редким.

Ирина Безуглая
Пароль «Победа»

В нашем большом асфальтированном дворе было несколько газонов, где ничего не росло, кроме сорняков, но зато на ржавой пластинке, привинченной к деревянному колышку, имелась грозная надпись «По газонам не ходить!». Она снималась осенью, и тогда мы, городские дети, могли уже бегать и валяться на жухлой траве, иногда влажной после дождя. Этот запах я хорошо помню.

Зимой мы во дворе катались на санках, они были почти у всех, самодельные или сохранившиеся довоенные, а вот коньки – настоящие, трофейные – были только у одной девочки, но она их берегла и не надевала, а появлялась во дворе, неся на шнурках через плечо. Не знаю, может быть, она выросла, пока отец привез ей эти коньки, и они ей сразу были малы? Мне папа пообещал достать где-нибудь коньки и принес, но… только один. Я укаталась на одном коньке так, что еле добрела со двора до подъезда и рухнула, а потом на четвереньках ползла по коридору до своей комнаты, громыхая о деревянный пол. Я и до сих пор не очень люблю коньки.

До отъезда в лагерь или после мы всей гурьбой ходили купаться на Воробьевку – так мы называли наше пляжное место на высоких склонах берегов Москвы-реки на Воробьевых (потом Ленинских) горах. Идти туда надо было мимо стен Новодевичьего монастыря с одной стороны и мутного заросшего пруда с другой. Вдоль всей полуразрушенной стены монастыря стояли тогда нищие. Здесь были и женщины непонятного возраста в оборванной, грязной одежде, всегда с плачущим младенцем, прижатым к груди, завернутым в тряпки, инвалиды, которые стояли, опершись на костыли, сидели, а иногда просто лежали и спали, многие в выцветших гимнастерках, на которых висели медали. И повсюду шастали неунывающие цыганские ребятишки, которые, завидев нашу ораву, тут же начинали кривляться, передразнивать и хохотать. Мы старались не обращать на них внимания и проходили побыстрее это место. Но пруд с другой стороны нашей дороги тоже представлял скрытую угрозу. Мы запоминали рассказы взрослых, да и сами придумывали небылицы об утопленницах-самоубийцах, зачастую монашках, или жуткие рассказы об ограбленных и убитых людях, сброшенных в этот мрачный пруд. Наконец монастырь и пруд были позади, но еще долго слышался звон монет,

предусмотрительно положенных нищими в солдатскую кружку или банку из-под американской тушенки, а то и просто в желтую круглую гильзу.

Теперь надо было подняться на насыпь и перейти через железнодорожный мост на другую сторону Москвы-реки. На мосту была будка, а внутри нее или около всегда стоял часовой в длинной шинели с винтовкой. Здесь мы уже шли не спеша, но тоже немного с опаской, каждый раз радуясь и немного удивляясь, что нам разрешили проход. Брали мы с собой все что можно из еды: вареные яйца, зеленый лук, жмых, воблу и хлеб – самый дорогой и любимый продукт. На Воробьевке мы оставались до вечера, и никто из взрослых нас не искал, никто не напоминал о несделанных уроках, кажется, вообще родители не очень беспокоились за нас. Мы играли самозабвенно.

Недавно на даче мы, стариканы, давно бабушки и дедушки, начали вспоминать названия наших детских игр и азартно выкрикивали: «лапта», «стеночка», «ножички», «вышибалы», «штандер», «чижик», «кольцо-мальцо», «замри», «бояре», «казаки-разбойники», «салочки», «прятки», «крылатки», «море волнуется раз…»…

И конечно, мы продолжали играть в войну. В эту игру включалась уже и детвора из других подъездов, собирались две большие «армии», внутри которых были отряды партизан, разведчиков, диверсантов, пехоты и т. д. Я очень хотела быть разведчиком, и однажды мне повезло. Я получила задание пройти на вражескую территорию. Мне запихнули в ухо сложенную трубочкой бумажку с паролем «победа». Наверное, я пробиралась слишком долго и пряталась слишком умело, но меня никто не поймал, а может быть, не искал или игра закончилась. Через день-два ночью я не могла заснуть от боли в ухе, пришлось вызывать «скорую», и врач с удивлением вытащил из ушной раковины, уже воспалившейся, грязные остатки бумажки с заветным словом.

Аркадий Мильковицкий
Мой танк

– Прывет! – подходя к куче, скромненько сказал я.

– Привет! Привет! – совершенно машинально ответили мне пара голосов, не отрываясь от своих занятий. Это были голоса Сашки Токаревой и Оксанки Фарберовой, моих подружек, с которыми мне чаще всего приходилось играть. Из моих сверстников, кроме них, здесь был еще Митька Долинский, мой сосед по лестничной площадке. Ни отца, ни матери у него не было, а жил он у деда с бабой. Его дед был инвалидом и одновременно комендантом нашего жилкоповского дома. Митька редко бывал на улице, часто болел, да и когда выходил, норовил играть в сторонке. Хоть мы жили, можно сказать, дверь в дверь, общались мало. Был он, в общем, неплохой мальчишка, но очень уж скрытен, застенчив и немного скуповат. У Митьки в руках была трофейная игрушечная машинка, немецкая BMW, совсем как настоящая – довоенная, спортивная, с открывающимися дверями и с рулем, поворачивающим передние колеса. По тем временам это было равносильно чуду. Скрючившись над нею, Митька возил этим чудом по песку, передвигая мимо всяческих разновысоких замков, башенок и прочих непонятных сооружений.

Я не мог оторвать свой взгляд от бело-синего дива. Но на все мои просьбы дать хоть подержать это сокровище Митька категорически отвечал:

– Не! Не дам!

– Ну, не будь жадиной! Я только посмотрю и сразу отдам.

– Не дам!

Митя был неумолим. И чем больше я его просил, тем непреклоннее звучало его «нет!», и раз за разом, все с большим удовольствием, он отказывал мне в моей просьбе и с неописуемым наслаждением произносил непременное «Не да-а-а-ам!».

– Да отстань ты от него! – вмешалась Сашка. – Видишь, жмот он! Дулю у него ты что-нибудь получишь. Давай лучше ты будешь папой, я – мамой, а Ксанка – дочкой. – И, не дожидаясь моего согласия, тут же послала меня на базар за зеленым луком. – Только быстрей, одна нога там, другая – тут! Видишь, у меня суп почти готов.

Этот разворот событий совсем не входил в мои планы. Я взглянул на Сашку и только теперь обратил внимание, что она, сидя на корточках, помешивает что-то в детской кастрюльке,

действительно похожее на суп. А под кастрюлькой – не иначе как сооруженная из кирпичей плита, да еще с духовкой. – Очень похоже! Ай да Сашка! Ай да молодец! Рядом Оксанка протирает тарелки и складывает их стопкой на буфет, тоже сложенный из кирпичей.

И в этот момент меня осенило!

– Дочечка! – говорю я. – А не пошла бы ты… вместо меня на базарчик? Мне на войну торопиться надо. Я вот только кирпичик прихвачу. Рад был вас повидать. Слава Богу, живы-здоровы. Я ненадолго. Немного повоюю, немцев победю и приеду.

Взял кирпич неопределенного назначения – может, это был стол? А может, просто лишний? И на прощание помахал жене и дочери ручкой.

Мне до слез было обидно. Никогда у меня не будет такой машинки, такой бээмвухи! Ну да и черт с ней! Пусть он ею подавится! Зато у меня есть кирпич! Я и на нем буду ездить не хуже, чем на этой «Бээмве»!

И я стал катать по песку свой кирпич. Он был тяжелый, но слушался меня безукоризненно. Он шел по песку точно танк, оставляя за собой гладкий, извивающийся змеей, утрамбованный след. На быстрых поворотах от него отлетал в сторону песок, точно как от гусениц танка. Он уверенно преодолевал любые препятствия – горы, реки и овраги. Он мог свободно проехать сквозь любую стену любой крепости, любого строения. Ничто его не остановит! Ему все нипочем! Потому что это – настоящий боевой танк! Т-34! Такой же, как и тот, что стоит на пьедестале, в скверике у театра. Вот только…

Я зачерпнул жменьку сырого песка, сделал из него колобок, прилепил к кирпичу. Получилась танковая башня. Не хватало только ствола и гусеницы.

Долго не думая, вернулся в «семью», продолжавшую, раскрыв рот, провожать меня. Подойдя к своей жене Сашеньке, неожиданно чмокнул ее в щечку, вытащил из ее ручки палочку, которой она помешивала суп, тихо сказав «Надо!», и наконец-то покинул мирный семейный очаг.

Палочка оказалась очень удачной. Один конец ее был слегка подгоревший. Этим обуглившимся концом на длинных боковых гранях кирпича я нарисовал гусеницы, каждая с пятью крупными черными колесами и с двумя маленькими, одно впереди, другое сзади. После всего я воткнул палочку в песочную башню, и палочка превратилась в великолепный ствол танка. Мой танк с бешеной скоростью лихо носился по всему необозримому пространству песочницы, через реки, горы и долины, издавая устрашающе могучее и картавое рычание, перепрыгивая через

глубокие ущелья или взлетая на вершины крутых гор.

Я так заигрался, что сразу и не заметил Митьку, который как-то чересчур назойливо стал появляться у меня на пути со своей бээмвешкой. После того как несколько раз мне пришлось его объехать, я решил: «Все! Буду переть прям на него, не сворачивая». Но только я об этом подумал, как Митька уже тут как тут, прямо передо мной. И свою бээмвушку сует точно под гусеницы моего танка. Я – по тормозам, хватаю монтировку, вылезаю из танка и кричу во всю глотку:

– Тебе шо?! Жить надоело?! Я же раздавлю твою консервную банку, как клопа! Убирай ее к чертовой матери! А то я за себя не ручаюсь!

Но Митька почему-то меня совсем не испугался, а даже наоборот, нагло приблизился почти вплотную ко мне и с извиняющейся улыбочкой тихо заявляет:

– Знаешь шо? Кажись, я передумал. Давай временно махнемся. Я тебе машинку, а ты мне танк, а?

Вот уж чего не ожидал я, так этого. Вот это да! Митька дает свою бээмвуху за мой кирпич! Да хоть и временно, он что, с ума спятил? Что, сам не может слепить такой танк? Кирпичей-то – вон сколько! И я оглянулся. Странно, но в пределах песочницы – ни одного кирпича. Куда они подевались? Загадка. Вместе с кирпичами исчезла и посудка. А Сашка и Оксанка тут, как ни в чем не бывало, играют, но уже пекут куличи и формуют пасочки.

– А знаешь, я тоже передумал! На кой хрен мне твоя машинка, когда у меня есть танк! – говорю я, делая вид, что этот обмен меня не интересует. Я оттолкнул Митьку лбом, завел свой танк и повел его на очередной круг. Не успел завершить и один оборот, как Митька опять оказался перед моим носом. И вдруг я замечаю, что на Митькиной пилотке – звездочка, именно такая, какой как раз не хватает на башне моего танка.

– Ладно, так и быть, – восклицаю я нехотя, – я опять передумал. Только сначала ты мне даешь насовсем вот эту, – я ткнул пальцем прямо ему в лоб, – звездочку, и тогда я тебе разрешаю сегодня поиграть с моим танком, а взамен ты мне даешь поиграть со своей машинкой. Идет?

– Идет! – без малейшей паузы, ни секунды не сомневаясь, с радостью согласился Митька и, недолго думая, снял свою выгоревшую пилотку и стал отгибать усики звездочки.

Я был рад и счастлив, что сделка состоялась и что моему танку досталась настоящая красная звезда. И хоть она была маленькая, но зато была тяжелая, остренькая и колючая. Я тут же прикрепил ее, как почетный гвардейский орден, на самое видное место – на башню моего танка.

И когда Митя решительно повел его, не разбирая дороги, на бешеной скорости и все, что попадалось на пути, разлеталось в разные стороны, а сам Митька на четвереньках едва успевал за ним, я спокойно взял его машинку и стал ее катать. От первого прикосновения к песку глубокое разочарование овладело мною сразу. Первое, что сразу бросилось в глаза, – колеса бээмвухи полностью из железа, и даже покрышки – не резиновые, а просто покрашенные черной краской. Я лишний раз убедился в том, что это красивое немецкое авто совершенно не приспособлено ни к нашему суровому времени, ни к нашим дорогам. А в это время мой танк героически несся по пересеченной местности, не признавая никаких преград, напролом, с гордо поднятым стволом, и на башне сияла настоящая красная звезда!

Владимир Смирнов
На подножке трамвая

Это было в 1947 году. Мы жили тогда в Ленинграде, в коммунальной квартире, в тринадцатиметровой комнате на пятом этаже, на улице Глинки, рядом с Театром оперы и балета имени Кирова и консерваторией имени Римского-Корсакова. В квартире было шесть комнат, каждую занимала одна семья. В доме не было ни горячей воды, ни ванной, ни парового отопления. Зимой мы топили печку дровами, которые получали по ордеру. Отец с мамой или со мной пилил их, потом колол распиленные чушки, и мы складывали их в подвале нашего дома в поленницы. За каждой семьей было закреплено свое место. Перед тем как затопить печку, отец приносил вязанку дров из подвала на пятый этаж. Обед варили на керосинке или примусе, которые сильно чадили, из-за чего кастрюли быстро покрывались копотью.

Моя мама работала на Кировском заводе, а отец – на заводе имени Сталина. Мы, дети послевоенных лет, часто были предоставлены сами себе. Днем, после школы, играли в футбол на не приспособленных для этого площадках, катались на подножках трамваев, поскольку вагоны были открыты, а двери не закрывались, а зимой было очень модно примотать коньки к валенкам, зацепиться крюком за задний борт грузовика и с ветерком за ним мчаться.

Однажды летом, когда я со своими сверстниками играл в фантики за домом, ко мне подбежала мама и стала меня крепко целовать и обнимать, плача и приговаривая: «Дорогой мой сынок, ты жив!» Оказалось, что на площади Труда под колеса трамвая попал мальчик моего возраста. На нем была рубашка с моим домашним адресом, именем и фамилией. Этот мальчик был из многодетной семьи, их отец погиб на фронте, и моя мама отдавала им вещи, из которых я вырос. Видимо, как многие из нас, он решил прокатиться на подножке и сорвался. К маме пришли и сказали: «Вашего сына задавил трамвай». А я, ни о чем не подозревая, играл во дворе с ребятами.

К сожалению, эта история меня ничему не научила, и лет до шестнадцати я вскакивал в трамвай на ходу. А особенным шиком было соскакивать с трамвая, когда он набирал скорость. Однажды я возвращался домой от двоюродной сестры, шел по Загородному проспекту и увидел трамвай, идущий в сторону нашего дома. Я, как всегда, решил заскочить в последний вагон, побежал, успел

ухватиться за поручень, но водитель трамвая увидел меня через боковое стекло и захотел проучить. Он прибавил скорость, и меня потащило по мостовой. Не знаю, чем бы кончилось дело, если бы какой-то взрослый пассажир не схватил меня за воротник пальто и, крепко выругавшись, не втащил на площадку. С тех пор я перестал бегать за трамваями.

Сейчас, вспоминая такие ситуации, я думаю: какие же мы были бесшабашные, и сколько из-за этого в мирной послевоенной жизни появилось детей-инвалидов по своей глупости и по недосмотру старших!

Альбина Огородникова-Ястребова
Шпиономания и зимние радости

После войны было много разговоров, публикаций в газетах и передач по радио о врагах Советского Союза, шпионах, скрывающихся среди нас. «Люди, будьте бдительны – враг есть и среди нас!» – слышали и читали мы с утра до вечера. Дети по своей природе очень впечатлительны, поэтому мы были под гипнозом этой пропаганды.

Моя подруга Нина Соболева и я мечтали встретить шпиона, выследить его и раскрыть его преступные планы. Часто после школы мы бежали на базар, очень близко от школы, внимательно вглядывались в многочисленных нищих – ведь они могли скрывать радиопередатчик под своими лохмотьями.

Однажды нам повезло! Неподалеку от школы мы увидели Его: со стороны базара шел нищий. Разноцветные вязочки, тряпочки болтались на его поясе, веревки, рваная одежда была надета одна на другую; из-за этого он казался большим, толстым. На голове красовалась шляпа, надетая на зимнюю шапку, из-под нее свисал на шею цветной лоскут… Мы с Ниной радостно взглянули друг на друга: шпион! Уж мы не упустим его, наверняка в его лохмотьях спрятан передатчик, по которому он, улучив момент, переговаривается с американцами. Пропустив его вперед, прячась за деревьями, за углами домов, мы двинулись следом, боясь пропустить момент, когда он начнет доставать свой аппарат и передавать азбукой Морзе свои донесения. Азбуку Морзе мы немного изучали в кружке в школе, поэтому сразу бы догадались, что к чему. Очень мы не хотели, чтобы шпион передавал сведения о нашем городе американцам, у нас ведь угольные шахты!

Так мы шли и шли за ним, наблюдая и ожидая, но ничего не случалось. Вдруг мы заметили, что уже темнеет, а мы далеко от школы и от дома, в незнакомой части города. Какие-то заборы тянулись по одной стороне улицы, а на другой – низкие глухие бараки, на улице пустынно. Наш шпион шел себе вперед, смотря под ноги и бормоча что-то время от времени себе под нос. Мы испугались, что он заметил нас, но притворяется, что не замечает, и нарочно нас заманивает. Мы забеспокоились, как найти дорогу домой, и перестали следить за «объектом». Наконец мы вышли на знакомую улицу и со всех ног кинулись по домам.

Скоро мы потеряли интерес к шпионам – другие дела и мысли овладели нами: впереди было много планов – строительство турника, рытье землянки, библиотека… Странно:

время было трудное, а детство – счастливое.

* * *

Когда я училась в третьем классе, отец купил мне коньки-«снегурки». Нине Соболевой, моей подружке, мать купила такие же. Это было счастье! До этого мы с ней катались в моих подшитых резиной валенках. Это я упросила отца, чтобы валенки подшили именно резиной, чтобы кататься. Мама была против резины, говорила, что подшить надо старым валенком, но я отца упросила. Мы катались так: на левые ноги надевали валенки Нины, а на правые – мои.

Теперь у нас были коньки! Крепились они тонкими кожаными ремешками, и сами мы не могли затянуть ремешки так туго, как надо, поэтому затягивал кто-то из взрослых. На каток со «снегурками» не пойдешь, там надо было кататься на специальных ледовых коньках – «дутышах», «беговых» и т. д. Да и каток был в парке далеко от нас. На этих же коньках-«снегурках» на льду можно было только падать. Это нас не останавливало. По снегу уже было кататься неинтересно.

Для катания мы приспособили несколько замерзших луж недалеко от дома. Три лужи имели свои имена: самая маленькая звалась «Любимчик» – гладкий лед, но всего три-четыре шага в длину. Среднюю по размеру лужу мы назвали «Лучшая» – лед достаточно ровный и чуть побольше. Самая большая называлась «Глупая» – вся в шишках, ямках. Все они были одно мученье, но мы придумали игру, игру для «Глупой», – кто большее число раз упадет. Обе мы так старались, что шли домой с синяками на коленках и в мокрой одежде, которая замерзала, пока доходили до дома.

Когда я возвращалась домой, мама говорила: «Нет воды кругом, нет грязи, и где ты их находишь?» А что тут непонятного? Город-то угольный, шахтерский – любая лужа, даже замерзшая, была грязной.

Татьяна Кербут
«Беру и помню»

1951 год, летнее утро. Я гордая, на всех смотрю сверху вниз, сижу на диване, диван на телеге, а телегу везет по булыжной мостовой лошадь. Мы переезжаем. До переезда жили в коммунальной квартире, было дружно, весело, и я не понимала, зачем переезжать. Но папа ЗАВУЧ, значит, по моим понятиям, самый главный и нам полагается отдельная квартира. То, что за стенкой новой квартиры общежитие, что туалет почти на улице, а кухня не отапливается, значения не имело. Две комнаты, русская печь, кухня, лестница, отдельный вход и дверь с длинным крючком – богатство!

В новой квартире часто собирались папины друзья с семьями, все сидели за большим столом под розовым абажуром (самым красивым!), заводили самый лучший (так мне казалось) патефон, много пели, читали стихи, разговаривали. В папиных рассказах мелькали непонятные «Земландский полуостров», «Восточная Пруссия», «Нойкурен», но рассказы о войне нас, детей, не заставляли прислушаться, не удивляли, не страшили – мы с этим жили с рождения.

В начале пятидесятых годов дети, и я не исключение, все свободное время проводили во дворе. В нашем дворе было ОЧЕНЬ много интересного: забор, с которого можно прыгать, сарай, в котором удобно прятаться, большая помойка посредине, за которой тебя уж точно не найдут, и склад, в котором мальчишки время от времени что-то взрывали, – и это тоже никого не удивляло, не страшило. Играли в лапту, в прятки, в «десять палочек», в «садовника», прыгали на доске (как родители позволяли? Опасно…). Бывало, что стреляли в спину прохожих ягодами «кракедуса», репейником. Только лет двадцать спустя поняла, что наш «кракедус», который и подкармливал, и давал укрытие во время игр, – это боярышник, а «кракедус» – производное от его латинского названия. Родители ни во что не вмешивались, не мирили, не ругали, за нас не боялись, только в десять вечера слышалось: «Домой!» – но как уйти на самом интересном месте?

Играли мы и в «беру и помню». Ты, принимая от кого-нибудь что-нибудь, должен был сказать «беру и помню», а если забывал сказать – должен был выполнить любое желание выигравшего. Подловить мало кого удавалось, и я решила поиграть с папой. Папа – самый главный, ЗАВУЧ – вдруг проиграет? И тогда…

Несколько дней ничего не удавалось, и решила я отнести папе на работу бутерброды. А в те дни, судя по папиному озабоченному виду, на работе происходили главные в учебном году события – госэкзамены. Взяла я бутерброды, одна (пятилетняя!) через весь город дошла до техникума, постучала в дверь, вызвала папу и вручила ему, явно растерявшемуся, сверток. Разумеется, папа не сказал «беру и помню», на что и был расчет.

Дождалась окончания экзаменов, и пошли мы с папой выполнять мое желание. Моим заветным желанием тогда была соломенная шляпка. Наверное, совсем дешевая, но из цветной соломки, маленькая, с резинкой под подбородком, такая красивая! Папа купил мне эту шляпку. На всю жизнь запомнила я дорогу из магазина домой. Я, счастливая, в соломенной шляпке, вприпрыжку, за руку с папой – красивым, самым главным, ЗАВУЧЕМ – иду по бульвару. Лето, вечер, счастье.

В тот теплый беззаботный вечер мы и представить себе не могли, что война еще напомнит о себе, страшно напомнит… Отец, провоевавший с первого до последнего дня, вскоре тяжело заболеет и умрет. От горя едва выживет мама. Брат, родившийся в первые месяцы войны и переживший с мамой переезды, голод, тревоги и ожидания, с юности будет страдать гипертонией и тоже рано уйдет из жизни.

А я… Я считаю себя и своих ровесников детьми Победы. Храню папино военное «Личное дело», его фронтовые письма, фотографии. Передам их детям и очень хочу, чтобы они при этом не забыли сказать: «Беру и помню».

Вячеслав Ищенко
Игра в выборы

Шурка был старше меня года на четыре, но участвовал в наших затеях и проделках со свойственной ему страстью и, как бы это сказать, компетентностью, что ли.

Кажется, в 1946 году, когда в стране проходили первые выборы в Верховный Совет, кому-то из нас пришло в голову оборудовать свои, домашние, игрушечные избирательные участки. Таких участков было три: у меня, у моего брата Леньки и у Шурки. Самый красивый участок был, конечно, у Шурки. Он здорово рисовал и все лозунги, призывы оформил, можно сказать, на профессиональном уровне.

Наши детские избирательные участки представляли собой углы или отгородки в комнате. Мы с братом Ленькой такие углы получили в свое распоряжение на кухне, благо она была довольно просторной. Избирательные участки располагались по обе стороны обеденного стола, торцом примыкающего к стене: у брата – ближе к кровати, у меня – у окна. Атрибутику выборов мы подсмотрели, конечно, на настоящих избирательных участках. Она-то нас и привлекала. Мать с отцом дали нам по лоскуту красной материи, на которой мы зубным порошком вывели: «Все на выборы!»

В центре всей композиции в каждом из трех наших игрушечных участков находился портрет Сталина. В то время это был обязательный и главный элемент оформления каждого избирательного участка. У меня портрет был цветной, Иосиф Виссарионович был изображен на нем в мундире генералиссимуса. Полагалось обрамить портрет зажженными электролампочками по периметру, но такой роскоши мы, конечно, позволить себе не могли. Поэтому перед портретом вождя я приладил маленькую «сплюшку» – флакон с керосином и горящим фитилем, которым часто пользовались, потому что подачу электричества прерывали почти ежедневно. Портрет с горящим фитильком живо напоминал икону с лампадкой, но меня данное сходство не смущало. Кто-то сделал мне критическое замечание:

– Ты будто свечку Сталину поставил. Нехорошо как-то получается…

Но меня и это не волновало. Ведь тут же, на стене, были приделаны маленькие флажки, горизонтальные лозунги, вырезки из газет и журналов. Мне нравилось, как звучал многократно

повторявшийся по радио девиз: «Да здравствует нерушимый блок коммунистов и беспартийных!»

Это звучало почти как молитва.

Отец возглавлял один из настоящих, неигрушечных избирательных участков. Раз или два он брал нас с братом на предвыборные собрания, после которых устраивались концерты. На одном из таких концертов я впервые увидел и услышал выступление скрипача. Мое внимание особенно привлек смычок. Он казался волшебным. Я называл его «золотой палкой».

Кандидатов было двое, по числу палат Верховного Совета СССР – Совета Союза и Совета Национальностей. В Совет Союза баллотировалась рабочая нефтяного промысла Балганым Доспаева. В Совет Национальностей кандидатом был какой-то дядя из столицы Казахстана Алма-Аты. Фамилию его я забыл. А тогда знал очень даже хорошо.

Обе фамилии кандидатов звучали по радио, о них писала областная газета «Прикаспийская коммуна». Даже в радиопередачах на казахском языке эти имена мы улавливали из передаваемых текстов.

Как настоящие агитаторы, мы обходили соседей по двору накануне выборов и приглашали принять участие в голосовании на наших «избирательных участках». В день выборов взрослые действительно пришли в каждый из трех наших участков и в шутку заполнили приготовленные нами «бюллетени» – маленькие листочки.

Один из знакомых отца, веселый балагур Чегодаевский из Астрахани, в шутку зашел за занавеску, которая отделяла на кухне закуток с висящим на стене бачком для нефти. Как будто это была кабина для голосования. Зашел и кричит оттуда:

– А бюллетень опускать в этот нефтяной бачок?

Взрослые очень смеялись. Урночки для голосования у нас были маленькие, они тоже входили в набор предвыборной атрибутики. Свою персональную игрушечную урну я сделал, приспособив для этой цели пустую коробочку из-под пудры. Мне ее дала мать. Ножом я прорезал в ней отверстие для опускания бюллетеней.

Шурка был единственным сыном Фрадкиных. Но из-за своего беспокойного характера он все время раздражал свою мать, Софью Семеновну. Шуркин отец, Соломон Соломонович, в отличие от шумной и говорливой жены, был тишайший человек. Работал завхозом в Облрыбпотребсоюзе, дома бывал редко.

Софья Семеновна ругала Шурку страшными словами. Она причитала, подвывая, стенала жутко. В адрес Шурки неслись такие проклятия, которых я никогда не слышал ни до, ни после.

Например:

– Да пусть у всех будет праздник, а у меня будет гроб стоять! И чтоб ты лежал в этом гробу!

Я до сих пор не знаю, какие нужно было совершить проступки, чтобы заслужить такие слова родной матери. Шура всё переносил удивительно спокойно, и как правило, в ответ на ее крики он просто молчал.

Однажды он показывал всему двору, как умеет надувать живот. Это и впрямь было удивительно. В другой раз поспорил с нами, что выйдет на улицу совершенно голый и пробежит квартал. И сделал это! Зачем? Не знаю. Но с тех пор я всегда вспоминал этот странный эпизод, когда слышал поговорку «как голому на улицу».

Иногда мы слушали с ним репортажи о футбольных матчах. Для этого Шурка выставлял в окне радиодинамик. Эти передачи предварял «Футбольный марш» Блантера, а вел их знаменитый Вадим Синявский. Следить за его скороговоркой мы не успевали, но это было и не столь важно. Важен был сам процесс: мы сидим и слушаем.

Шурка научил меня делать раскопки. Проще говоря – ямы. Однажды мы с ним при участии моего брата Леньки сделали подкоп под дом Фрадкиных. Нам повезло – мы нашли в земле позеленевшую тяжелую медную монету. Копали палками. Я держал палку как отбойный молоток и всячески сам для себя разыгрывал роль шахтера-стахановца, откалывавшего пласты угля.

Частенько Софья Семеновна приходила к моей матушке и жаловалась на Шурку…

В ее рассказах часто упоминалась некая богатая и почтенная семья Шефферсонов. Речь Софьи Семеновны изобиловала восторженными ссылками на это замечательное семейство, перечислениями всего, чем был богат дом Шефферсонов, которые, если не ошибаюсь, были дальними родственниками Фрадкиных.

В доме у Фрадкиных почти всегда был полумрак – так в Гурьеве противостояли жаре, комарам и мухам не только они. На окнах и входной двери колыхались марлевые занавески. Занавеска у двери была крашеной, снизу ее утяжеляли привязанные узелками камешки. Я частенько околачивался у Фрадкиных. Софья Семеновна, когда была в хорошем расположении духа и не ругала Шурку, напевала арии из оперетт.

Мощный голос ее можно было услышать, когда Соломон Соломонович выходил во двор поболтать с соседями. Она кричала гортанным голосом всегда одну и ту же фразу:

– Соломон, войди в дом, я тебе дам работу, я тебе работу

дам!

И милейший Соломон Соломонович со вздохом беспрекословно поднимался со ступенек, где сидел в компании соседей, и покорно шел на этот властный зов супруги.

А что же Шурка? Он открыто, но незлобиво посмеивался над причудами своей матери. Рассказывал нам, малышам, о прочитанных книгах (читал он много), пел песенки, переиначивая в ироническом ключе фрагменты из оперетт, столь любимые его матерью:

О Роз-Мари, о Мэри,
Твой зов нежней свирели.
Твои глаза, что ровно две цыбули,
Иван-колхозник шлет тебе две дули…

Для нас, малолеток, он пояснял, что «дули» – это, оказывается, груши.

Жизнь двора

В минувшем веке городской двор имел множество разнообразных назначений. Это было место игры детей, площадка для подсобного хозяйства с сараями для дров, с общественными туалетами, часто с водопроводной колонкой, с веревками для сушки белья. Двор был и местом отдыха взрослых обитателей дома: на кое-как сбитых столах играли в домино и в карты, играли на гармошке или на аккордеоне, выпивали, дрались, целовались на скамейках, обсуждали политические новости. На дворах проходили проводы в армию, похороны и свадьбы. Словом, это была школа жизни.

Люди моего поколения именно во дворах осваивали первые навыки общения – здесь выстраивались первые иерархические лестницы и здесь же они переворачивались, здесь, между кучей песка и качелями, подвешенными между двух лип, завязывались первые дружбы и разгорались первые страсти, с переглядываниями, робкими прикосновениями и «первой кровянкой» молодых бойцов. Это был процесс, который сегодня называют «социализацией». Конкуренция и соревнование, умение ладить и приспосабливаться к жизни – всему этому мы обучались во дворах, без руководства взрослых и уж тем более без помощи психологов, в которой так часто нуждаются современные дети.

Сегодня в больших городах больше нет дворов, нет той богатой дворовой жизни. Залиты асфальтом палисадники, негде поиграть в «ножички» или в лапту, вместо качелей-каруселей – стоянки машин. Соседи между собой едва знакомы, ребята одного двора больше не играют в «казаки-разбойники» против ребят из соседнего. Нет тех «вертикальных» связей, которые образовывались между друзьями старшего брата и подружками младшей сестры, разновозрастных компаний, где шла полезная отработка взаимоотношений «старший – младший». Полностью поменялась сама структура городской жизни. Двора в нашем прежнем понимании этого слова больше нет.

Пришло очень много писем с вспоминаниями о жизни двора в послевоенные годы. Все они написаны с нежно-стью и ностальгией.

Каринэ Геворкян
Двор моего детства

И сначала непременно надо описать наш потрясающий двор! Многоэтажные корпуса (по тому времени), а было их тринадцать вместе с бараками, окружали пространство двора. В середине он был разделен на садики, как мы их называли. Каждому корпусу негласно принадлежал свой. И даже соблюдалась некая градация. Так, в не свой садик можно было прийти играть только с кем-то из приданного ему корпуса. А то бдительные старухи, перемывающие косточки всем и вся, покрикивали: «Что это вы сюда пожаловали? Марш на свою территорию!» Каждый такой садик был окружен забором, по которому на свой страх и риск мы героически ходили по периметру, рискуя оседлать его. Бывало и такое. На газонах вдоль этих заборчиков росла персидская сирень, запах от которой достигал нашего седьмого этажа. А вдоль бараков росли вишни, целый вишневый сад. Он ушел вместе с бараками и сараями, по крышам которых мы бегали прятаться, играя в казаки-разбойники. Летом нам показывали кино: хронику и мультик. А иногда бывали и настоящие концерты, с артистами и конферансье. Была большая эстрада с задником-экраном, а перед ней рядами стояли скамейки (по ним мы тоже скакали, перемахивая расстояния между ними и иногда срывались, не допрыгнув до следующей лавки и больно ударяясь грудью, а когда и подбородком). Приезжала вечером в субботу передвижная киноустановка, и весь двор собирался перед экраном. Некоторые счастливчики могли смотреть прямо из окон своих квартир. Какое-то время могли смотреть и мы, пока высокие деревья не перекрыли своими макушками нам обзор. А каких только деревьев не было! Дубы, липы, вязы, боярышник, каштаны, ясени, тополя, кусты сирени и акации. И никогда тополя не пылили своим пухом. Потому что каждый год, в марте, приезжали специальные машины с подъемной площадкой. С таких до недавнего времени еще развешивали иллюминацию. Специальными секаторами на длинных-длинных палках срезали лишние ветки. И никогда не спиливали полдерева, как сейчас. Так что всегда в летний зной было где укрыться от солнца. И мы подбирали эти ветки, с набухшими уже почками, пахнущими весной, клеящие своим соком. Ветки ставились дома и в школе в воду, и мы вели наблюдение за тем, как они распускают свои клейкие листочки, а потом и дают корешки. Первые встречались бурным восторгом. Осенью собирали каштаны и желуди. Что

делать с каштанами, мы не знали, просто приносили домой и складывали с другим детским богатством. Из желудей делали фигурки и бусы. По деревьям лазали все! Даже девчонки-трусихи. Особенно любили обдирать боярышник, когда первый мороз прихватывал ягоду. Вкуснотища!

Играли в массу подвижных игр: «штандер», «вышибалы», «стукалочку». Это об стену мячом. Да с разных поз, да разными выкидами мяча: со спины через голову, через расставленные ноги (кто шире!), через плечо справа и слева, перепрыгивая и с лица, и со спины. А еще ладонями, сложенными по-разному: кистями вниз, кистями вверх, лодочкой вниз и вверх, сложенными ладонями то левой, то правой рукой, растопыренными пальцами самыми кончиками и уж не упомню как еще!

А ножички! Кидаешь его об землю один раз и чертишь круг, встаешь в него. Кидаешь три раза, чертишь треугольник, четыре раза – квадрат или прямоугольник. Каждую фигуру соединяешь прямой чертой. Называли это почему-то кораблями. И такими кораблями были исчерчены все сады. А еще играли в «Землю». Чертился большой круг и делился на части по количеству игроков, и тот, кто по считалочке был первым, бросал нож в круг, сам же стоял вне его. По направлению лезвия чертилась линия, отсекавшая часть «земли». Играющий входил на отвоеванную часть суши и опять кидал нож на вторую часть круга и отсекал еще кусок. И так, пока не останется ни кусочка. Выигрывал тот, кто больше оттяпал «земли». Игра шла до первого падения ножа. Кон передается другому игроку, и он должен со своего кусочка «земли» отвоевать потерянное.

Никакого асфальта в садиках не было. Только дорожки между ними, чтобы можно было ездить на велосипедах, самокатах, возить кукол в колясках или детей. Немногочисленным машинам проезд по этим дорожкам был категорически закрыт. На въезде стояли бетонные заграждения. Только вокруг двора можно было подъехать так, чтобы все детские дорожки и площадки были в безопасности. Один только раз какая-то машина, неизвестно зачем и почему попавшая к дому, сдавая задним ходом, задавила подвернувшегося мальчишку. Было страшно и горько еще и потому, что мальчик был сыном очень милой женщины Фенечки, которую знал весь наш многочисленный двор. Она убирала с лестниц подъездов ведра с пищевыми отходами, мыла подъезды и не гнушалась по просьбе жильцов, за небольшую плату, помогать с уборкой в коммуналках (каждая семья обязана была убирать в квартире так называемые места общего пользования. Раз в неделю, по количеству членов семьи: три человека, убираешь три недели, два – две и т. д.). После этого несчастья Фенечка стала

совсем тихой, тащила тележку или саночки с помоями, что-то бормоча себе под нос и отмахивая свободной рукой что-то мешающее ей.

А еще мы играли в «классики» и «веревочку». Через веревочку скакали всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Самый сложный был с влетом-вылетом в две веревки, которые крутили вразнобой два человека. На переменках весной или ранней осенью, когда асфальт сухой, мы летели лишь прозвонит звонок на переменку, несмотря на категорические запреты учителей, во двор – прыгать! Один раз я так спешила быть первой, так неслась вниз по лестнице, что зацепилась на повороте форменным фартуком за край перил и не грохнулась только потому, что ветхий, видавший виды, перешитый из какого-то старья мой фартушок распался с треском на две половины. Это позволило мне ближайшие две недели ходить в школу, в нарушение всех правил, без формы, так как купить новый фартук до зарплаты не было никакой возможности.

А еще мы играли в «секретики». Это было творчество и таинство! Где-нибудь за беседкой (они у нас были в каждом садике непременно) или между корнями деревьев выкапывалась

ямка. Она выстилалась листом какого-нибудь дерева или бумагой, но пределом красоты и мечтаний была фольга от шоколадки. А бывал шоколад у нас крайне редко. Или по праздникам, или на день рожденья, или в порядке обмена. Он, аккуратно сложенный, хранился в коробке с «добром». На эту-то красотищу в вольном порядке, зависящем от фантазии и возможностей хозяйки «секрета», укладывались богатства: цветы, пуговицы, разные стекляшки и тому подобное. А сверху это накрывалось куском прозрачного стекла. Размер «секрета» напрямую зависел от размера этого стекла. Засыпался «секрет» землей и маскировался под основную почву. Большим горем было, если обнаруженный кем-то «секретик» разорялся. Увлечение «секретами» породило другое увлечение, от которого не смогли отучить меня ни мама, ни бабушка, – поиски и сбор разноцветных стекляшек, цветных, с узорами, каемками, ободками и т. д. У меня была целая коллекция! Более ценные хранились в металлической коробке от каких-то яств, а те, что попроще, – в детском игрушечном ведерке. Поиски велись повсеместно и всегда! Я ходила вечно с опущенной головой, боясь пропустить сверкнувшее под ногами богатство. На дороге, у помойки (вот в саму помойку никогда не лезла – брезговала и стеснялась), что приводило бабушку в ужасное состояние стыда перед окружающими. Занятие это было «заразное», как эпидемия. Так, на даче вся местная деревенская детвора собирала стекла на дороге, куда хозяйки бросали сор. Особо ценные осколки кавалеры преподносили своим дамам сердца, или, как их называла бабушка, симпатиям. Девочки обменивались сокровищами. Деревенские мамашки приходили на меня жаловаться, не стесняясь в выражениях. Но ничто не могло меня заставить отказаться от этого занятия. Моя мудрая бабушка оставила попытку насильственного прекращения, сочтя, что со временем это закончится само собой. Так оно и произошло. Я подросла. Другие интересы отвлекли меня от этого «порочного» увлечения. Но самые драгоценные осколки я еще долго хранила в заветной коробке.

Только сейчас, вспоминая это увлечение, я поняла, почему оно меня так захватило. В то время многие собирали фантики, складывали их определенным образом, как-то в них играли. Мне это было совершенно недоступно, так как в нашем доме конфеты были роскошью, а собирать фантики по дорогам и помойкам мне не позволяла гордость и всё та же брезгливость. А стекляшку, даже подобранную в пыли и грязи, можно помыть.

А двор наш существует до сих пор. Правда, нет уже ни сараев, ни бараков, ни вишневых зарослей, ни сирени, ни эстрады.

Спилены многие деревья. Осталась только спортивная площадка. На том же месте. Везде теперь ездят машины, а в скверики и на дорожках стоят гаражи-ракушки. И совсем негде гулять детворе, потому что уже несколько лет наш двор перерыт во славу каких-то земляных работ.

Марьян Беленький
Удобства во дворе

Уборных в квартирах не было ни у кого. Душа и ванных тоже. Все ходили в дворовый туалет. Нужно было несколько раз постучать дверью, чтобы крысы разбежались, но они не разбегались и шастали по ногам посетителей. Я всё время боялся, что крыса укусит меня за попу. Крысы жили и во всех квартирах – с ними боролись, ставили крысоловки, сыпали яд, но это не помогало. Если бы кто-нибудь тогда сказал, что дворовый туалет с крысами – это плохо, его бы никто во дворе не понял. Так жили все вокруг. Летом вонь из туалета распространялась по всему двору, по квартирам, но к ней так привыкли, что никто не замечал. Над гниющим мусором в открытых баках кружились стаи жирных зеленых мух, они залетали в квартиры; в каждой квартире была липучка, которую нужно было менять каждый день, поскольку за день она покрывалась мухами.

В тридцатиградусный мороз сидеть с голой попой в вонючем дворовом туалете было не совсем приятно – но зимой холодно, летом жарко, что тут поделаешь. Жизнь.

Антонина Кухтина
Взрыв

Это была замкнутая и уже довольно пожилая чета. Они не очень-то жаловали окружающих, особенно хозяин. Однажды, в минуту откровения, он сам кому-то и рассказал, что до войны отбывал срок, а когда началась война, то специально что-то натворил, чтобы не попасть на фронт после освобождения. Срок ему продлили, и всю войну он провел в местах не столь отдаленных. Разумеется, эта история не добавила ему уважения соседей.

Детей у них долго не было, но наконец появился Витя. Однажды проходящая по улице цыганка сказала его матери, что «твой пацан не доживет и до десяти лет». Для них это была настоящая трагедия. Уж как они его берегли и лелеяли! К счастью, десятилетний рубеж он все-таки пережил и вырос, женился, сейчас у него уже двое давно взрослых дочерей.

Работал сосед шофером в автороте, каждый день что-то привозил и, довольно посмеиваясь, нес или перемещал домой. Дровами, углем, сеном (основная головная боль всех жителей частных домов) они всегда были обеспечены в избытке. Но он все что-то вез, и вез, и вез.

И вот однажды часов в десять утра вдруг послышался звук, очень похожий на взрыв, донесшийся из их дома. Встревоженные соседи бросились туда, несмотря на злобную собаку. Уже на крыльце их встретили хозяин с хозяйкой, какие-то закопченные, растерянные, но в дом никого не пустили, уверяя, что у них все в порядке. И лишь потом, спустя довольно продолжительное время, хозяйка по секрету кому-то рассказала, что же произошло в тот страшный день.

Она стряпала на кухне. Десятимесячный Витя находился рядом. Она подкинула дров в печку и отошла зачем-то к окну. А ребенок, к счастью, выполз из кухни. И тут раздался взрыв. Кастрюли, сковородки, обломки печной плиты разлетелись по кухне, разворотило топку и закоптило весь дом…

Мир слухами полнится. Позже узнали соседи и начало этой истории. В ближайшей деревне жила-была семья. Мать, детишки, мал мала меньше, и отец-инвалид. Он с войны пришел без руки. Но мужик серьезный, работящий, изо всех сил тянулся, чтобы не стать обузой в семье, а быть полноценным отцом, кормильцем, хозяином. Так, сделав специальное приспособление, он в одиночку пилил деревья на дрова, распиливал их, колол и

складывал в аккуратную поленницу неподалеку от дороги, чтобы легче было потом вывозить. И деревенские, и даже городские знали, чьи это дрова, и несколько лет никто не посягал на них. Но однажды дрова пропали. На следующий год – опять. И тогда хозяин привсенародно поклялся, что ворюга его еще попомнит. А на третий раз и произошел вышеупомянутый взрыв.

Татьяна Жданова
Трамплины и витамины

Вокруг дома было сплошное приволье. Зимой можно было сойти с крыльца, сразу встать на лыжи и доехать до горки, которая спускалась к пруду. Первая часть горки была не очень крутой, и с нее можно было съезжать без особой боязни, хотя однажды я все же расквасила себе там нос об лед. Вторая часть была гораздо круче и заканчивалась небольшим трамплином. В свои пять-шесть лет я не рисковала съезжать с нее на лыжах. Мы называли эту горку «трамплинами», а еще более крутую горку поблизости – «витаминами». Ну, уж с них мы вообще и не мечтали съехать, там катались только взрослые мальчишки. Еще одна горка находилась поближе к нашему дому, напротив колонки, где мы брали воду, но взрослым не очень нравилось, когда мы там катались, потому что она спускалась прямо на проезжую часть нашей улицы, и мы рисковали попасть под машину.

Честно говоря, вероятность «попасть под машину» на нашей улице в те времена была ничтожно мала. За день по нашей Большой Оленьей проезжали дай Бог с пяток автомобилей. Два раза в день – грузовик с солдатами. Их привозили для работы на радиостанции, так называемой «поповке», занимавшей на нашей улице значительное место. Собственно, часть Большой Оленьей упиралась в эту самую «поповку», огибала ее и снова шла уже прямо к Ростокинскому проезду. Из-за этого в плане наша улица напоминала половину свастики – эдакий зигзаг. Вокруг радиостанции стоял высокий забор с колючей проволокой наверху, а вдоль забора с внутренней его стороны бегали на привязи сторожевые собаки. Мы их никогда не видели, но очень часто слышали, когда они лаяли и гремели своими цепями. Помню, однажды мы сдуру решили развести костер под забором «поповки», потому что мальчишкам попали в руки спички и им не терпелось что-нибудь поджечь. Я была совсем маленькой, лет трех с половиной, наверное. Мы сначала попробовали зажечь веточки и траву где-то в другом месте, но у нас ничего не вышло, и черт нас дернул усесться под этим забором. Там не было ветра, и у нас даже что-то загорелось. Вдруг откуда-то появился огромный дядька в военной форме и накинулся на нас, причем мы сразу почувствовали, что он не просто хочет нас разогнать, а нацелен на нечто более серьезное. Мальчишки постарше бросились врассыпную, ну а мы, малыши, конечно, побежали

домой, но дядька огромными шагами нагнал нас и поднялся по лестнице в коридор. Там была мама Женя и кто-то из соседок. Не знаю уж, как они смогли утихомирить рьяного и бдительного вояку, но он все же ушел, пригрозив, что если еще раз… Вообще все это могло кончиться намного хуже. Времена были еще сталинские, и наших родителей запросто могли притянуть к ответу, пришив им намерение руками своих отпрысков совершить поджог военного объекта.

Так вот, грузовик привозил солдат, они спрыгивали из кузова на землю, строились в шеренги и входили в большие ворота на территорию радиостанции. Иногда шофер разрешал нам залезть в кузов и довозил нас до конца улицы. Там мы вылезали и пешком возвращались обратно.

Вечером грузовик приезжал снова и увозил солдат в их казармы. Кроме этого грузовика, по нашей пыльной, ничем не мощенной улице могли проехать за день еще парочка заблудших автомобилей или такси, за рулем которого сидел наш сосед дядя Коля Гаврилов, который иногда приезжал домой пообедать. Ну а основным видом транспорта на нашей Б. Оленьей была телега, запряженная кобылой, которой управлял дедушка Надьки Кузиной дядя Ваня. На этой телеге стояла большая-большая бочка, в которой дядя Ваня возил воду все для той же «поповки».

Летом, весной и ранней осенью кругом была сплошная красота: везде трава, деревья, кусты и цветы – садовые и полевые. Я всегда думала: если человеку завязать глаза, спустить его на вертолете на нашу улицу и потом снять с его глаз повязку и спросить, в каком месте он находится, никто никогда бы не догадался, что это Москва. Больше всего мои родные Сокольники напоминали мне какую-нибудь слободу, хотя я ни одной слободы в жизни не видела. Это место – не город, не деревня, не местечко. С одной стороны, мы были окружены заводами: «Красный богатырь», «Изолит», «Карбюратор», парочка авиационных заводов находились в пределах двух-трех километров от нашего дома и нашей улицы. С другой стороны, в двухстах метрах от нас – Сокольнический парк со всеми его просеками. Кругом – немощеные улицы, сады, липовые аллеи. Никаких тротуаров, просто протоптанные тропинки, благо сокольническая почва – песчаная, вода быстро уходит в землю, и сама земля становится белой и довольно твердой, кое-где очень пыльной. Я помню себя идущей по М. Оленьей улице и держащейся за руку мамы Жени. На мне мое старенькое легкое светло-зеленое пальтишко, на голове – темно-зеленая шляпка-капор, а босыми ногами я загребаю теплую пыль, и мне так приятно, когда она просыпается между пальцами моих босых ног. На улице не то лето, не то

весна, и мы таким вот образом идем в наш магазин.

Нас, детей, повсюду окружала трава, а в траве – листья подорожника, цветы одуванчика или кашки, лопухи, репейники и прочая радость. Мы срывали все эти травки-листочки-цветочки и играли в магазин, где они должны были изображать продукты, а потом варили из них «обед» в игрушечных кастрюльках на игрушечных плитах. Мы катались по этой траве, сидели на ней без всяких подстилок, лежали на животе, бегали по ней босиком, так же, как и по голой земле. Словом, мы были так же близки к природе, как какой-нибудь Маугли. Мы ловили бабочек, стрекоз и майских жуков, жуков-бронзовиков и жуков-навозников. Нам необязательно было уезжать из Москвы, чтобы соприкоснуться с природой. Меня, например, никогда не вывозили ни на какие дачи, но маму Женю часто спрашивали: «Вы, наверное, возили вашего ребенка на курорт? Ваша девочка такая загорелая». Господи, да я слова-то «курорт» тогда не знала! Просто я была смуглая от природы (в деда), да еще все лето бегала в одних трусиках – вот и весь курорт.

Если бы меня попросили описать Сокольники одним предложением, я бы сказала: «Сокольники пахнут прудами». Пруды, пруды, пруды… Большие, маленькие, грязноватые, заросшие, расчищенные и снова заброшенные… Майский, Маленковский, Олений, Путяевские… В некоторых из них можно было купаться, Майский и Маленковский были даже оборудованы пляжами. С каким-то из этих прудов, скорее всего с Майским, у меня связано одно воспоминание.

Я с детства обожала купаться и никогда не мерзла в воде, как другие дети. Никогда я не бывала синей, покрытой пупырышками, не стучала зубами и не тряслась от холода после купания в пруду или в реке. Я могла просидеть в воде сколько угодно, и мне это ни капельки не надоедало. Папа знал эту мою страсть и не мешал мне наслаждаться. Он только удивлялся моей выносливости, потому что сам был всегда очень мерзлявый. Ну, чего с него возьмешь – южанин! Однажды мы пришли на пруд, и папа дал мне накупаться вволю. Но потом ему самому захотелось поплавать. Он вызвал меня на берег, посадил на свои свернутые брюки с рубашкой и попросил никуда не уходить, пока он не вернется. Было мне о ту пору года четыре.

Я наблюдала за тем, как папа спустился к воде, постоял на мелководье, привыкая к прохладе, а потом разбежался и бросился с головой в воду. Плавал он своим знаменитым «английским» стилем, на боку, только я тогда не знала, что это так называется. Сначала мне показалось, что он утонул, но вот его голова вынырнула из воды, взмахнула рука, сделавшая сильный гребок,

потом он снова исчез под водой, а потом я его потеряла среди других голов и рук, мелькавших в воде. Надо сказать, я была в общем послушной девочкой, но искус был слишком велик, и кроме того, папы я совсем не боялась, не то что мамы Жени или деда. Ровно через полминуты мне надоело сидеть на папиных вещах, и я снова полезла в пруд. А папа, вынырнув из воды буквально через мгновение после этого, уже не увидел меня на берегу. Он опрометью бросился обратно, стараясь увидеть меня среди кучки стриженых головенок, торчавших из воды. С перепугу он никак не мог меня обнаружить. Наконец он заметил меня и в первый и последний раз в жизни дал мне пару шлепков по казенной части. Мне это показалось очень обидным, и я тут же заорала. На этом папино купанье закончилось.

Коммуналки и соседи

Само понятие «коммунальная квартира» возникло в России в 1918 году, после революции, когда отменена была частная собственность на жилье и начали «уплотнять» бывших владельцев, вселяя в квартиры «подселенцев». Сама идея такой совместной жизни разных людей очень древняя, чуть ли не со времен Платона. Во всяком случае, в его трактате «Государство» еще в V веке до новой эры обсуждается проект обобществления частной собственности, общественного воспитания детей и многих других коммунистических радостей. Но реализовать эту идею в широком масштабе удалось только советской власти. Коммуналки сохранились в нашей стране и до сегодняшнего дня, но мало кто из обитателей коммуналок отказался бы от переезда в отдельную квартиру. И тем не менее люди вспоминают о своей жизни в коммунальных квартирах послевоенных лет, как правило, с добрым чувством. Отсутствие удобств, теснота и скученность, бедность и грязь – это была поверхность жизни, но многие отмечают родственную теплоту и близость отношений между соседями, взаимопомощь, сердечность чужих людей, вынужденных жить в трудной близости. Я и сама это прекрасно помню.

Людмила Улицкая
Коммуналка на Каляевской

До двадцати трех лет я прожила в коммуналке. Дом был трехэтажный, в первом ряду домов, обращенных фасадом на улицу, а позади простирался огромный, как целый мир, двор – с дровяными сараями, впоследствии ставшими гаражами, барачными строениями, в которых ютились недавние выходцы из деревни, убежавшие от колхозов. В подвалах многих домов жили татары, традиционные московские дворники тех лет. Под окнами первого этажа разбиты были палисадники, через двор, между стволами лип, натянуты веревки с сохнущим бельем. Все это было видно из окна нашей шестнадцатиметровой комнаты, в которой жили мы втроем: папа, мама и я. Кроме нашей, было еще пять-шесть-семь комнат, а также пять-шесть-семь семей. Точнее сказать трудно: комнаты были разделены перегородками, перегородки воздвигались и исчезали, а семьи тоже слегка двигались, иногда даже в сторону кровосмесительства. Вообще в квартире нашей происходили все виды бытовых преступлений, кроме убийства. Кто-то из соседей время от времени сидел в тюрьме, возвращался, садился снова.

Наша семья жила в этой квартире с сорок шестого, как я предполагаю, года. В квартире был еще один ребенок, мальчик Генка. Отец его Филипп пришел с войны с тяжелым туберкулезом. Молодой, очень красивый, худой, даже изможденный, он был в последней стадии болезни, знал это и пылал яркой ненавистью ко всем, кто останется жить после его смерти, а в особенности к жене. Лупил он свою Вальку смертным боем, харкал на пол, приговаривая: «Да чтоб вы все сдохли!» И пил, бедняга. Лет ему было двадцать пять – двадцать шесть, как я теперь понимаю. Но умер первым в квартире он, такой молодой, и это была первая смерть, первый мертвый человек, которого я видела. Гроб стоял на коммунальной кухне, там и поминки справляли. Валька после смерти мужа оправилась от побоев, расцвела, а мы с Генкой заразились туберкулезом, не зря Филипп старался. Но нас постепенно вылечили.

Маме моей было лет двадцать шесть, когда мы туда въехали, и только теперь я понимаю, какая она была умница и прелесть – как ей удавалось наладить такие хорошие отношения с людьми довольно грубыми и очень темными. Скандалы – и комические, и с мордобитиями – постоянно проходили на общественной кухне, и очень часто по поводу уплаты-неуплаты коммунальных взносов

за электричество. Телефон еще до нашего въезда в квартиру был срезан за неуплату. Жильцов в ту пору проживала двадцать одна душа, разделить непросто. К тому же свара усугублялась тем, что не все пользовались телефоном, а одна молодая девушка разговаривала больше всех, и как тут разделить по справедливости!

Мама моя, когда въехала, производила эти самые незамысловатые расчеты и примиряла враждующих. Всегда возникали серьезные проблемы: следует ли, например, платить как «за целого человека» за соседа, который работал в режиме «сутки-двое», две трети времени он не пользовался ни водой, ни электричеством… И мама моя, девочка милая, всех умиротворяла. Страшная вещь справедливость!

На кухне стояло семь столов, конфорки на газовой плите поделены (Это уже поздние времена! Я помню и большую плиту на кухне, и керогазы-примуса!), очередь на уборку мест общего пользования – на стене висит расписание… И вот я, пятилетняя, умывшись под краном, бегу с кухни в нашу комнату в начале коридора, зажимая в руках серебряную ложку, выуженную из соседской лоханки, с торжествующим криком:

– Смотри, мам, я нашу ложку нашла в тазу у Марьсеменны!

Мама холодно на меня посмотрела и сказала: вернись и положи откуда взяла!

Я возмутилась: это же наша ложка! С монограммой!

– Пойди и положи на место! Марьсеменна к ней уже привыкла!

Вот такая была квартира, такая мама.

Мы первыми выехали из этой квартиры в кооперативную. Коммуналку расселяли пятью годами позже. Но спустя какое-то время стало ясно, что жильцы квартиры представляли собой подобие огромной семьи, странной, разношерстной семьи, и члены ее при встрече кидались друг к другу с объятиями, а то и со слезами. И в гости ходили! Особый, странный род близости.

Одна моя старшая подруга, вернувшаяся в Россию из эмиграции в конце пятидесятых годов и оказавшаяся впервые в жизни в коммунальной квартире, говорила, что «коммунальная квартира – великая школа жизни». И добавляла: «христианской жизни».

Наталья Бруни
Они спали под роялем…

Детство мое было очень счастливым. Я обожала отца, он был красивый, высокий, кудрявый, пел и играл на рояле. Он прошел всю войну, у него были медали и он работал художником. Маму я очень любила, но оценила ее, только когда выросла. В 1964 году она с семьей вернулась в Россию из эмиграции и вышла замуж за папу, который не побоялся на ней жениться. Мы жили в коммуналке из восьми комнат. В нашей четырнадцатиметровой жили мама, папа и я с братом. В 1956-м родилась наша младшая сестра. В комнате стоял папин стол, за которым он работал. У нас было очень много родственников – бабушек, дедушек, дядей, тетей, двоюродных братьев и сестер. Мы все очень дружили и очень любили друг друга. Я знала, что брат моей бабушки и мой крестный – сидит. От меня не скрывали, что Сталин гад. Когда он умер, я спросила маму, почему его раньше все хвалили, а теперь ругают? Мама сказала: «Ты когда-нибудь слышала, чтобы его хвалили у нас в семье?»

Все мое детство было так: семья – это одно, а внешний мир – другое. Никакого раздвоения личности у меня не было, я была веселым и счастливым ребенком, ходила в детский сад и жила обычной детской жизнью, за исключением того, что мы ходили в церковь. В церкви в основном были старые женщины, мне кажется, что папа был единственным мужчиной, а мы с братом – единственные дети. Как-то я знала, что об этом не надо болтать. Мама читала нам вслух Библию с иллюстрациями Доре. Библия была на французском языке, и мама переводила с листа. Никаких священных книг нельзя было купить, старые люди хранили дореволюционные издания: я помню эти молитвенники, подклеенные папиросной бумагой.

Я родилась в 1949 году, только отменили карточки, мама рассказывала, что в роддом ей приносили в виде передачи кисель. Я не помню вообще никаких фруктов в детстве. То есть летом в лесу были ягоды, это да. Мандарины мы видели на Рождество, они висели на елке вместе с золочеными орехами и свечками и необыкновенно пахли. Самое вкусное в детстве было бутерброд с любительской колбасой и пельмени.

В соседней комнате жила бабушка, папина мать, и мои дядя с тетей. Стоял рояль, а под ним кто-нибудь спал. Когда после смерти Сталина стали выпускать людей, бабушка принимала у себя бывших зэков, не боялась ничего, хотя в квартире жила

стукачка, об этом знали. Не оказать гостеприимство было невозможно. Я помню некоторых, бабушка их кормила, они спали под роялем и утром исчезали.

Когда к власти пришел Хрущев, прошел слух, что могут дать квартиру, если написать ему личное письмо. Папа написал письмо об ужасах нашей жизни: «Больше всего тревожит, дорогой Никита Сергеевич, здоровье детей и т. д.». Другой мой родственник описывал свою жизнь так: «А ноги старухи упираются мне в лицо». Нам дали две комнаты в трехкомнатной квартире.

Ян Хуторянский
Одиннадцатый примус

По дороге из школы домой шел мимо железнодорожного вокзала. Помню, в сорок первом году его бомбили уже в первый ночной налет на Одессу. Построенный в конце XIX века, вокзал был похож на древний дворец из школьного учебника.

На соседних улицах увидел заколоченные досками витрины магазинов. В одном из них вскоре начали продавать горячие бублики с хрустящей корочкой и маком.

В полуразрушенных домах жильцы налаживали послевоенный быт. Одни занимали подвальные помещения бывших складов, другие строили во дворах времянки, прилепившиеся к стенам.

Мой дядя смастерил лестницу, ведущую к окну второго этажа дома, расколотого бомбой. Сделав вход в узкий коридор, приспособил его для жизни семьи из четырех человек.

Навещая тетю, занимавшую комнату в большой коммунальной квартире, я проходил мимо табуреток с примусами. Эти нагревательные приборы, работающие на керосине, были тогда в каждой семье.

Шел по коридору медленно, потому что он был не-освещен и дразнили запахи: одесситы всегда умели готовить и любили вкусно поесть.

Чтобы не ошибиться дверью, запомнил: стучать тете нужно после одиннадцатого примуса. Столько семей тут жило, и люди угощали друг друга, как принято в южных городах.

Леонид Добровольский
Пилим, колем!

В нашей одиннадцатиметровой комнате в коммунальной квартире, где в других двух комнатах жили еще две семьи, стояла в углу круглая печь, облицованная крашенным рифленым железом. Аналогичные печи служили тогда средством отопления большинства жилищ не только в Ленинграде, но, наверное, и во всем Союзе. Центральное отопление, которое тогда все называли «паровым», было редкостью, большой привилегией.

В качестве топлива в основном использовали дрова, предпочитая их углю (грязь трудно растапливать), а также торфяным брикетам, которые тоже плохо горели и давали меньше тепла. Чтобы купить дрова, нужно было прежде всего получить «дровяные карточки» в домоуправлении по месту жительства. «Карточки» давались по нормам, исходя из площади жилья: многочасовая очередь к начальнику конторы, скрупулезный подсчет метража – и счастливый обладатель права на покупку нескольких кубометров дров мог отправляться на дровяные склады. Находились эти склады где-то на окраинах города. Здесь главным было – поладить с местным начальством, чтобы не получить либо очень мокрые дрова, доставленные сплавом, либо не получить одну осину, от которой мало проку. Идеальным было купить смесь сухих березы и сосны, чем больше березы, тем лучше.

Затем нужно было оперативно добыть грузовик-полуторку, чтобы привести дрова – двухметровые бревна – домой. Эти бревна сваливали в тесном дворе-колодце, загромождая проход, но соседи хоть и ворчали, но мирились с этим неудобством, поскольку все должны были делать то же самое. Дальше нанимались лихие ребята, «пильщики». Обычно они стояли у Кузнечного рынка и, громко выкрикивая: «Пилим, колем!», зазывали «хозяек» и торговались с ними за каждую копейку. В конце концов, вооруженные козлами, двуручными пилами и топорами, «пильщики» приходили, и за несколько часов груда бревен превращалась в поленницу.

Обычно все это происходило весной, дрова запасались на будущую зиму. Летом они вылеживались во дворе, подсыхая, а осенью сносились в подвал и складывались в клетушки, отведенные каждому квартиросъемщику. Дрова потихонечку крали и во время их хранения во дворе, и из подвальных клетушек, посему владелец дров покоя не знал никогда.

Зимой, обычно в выходные дни, несколько охапок дров заносилось домой и укладывалось в пространства между печкой и стенами, там дрова окончательно досыхали и в течение недели сжигались.

Надо сказать, что зимы в те годы – речь идет о периоде между 1950-м и 1960-м – были довольно морозными, каждый год из-за мороза минус двадцать пять и ниже мы пропускали не менее двух недель занятий в школе. Нева, другие реки и каналы ежегодно замерзали, а проезжая часть улиц была покрыта льдом и плотно укатанным машинами снегом. Мы катались по проезжей части на коньках, цеплялись за проезжавшие тогда достаточно редко грузовики и со страшной скоростью мчались за ними.

Татьяна Жданова
Соседи

Среди всей публики, населявшей наши дома-курятники, встречались очень своеобразные типы. На первый взгляд, народ вокруг был все больше рабоче-крестьянский, но были среди них какие-то семьи, которые выделялись на общем фоне.

Жила в нашем доме странная семья. Муж был маленьким мужчиной, совсем незаметным, и если бы у него не было колоритной супруги, никто никогда не обратил бы на него внимания. Имени его я не помню, зато помню, как звали его жену, – Вера Ивановна или просто Веринька. Им обоим, наверное, было уже за пятьдесят. Говорили, будто Веринька – бывшая купчиха, и, возможно, это было правдой. Она была очень толстой, настолько толстой, что не могла надеть на себя платье и носила только халаты. Муж ее был переписчиком нот и вечно сидел в отгороженном уголке их комнаты на первом этаже нашего дома, склонившись над листами бумаги, освещенными очень ярким светом электрической лампы. Он либо переписывал ноты на специально разлинованных листах бумаги, либо линовал эти листы. Конечно, от этой работы у него всегда болели глаза.

Само собой разумеется, Веринька нигде не работала. Зато собирала у себя любителей перекинуться в картишки и имела с этого свой маленький гешефт. Мама Женя частенько забегала к ней поболтать о том о сем, но я не помню, чтобы она играла у Вериньки в карты. Меня же Веринька любила и угощала грибным супом. Ей нравилось, что такая маленькая девочка называет ее просто «Веринька». Кажется, она курила, как и моя мама, вот они сидели и дымили на па́ру. Еще Веринька держала кур, да только фокус заключался в том, что она держала их прямо в своей комнате. Куры перелетали с кровати на стол, со стола на пол, с пола взлетали на стулья и гадили где ни попадя. Их визитные карточки оставались на скатерти, на одеяле, на полке на стене, где стоял будильник. Пожалуй, только Веринькин муж отбивался от этих грязнух и не допускал их в свой уголок.

Их комната была отдельной, вход в нее был прямо из коридора, и в какой-то момент они обменяли эту комнату на другую в доме около Богородских бань. Говорили, что этот дом потом быстро снесли, и они получили площадь в новом доме со всеми удобствами. Интересно, держала ли Веринька своих кур и там? Еврейская семья, въехавшая в их комнату, прожила в нашей развалюхе еще целых двадцать пять лет. А еще говорят, что евреи

хитрые…

Вспоминаю еще одну колоритную семью. Из дома напротив. Муж, дядя Петя, ничем особым не отличался. Кажется, он был каким-то служащим; во всяком случае, он каждый день в одно и то же время утром уходил на работу, а вечером возвращался с работы с авоськой, набитой продуктами. Своим внешним видом он почему-то напоминал мне трефового короля из карточной колоды. Человек он был тихий, вроде бы и непьющий. Летом иногда отправлялся спать в сарай, стоявший в его саду. Поговаривали, что туда тайком к нему ходили его любовницы. Что ж, могло быть и так.

Супруга его, тетя Дуся, была, как говорится, «знойная женщина, мечта поэта» – рыжеволосая, зеленоглазая, с роскошным бюстом. Я понятия не имею, когда она успевала заниматься домашним хозяйством и занималась ли она им вообще, потому что почти весь день проводила, стоя на крыльце своего дома, опершись своим этим самым бюстом о перила, при этом он довольно откровенно выглядывал из ее шелкового расписного халата, перехваченного по талии поясом. Халат, наверное, был китайский: длинный, золотистого цвета с какими-то не то цветами, не то просто разводами. Тетя Дуся часами выстаивала на этом крыльце, покуривая папиросы. Когда курево заканчивалось, она останавливала какого-нибудь из пробегавших мимо мальчишек постарше и просила его сбегать в наш магазин. Мальчишки охотно соглашались, потому что она не требовала с них сдачу. До магазина было пять минут ходьбы, но я не помню, чтобы тетя Дуся не только сама пошла в магазин, но даже просто спустилась с крыльца. Целый день она толклась на этом крыльце, демонстрируя свои прелести, заговаривая со всеми, кто проходил мимо нее, и комментируя во всеуслышанье все происходящее во дворе. Люди сновали туда-сюда по своим делам, торопились куда-то уйти или прийти домой, а она, словно «барыня на вате – голова в халате», торчала без дела на крыльце и приставала ко всем подряд. Мы, дети, считали ее немного чокнутой, но безвредной. Она часто заговаривала и с нами, однако разговоры ее были всегда на редкость пустыми и глупыми. По-моему, ей было всегда ужасно скучно, и я просто не знаю, как она переживала долгие зимы, когда уже не постоишь на крыльце. Прямо какой-то Обломов в юбке посреди социалистической действительности.

Был у них с дядей Петей сын Славка – темный с рыжинкой веснушчатый парень, немножко хулиганистый и озорной, но совсем не вредный и не противный. Он был старше меня лет на десять. Тетя Дуся пыталась его воспитывать, но он только

огрызался и совсем не слушал ее. Возможно, стыдился ее дурости. Когда он по-взрослел, старался увести ее с крыльца домой, покрикивал, и она безропотно уходила. Теперь я понимаю, что у нее на самом деле были «не все дома». Может быть, именно поэтому ей и давали деньги только на папиросы и в магазин она сама не ходила. Со временем она усохла, скукожилась, рыжие волосы поседели, и стала похожа на траченную молью лису Алису из «Буратино».

Справка

Дана Сикельниковой Асе Ильиничне в том, что она проживает с 1926 года по настоящее время по Большому Каретному пер. дом 4 кв. 5 с семьей из семи человек и занимает площадь 21,12 м² – одну комнату.

Справка выдана для предоставления в РЖИ по месту

Управдом

5/VI-52

Из других сильных впечатлений детства у меня сохранились воспоминания о двух женщинах-инвалидах, живших по соседству. Одна из них очень пугала меня, хотя у нее было на редкость

красивое лицо. Это была маленькая женщина, уже очень немолодая и совершенно согнутая в пояснице, ходила параллельно земле, опираясь на клюку, а когда останавливалась, клала голову подбородком на руку, опиравшуюся на клюку, и так смотрела на людей. Я очень боялась, что вдруг я тоже согнусь так, как эта бабушка.

У второй – звали ее Фроська – шея была искривлена, голова сидела тоже криво, набок, и она всегда смотрела в одну сторону – то ли неудачная операция, то ли любовник порезал. Знаменита она была тем, что делала подпольные аборты, и многие женщины в округе пользовались ее услугами. Физиономия у Фроськи была неприятная и вкупе с ее опасной славой производила на меня всякий раз одно и то же противное впечатление. Встретить ее по дороге было для меня чем-то вроде дурной приметы.

Что еще вырывается из общей массы впечатлений детства? Наверное, еврейские семьи. Мне они вспоминаются среди нашей основной русской рабоче-крестьянской массы, как какие-то яркие вкрапления на довольно унылом куске материи вроде штапеля.

Прямо напротив радиостанции «поповки» жила старая еврейка со своей внучкой. Внучка – хорошенькая девочка с кудрявыми длинными волосами, заплетенными в две косы, – была старше меня, и мы никогда не играли вместе и даже не разговаривали, но она мне очень нравилась. А вот ее бабка была очень странной женщиной. Во-первых, ее звали Руся. Странное имя для русского слуха, хотя почему «Дуся» – не странно, а «Руся» – странно? У нее были седые, вечно растрепанные волосы, очень красные щеки, нескладная приземистая фигура, толстые ноги и походка немного враскоряку. Одевалась она черт-те как: носила какие-то нелепые халаты, на ногах опорки. Естественно, мы ее дразнили «Руся-обсеруся».

На первом этаже нашего дома жила еще одна еврейская семья. Ну, это были совсем другие люди. Мать семейства Роза Соломоновна, несмотря на наличие трех дочерей и одного сына, выглядела прямо царицей Савской. Волосы черные, гладко зачесанные назад в шикарный пучок, нос с горбинкой, глаза темные, огненные. У нее были две довольно интересные старшие дочери, лет двадцати с лишним, еще двенадцатилетняя дочка и маленький сын Аркашка, моложе меня года на полтора. Он был беленький, кудрявый и голубоглазый – в своего отца, мужчину невысокого роста, который рядом со своей статной супругой выглядел немного бесцветным. Тем не менее, как мне помнится, его все уважали. Вот уж у них не было ни ссор, ни скандалов. Это была дружная семья, и когда они все вместе выходили на улицу, на них было приятно посмотреть. Аркашку все в семье и во дворе

называли Адиком, и помню, мы с этим самым очаровательным Адиком «выступали по еврейскому вопросу». Мы стояли в темном нижнем коридоре нашего дома и переругивались: «Жид!» – Жидовка!», «Жид!» – «Жидовка!» При этом мы не испытывали никакой неприязни друг к другу и прекрасно потом играли вместе. Кто научил нас этим глупостям?

Та еврейская семья, что въехала в Веринькину комнату, тоже была дружной. Муж Соломон Яковлевич и жена Анна Григорьевна были очень маленького роста и немного напоминали карликов. Лица обоих носили явные признаки еврейского происхождения, выговор был резким, картавым и резал слух. Мне кажется, что сейчас даже в провинции уже нет подобных типов. Соломон Яковлевич где-то работал, жена сидела дома. У них был очень славный сын Даня, лет на шесть старше меня. Несмотря на некрасивость своих родителей, Даня обладал очень приятной внешностью и ростом был повыше. Глаза у него были огромные темные, те самые, в которых видна мировая скорбь. Он был тихим мальчиком, хорошо учился в школе, а потом поступил в институт. У Соломона Яковлевича был бурный общественный темперамент, он умел добиваться своего для общественной пользы дела, за что его уважали. Например, благодаря его стараниям на нашей улице рядом с «поповкой» установили телефонную будку. Как он этого добился, вообще непонятно. Но он умел ходить в «инстанции», собирал у нас подписи, составлял ходатайства, а потом доказывал начальству со своим жутким прононсом, что людям необходимо иметь хоть одну телефонную будку, потому что остальные все находятся очень далеко, и если начнется, к примеру, пожар, мы не успеем дозвониться до пожарных прежде, чем сгорит дом…

…Дворовым мальчишкам как-то захотелось поизмываться над «евреями», и они придумали стучать им в дверь и убегать. Я, маленькая идиотка, присоединилась к ним в этой забаве и почему-то решила постучать им в дверь уголком рамки от маленькой копии портрета Пушкина. Мама Женя, узнав об этом, всыпала мне по первое число, объяснив, что такие вещи делать позорно. Больше я в таких «акциях» не участвовала.

Еще одна семья жила в так называемых «офицерских» домах… Условия в этих домах были намного лучше наших: семьи жили в отдельных квартирах, там был и водопровод, и канализация. Дети были одеты гораздо приличнее нас, и многие из них учились в музыкальной школе или занимались теннисом. Отца семейства Мизрухиных я совершенно не помню, а вот тетю Римму никак нельзя было забыть: ни у кого в округе не было такого замечательного римского носа, как у нее. Дама она была статная, видная, хорошо одетая, однако самой характерной ее

приметой был ее выдающийся нос. Он ничуть ее не портил, но она впоследствии сделала себе и своей старшей дочери Бэтьке пластическую операцию. Тетя Римма была логопедом и прилично зарабатывала. Ее хорошо знали в округе благодаря ее общительности и приветливости.

Мне очень жаль, что в этих интеллигентных еврейских семьях не было детей моего возраста… Тогда я могла бы кое-чему научиться и увидеть другую жизнь, где никто не пил, мужчины не скандалили, не дрались между собой и никогда не били жен. Дети были прилично одеты, и об их образовании постоянно заботились: водили в музыкальную школу, записывали в шахматные кружки или еще куда-нибудь. У нас же, мне кажется, в семье и кругом была не жизнь, а сплошная неразбериха.

Елена Косякина
А у нас в квартире газ

В 1946 или 1947 году, уже не помню сейчас, к нам в Большой Каретный переулок приехали рабочие и перерыли весь двор. К дому подводили газ. Это было такое событие! Ведь до этого мы готовили на керосинках, примусах или керогазах. В кухне с утра до вечера скрипели и свистели на все лады эти пожароопасные устройства.

Все жильцы с нетерпением ждали, когда же проведут газ. А нам, детям, был интересен сам процесс проводки газа. Целыми днями мы слонялись по двору и заглядывали в вырытые канавы-траншеи. И вот однажды увидели, как рабочий вместе с землей выбросил на поверхность какой-то светлый полированный шар. Кто-то из мальчишек взял его в руки и ахнул: в его руках был человеческий череп. Оказывается, когда-то на территории нашего двора было кладбище. Действительно, рабочие то и дело стали натыкаться на человеческие кости. И теперь мы уже с опаской подходили к траншеям, нам хотелось, чтобы уже поскорее в них заложили трубы и закопали.

А вскоре привезли газовые плиты и начали устанавливать их во всех квартирах. Нам на пятнадцать человек поставили две четырехконфорочные плиты, и вскоре мы уже забыли о примусах и керосине.

О том, что существует такая вещь, как холодильник, я узнала только в 1957 году, когда в один прекрасный день тетя Ася купила нам холодильник «ЗИЛ». Сейчас трудно, даже невозможно себе представить, как в Москве летом на первом этаже можно было жить без холодильника. А вот жили и ничего, ведь после войны в холодильниках нечего особенно было хранить. Мясо покупали и варили в тот же день. Бабушка покупала на рынке кусочки подешевле и готовила их на один-два дня.

Помню, что кастрюли с супом или щами на мясном бульоне бабушка на ночь выносила к входной двери в квартиру. Дело в том, что у нас было две двери. Первая, внешняя, была обита дерматином, она запиралась на ключ и открывалась наружу в подъезд. Через 50 сантиметров от нее находилась вторая, внутренняя дверь, которая открывалась вовнутрь, в кухню. Так вот, бабушка обычно и ставила свою кастрюлю в этот маленький тамбурочек между двумя дверьми.

Однажды это закончилось печально. Бабушка поставила кастрюлю со щами прямо с плиты. Через несколько минут кто-то

позвонил в дверь, бабушка по-шла ее открывать и нечаянно задела ногой кастрюлю. Та опрокинулась, и бабушка сильно обварила ноги.

В 1948 или 1949 году, не помню точно, я услышала новое удивительное слово – телевизор. Дядя Сеня, радиоинженер по специальности, решил сам собрать телевизор. Он купил электронные лампы и телевизионную трубку с маленьким экраном и по вечерам, а чаще ночами, когда соседи спали, паял что-то на кухне.

Маленький Илюша ему активно помогал. Он наматывал специальную проволоку на катушки.

В один прекрасный день дядя Сеня внес в комнату сложную конструкцию, правда, без внешнего корпуса. Он поставил ее на тумбочку и предупредил всех, а в первую очередь меня, чтобы никто ничего не трогал руками, поскольку тут масса электрических проводов. Можно испортить телевизор, да и током может сильно ударить. Затем он включил эту удивительную машину в сеть, протянул от нее к окну какую-то проволочку, и вдруг экран засветился голубым светом и на нем появилась симпатичная молодая женщина. Это была телевизионный диктор Нина Кондратьева. Она объявила о начале эстрадного концерта. Выступали знакомые всем любимые артисты. Это было какое-то чудо! Мы все побросали свои дела и уселись вокруг новой игрушки. Дядя Сеня был горд чрезвычайно.

Теперь в нашей коммунальной квартире началась новая жизнь. По вечерам все соседи приходили на телевизионный огонек. Как все умудрялись найти себе местечко вокруг телевизора в и так переполненной людьми и вещами комнате, – понять не могу.

Марк Птичников
Тум-балалайка

Летом 1946 года мы жили в Виннице. Центр города представлял собой сплошные развалины, над которыми торчал обгорелый остов семиэтажной гостиницы «Савой» – когда-то самого высокого здания в городе… А наш дом стоял на окраине. Кривая и узкая, мощенная довоенным булыжником Пушкинская улица была за-строена одноэтажными домиками. Война обошла ее стороной, выглядела она, наверное, так же, как и летом 1941 года, и только иногда ветер доносил до нас тяжелый смрад. Значит, госкомиссия нашла и начала раскапывать еще одно место массового захоронения жертв немецкой оккупации. В городе были расстреляны тысячи людей. Немцы начали с евреев и цыган, потом та же участь постигла военнопленных, душевнобольных, арестованных нарушителей многочисленных правил поведения (знаменитого «орднунга») и комендантского часа и даже горожан, вовремя не избавившихся от своих собак и голубей. Отец ходил на опознание и в шеренге полуразложившихся трупов нашел свою двоюродную сестру, которую узнал по платью в горошек и еще по каким-то приметам. После этого он стал торопливо закрывать окно и уходить вглубь комнаты, когда по улице маршировали колонны пленных немцев, разбиравших в городе развалины. Его, воевавшего, видевшего на своем веку много ужасного, трясло от ненависти.

Ну, Бог с ними, с пленными. Жизнь продолжалась. Достаточно суровая и голодная, это была жизнь людей, переживших самую страшную войну, голод, лишения. Выживших, победивших, терпеливо восстанавливающих дотла разоренную страну. Самых разных, казалось бы, людей объединяли радость победы и надежда на светлое будущее. Работали, умели радоваться простым радостям.

Не помню уже, по какому поводу, но было у нас застолье. Собрались соседи по двору. Сидели за одним столом русские, украинцы, евреи, даже один поляк. Мой отец, вернувшийся в 1941 с фронта после тяжелейшего ранения, мама, дядя Толя, оставивший в Сталинграде левую руку, и его жена-украинка. Сидела многочисленная семья Радзинских, пережившая все ужасы оккупации и прятавшая у себя от зондеркоманды СС и от украинской полиции (эти были страшнее немцев) крошечного мальчика, полуеврея-полуполяка. Сидела пожилая еврейская чета, чудом убежавшая из города буквально за несколько часов до

вступления в него немцев и недавно вернувшаяся из эвакуации. Вот только сына их не было за этим столом: погиб в Германии за месяц до Победы. Сидел поляк, потерявший здесь всю свою семью, пока он воевал в дивизии Костюшко. Пили «казенную» и самогон из буряка, закусывали картошкой «в мундире», капусткой, огурчиками, тощим деревенским салом. Наперебой рассказывали: кто про войну, кто про оккупацию, кто про жизнь в эвакуации. И вспоминали больше не голод, смерти и лишения, а то немногое смешное, что случалось в их совсем не веселой жизни. Победители, этим все сказано.

В разгар веселья открылась дверь, и запоздавший гость, уже где-то слегка «принявший», заорал с порога: «Глядите, кого я вам привел!» За его спиной стоял оркестр: два старых еврея – один, естественно, со скрипочкой, другой – с кларнетом, одноногий инвалид с шикарным трофейным аккордеоном «Скандалли» и подросток с пионерским барабаном. Настоящий клезмерский оркестр, играющий без нот (скорее всего, они их и не знали) и исполняющий практически любой заказ гуляющей публики.

Музыканты чинно выпили по граненой стопке и, не дожидаясь ничьих пожеланий, заиграли «Катюшу». Потом, естественно, «Валенки», «Брянскую улицу», «Темную ночь». Потом наступила очередь украинских песен. Застолье подпевало, не жалея глоток. А потом мой батя спросил: «Вулах умеете?» И музыканты оглушительно заиграли знаменитую мелодию молдавских евреев. И пошла остальная классика: «Фрейлахс», «Ицик женится», «Семь сорок», даже «Хава нагила» сразу после «Свадьбы Шнеерзона» и «Жил-был на Подоле Хаим Шик».

Я, семилетний мальчик, допущенный к взрослому застолью, еще почти ничего не понимавший в сложной взрослой жизни, тем не менее чувствовал, как эта немудрящая музыка делает людей добрее, заставляет забывать горе, страдания, уводит от повседневных забот и тревоги. Теперь я понимаю и могу сказать, что собравшиеся за столом гости, с очень разными судьбами, образованием и воспитанием, разным положением в обществе, становились единым целым. Вот вам и избитое выражение «волшебная сила искусства». Оказывается, что точнее и не скажешь.

А потом они заиграли знаменитую «Тум-балалайку». Тоску и надежду. Нежность и тревогу. И я с изумлением увидел слезы на глазах этих прошедших все круги ада людей. С тех пор прошло шестьдесят три года. Надеюсь, что сколько-нибудь лет я еще проживу. Но никогда не забуду и это застолье, и эту музыку.

Тум-балалайка,

Шпил балалайка.
Рвется и плачет сердце мое.

Ян Хуторянский
Трубач под крышей

После войны соседи, как правило, знали друг друга. Тем более странно выглядел мужчина, живший в мансарде под самой крышей нашего дома. Он был одинок и необщителен. О таких людях говорят: не от мира сего.

Похоже, единственной его любовью была труба, которую он не выпускал из рук. Звук ее служил нам утром будильником, а вечером – отбоем.

Судя по классическому репертуару, сосед был профессиональным музыкантом, возможно, даже солистом симфонического оркестра.

Репетировал он до пяти часов вечера, а затем уходил в концертном костюме, при галстуке-бабочке.

Велико же было мое удивление, когда перед сеансом в кинотеатре «Серп и молот» увидел соседа в маленьком эстрадном оркестре.

После войны выступления перед сеансами были традиционными. Зрители приходили заранее, часто семьями, чтобы послушать любимые песни или солиста. Особой популярностью пользовались тогда джазовые мелодии из голливудских фильмов о красивой жизни.

Вячеслав Ищенко
Дядя Лёша

В гости к отцу приезжал дядя Леша – светловолосый веселый летчик, шумный здоровяк и балагур. Но главное – Герой Советского Союза! Шел 1946 год, всё еще дышало войной, во многом чувствовалась эйфория Победы. Точнее сказать, это сейчас я догадываюсь о том, что такая эйфория была. А тогда для меня, семилетнего, вся жизнь была праздником. Я не знал бед и проблем, которыми жили старшие. Дух войны, дух Победы чувствовался даже в таких вещах, как одежда маленьких детей. Те семьи, которые могли себе позволить, шили малышам военную формочку с погонами. Это казалось необыкновенно красиво. Только много лет спустя я узнал, что такая же традиция была и в годы Первой мировой войны. Немало есть снимков, на которых запечатлен цесаревич Алексей в хорошо пригнанной военной форме – в шинели и сапогах. В такой одежде наследник был с Николаем Вторым в царском поезде, на фронте.

Дядя Леша, как правило, являлся не один, с ним были другие пилоты гражданских самолетов, которые почему-то тогда называли главковскими. Видно, в ту пору была и такая авиация. Родители не раз брали меня в авиационные путешествия из Гурьева в Астрахань и обратно. Лету немного, может быть, час с небольшим. Аэропорт Гурьева помню как просто пыльную степь и мачту с развевающимся на ее вершине указателем – длинным сетчатым сачком, который поворачивался в зависимости от направления ветра. Откуда дует ветер, туда и поворачивалась эта штуковина своей круглой «входной» частью. Сие нехитрое метеорологическое устройство и сегодня используют на аэродромах. Кстати, говорили тогда не «аэропорт», а непременно «аэродром». Должно быть, потому, что рейсовых полетов еще не было.

Я внимательно наблюдал, как запускали двигатель самолета. Такое сейчас можно увидеть разве что только в кино.

– Контакт! – кричал сидящему в кабине пилоту дядька у винта.

– Есть контакт, – отвечал летчик и нажимал стартер.

Винт с трудом проворачивался на один оборот, проходя при этом какое-то тугое препятствие. С первой попытки запустить мотор не удавалось. Мне это напоминало запуск автомобильного двигателя заводной ручкой, которую мы, дети, называли заводилкой. Одна попытка, вторая, третья, и вот вместо

двухлопастного винта мгновенно возникал прозрачный круг на носу ревущего самолета. Так запускали авиадвигатель в одном из эпизодов кинофильма «Семеро смелых».

Дядя Леша был отчаянный лихач. Иногда, пролетая над Каспийским морем, он едва не касался брюхом самолета мачт рыболовецких реюшек – маленьких рыбацких парусников. При произнесении этого слова ударение следует делать на «ю».

Он любил производить впечатление, особенно на женскую часть пассажиров. Летим над морем, рядом мать. Дядя Леша… оставляет штурвал, выходит из кабины, а самолет летит самостоятельно. В кабине никого нет! Мать причитает, ругает его, кричит, чтобы немедленно возвращался в пустую пилотскую кабину. Улыбающийся дядя Леша подчеркнуто спокойно садится вместе со всеми за столик, выпивает, закусывает. Потом нехотя возвращается на свое место в кабине. Не закрывая за собой дверь. Теперь я понимаю, что он включал автопилот, а тогда выходки смельчака заставляли цепенеть от ужаса не только мою матушку.

Но дядя Леша был действительно летчиком высокого класса. Он прошел всю войну, бывал в жутких переделках, отчаянием своим зажигал окружающих. Довелось ему какое-то время посидеть в тюрьме, за убийство. Он сам рассказывал, что где-то на запасном аэродроме во время войны крепко поругался с председателем местного сельсовета по фамилии Калинин:

– Представляете, он мне, дважды Герою, стал права качать! Я, говорит, здесь маленький Калинин. – Дядя Леша саркастически передразнивал того председателя, намеренно произнося в слове «Калинин» вместо «а» звук «о». – Ну, я подошел к столу, где сидела эта тыловая крыса, и так долбанул его по башке, что он, бедняга, тут же умер. Я, конечно же, не хотел этого.

За убийство «маленького Калинина» дядю Лешу и посадили. Просидел недолго, но одну Звезду Героя у него отобрали. Был командиром эскадрильи, сделали рядовым летчиком.

Жаль, что дядя Леша почти ничего не рассказывал про воздушные бои и про свои подвиги. Во всяком случае, я этого не слышал. Может, за столом, взрослым, но нас, детей, за стол не сажали. Хотя он тянулся к ребятишкам – у самого семьи не было. Играл с нами в карты, ловко показывал фокусы, и не только карточные. Говорил, что обучился всему этому в тюрьме. Брал, например, бутылку, обыкновенный пустой шкалик, тер этим шкаликом о стену, и бутылочка на некоторое время будто приклеивалась к стене, зависала.

В карты мы играли только в подкидного дурака. Однажды, когда он проигрывал и крыть ему было нечем, надо было принимать много карт, дядя Леша взял меня за подмышки,

поднял, посадил прямо на карты и весело захохотал:

– А вот я Славкой побью!

Шумный, озорной, сильный и ловкий, он очень нравился всем детям нашего двора. Я страшно гордился, когда приходилось рядом с ним идти по городу: золотая Звезда Героя на темно-синем морском кителе без погон привлекала взгляды всех встречных, абсолютно всех. Однажды он сажал нас на поезд. В первые послевоенные годы поездки по железной дороге были рискованным предприятием. Но взрослые решились, и мы отправились в отпуск. То был 1946 год. Народу на вокзале и в поездах было великое множество. Сесть в вагон было очень непросто. Но перед Героем толпа расступалась.

Нам, мальчишкам, было ясно, что дядя Леша – душа любой компании. Его обожали все. К нему даже взрослые обращались как к высшему авторитету и знатоку во многих сферах жизни. Он, например, со знанием дела рассуждал, кто из великих певцов самый-самый: Лемешев или Козловский. Спустя много лет матушка мне рассказывала, что он, не моргнув глазом, отдал все свои деньги, чтобы помочь нашим соседям, очень нуждавшимся. Мать даже называла, сколько он отдал. Сумма была весьма приличной. С деньгами он вообще расставался совершенно свободно. Достанет из кармана несколько бумажных купюр и говорит:

– Значит так, Славка. Посчитаешь эти деньги правильно, значит, они твои.

Для меня, дошкольника, то была непростая задача, но я справлялся. А скорее всего, он отдавал деньги просто так, не особенно проверяя правильность моего счета.

Или брал газету и говорил:

– Давай, читай. Я послушаю.

Я читал как мог. В основном – заголовки. Некоторые слова были трудные, потому что длинные. Да и фамилии порой встречались нелегкие для произнесения. С тех, наверное, еще пор запомнилась фамилия первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Шаяхметова. Я помню его даже по снимкам: сухощавый, с бритой головой.

Постоянно дядя Леша жил в Астрахани. У нас бывал наездами. Очень жалею, что не знаю его фамилии, не могу вспомнить почти ничего из его рассказов. «Почти» – потому что один все-таки засел в голове накрепко. И не самый важный. Как-то, сидя за столом, дядя Леша показал головой в сторону снятых и лежащих у порога унтов:

– Знаете, откуда у меня эти унты? С мертвого немца снял.

Для меня это сообщение было невероятным. Я во все глаза

уставился на унты, но ближе, чем на метр, к ним уже не подходил.

Геройская жизнь дяди Леши оборвалась внезапно. Он погиб в Астрахани. Взрослые рассказывали, что несчастье случилось во время чьей-то свадьбы. Дядя Леша был одним из гостей. В разгар веселья он предложил молодым покататься на самолете. Это было вполне в его духе, и тогдашняя послевоенная вольница, к сожалению, позволяла такие вещи. Надо ли говорить, что дядя Леша, мягко говоря, в тот момент был не очень трезв. Но самолет разбился только потому, что был перегружен. Погибли все, в том числе и жених с невестой. Конечно, во всем виноват был дядя Леша, царствие ему небесное. Его шутки, песни и анекдоты, наверное, мало кто вспомнит сегодня, потому что большинство из тех взрослых, которые его окружали, уже ушли в мир иной.

Я сделал это за них.

Животные

Животные занимали в жизни детей большое место, вероятно, большее, чем сейчас. В городе мало кто держал породистых собак, но даже в больших городах, где пока еще сохранялись настоящие дворы, жили дворовые собаки в самодельных будках, дворовые кошки – коммунального, так сказать, пользования. Картина и по сей день привычная: мальчик с собакой, девочка с кошкой… Ниже приведено несколько писем о таких взаимоотношениях детей и животных, которые сегодня трудно себе представить. Самое поразительное – о сусликах… Самое страшное – о крысах…

Ольга Лазарчук
Шматик

Во дворе у нас жил дворовой пес по кличке Шматик, его белая шерсть была покрыта темными пятнами, шматиками. Веселая, добродушная дворняга, любимец всех детей. Выходя утром из дома, мы всегда выносили ему кусочек хлеба с докторской колбаской, с маслом. Давали ему кусочки. Шматик охотно принимал участие в наших играх: жмурках, «ловитках», «казаках-разбойниках».

Шматик прекрасно видел, кто где спрятался, но не выдавал.

Когда мы шли купаться – море располагалось в нескольких метрах от дома, – Шматик бегал вместе с нами.

Старшие мальчики шли к заброшенному причалу «Добролет», а младшая детвора – к песчаной отмели. Мальчишки прыгали с причала в воду, прыгал с ними и Шматик, а потом плыл к малышам, к мелководью. Выходил на берег, отряхивался и ложился загорать.

Когда мы возвращались во двор, устраивали себе трапезу, варили на сложенных кирпичах из пшена с мидиями плов. Ложками служили створки мидий.

Шматику плов клали на газетку. Он с удовольствием его слизывал – видимо, уважал морепродукты. Так же, как и крабы, которые старшие ребята ловили в бухте. Шматику отдавали лапки.

Это был незаменимый, веселый друг, спутник наших детских игр и забав.

Лилия Мельникова
Собака по имени Свобода

Как-то раз, дождливым летним днем, когда мы сидели на веранде и читали книги, к нашему дому пришла большая рыжая собака. Вся мокрая, изможденная, она, видимо, потеряла хозяина и долго скиталась. Мы накормили собаку и положили для нее сухую подстилку. Никто не знал, откуда она явилась. Это была ее тайна.

Немного отъевшись и окрепнув, собака стала настоящей красавицей. Длинная волнистая шерсть цвета красной меди, ясные карие глаза, большой чуткий нос и длинные кудрявые уши делали ее неотразимой. Но породу мы так и не определили.

Папа осмотрел ее зубы и сказал, что собаке не более трех лет и, скорее всего, это ирландский сеттер с какой-то примесью. Чистокровные сеттеры не бывают такими крупными.

Все соседские дети полюбили собаку и подкармливали ее кто чем мог. Ела всё, даже тушеную капусту, и всегда благодарила за еду, облизывая нам руки.

Собака всегда ходила с нами на прогулки в сопки и на море. Мама радовалась – теперь она могла нас спокойно отпускать из дому, ведь такая большая и умная собака не даст детей в обиду.

Мы долго думали, какое же дать ей имя, и назвали Свободой. Она не признавала ни ошейников, ни поводков и никогда не сидела на привязи. Как ни старались ее приучить, из всех пут каким-то непостижимым образом она освобождалась.

Свобода ходила где ей вздумается, часто надолго исчезала, но всегда возвращалась и спала на веранде. К своему имени собака привыкла очень быстро и охотно прибегала на зов.

Однажды в конце сентября, в воскресенье, мы небольшой компанией отправились в лес за грибами. Выдался погожий солнечный денек.

Осень на Дальнем Востоке – самое приятное время года. Нас было пятеро: четыре девочки и мальчик Толик. Мы взяли с собой корзинки для грибов и бутерброды, решили идти на целый день. Свободы с нами не было: она куда-то убежала накануне вечером и еще не вернулась.

Весело болтая, мы углублялись в лес, поднимаясь по склону дальней сопки. На ближних горках почти ничего не было, рядом с городом любителей тихой охоты гораздо больше, чем самих грибов. А нам так хотелось вернуться домой с полными корзинками!

В лесу было очень красиво. Деревья были украшены яркими листочками, словно золотыми брызгами.

Я бегала от одного куста к другому, собирала ярко-красные ягоды боярышника, следила взглядом за бурундуками, так похожими на белочек. Они очень забавно перепрыгивали с ветки на ветку, глядя на меня с нескрываемым любопытством.

Про грибы я совсем забыла. Тем более что не могла найти ничего, кроме пары сыроежек, а они у нас не пользовались уважением.

Наконец все устали, проголодались и решили сделать привал. Перекусив бутербродами, начали перебирать добычу. Оказалось, что у сестры в корзине несколько больших белых грибов-красавцев, у подружек тоже хорошие грибы: опята и грузди, а у Толика вообще полная корзина. Только моя корзинка была пуста.

Тут начались насмешки и издевательства. Толик катался по траве от смеха и приговаривал:

– Эх, Лилька, тебе бы не грибы собирать, а ворон считать!

Мне стало очень обидно, ведь я считала Толика своим лучшим другом и, глотая слезы, думала: «Ты, предатель, погоди у меня! Еще попросишь какую-нибудь интересную книжку, держи карман шире! И вообще больше не буду с тобой разговаривать».

Я надулась, но никто не обратил внимания на мою обиду. Весело болтая, компания продолжила сбор грибов. Все разбрелись в разные стороны, договорившись время от времени

перекликаться.

Я же решила, что откликаться не стану и постараюсь набрать полную корзину, всем назло.

Я углублялась в лес. Голоса моих товарищей уже едва доносились до меня, но я упорно не отзывалась. «Пусть поволнуются немного, а когда наберу полную корзину, то сама их найду, ведь я прекрасно помню дорогу назад».

Вскоре набрела на целую полянку белых грибов. Руки мои тряслись от жадности, так хотелось собрать их все, что я забыла обо всем на свете. Когда корзина наполнилась доверху, вдруг заметила, что начало смеркаться. Испугалась и скорее побежала к месту, где мы расстались с ребятами. Неслась что есть сил, постоянно окликая по имени то сестру, то подруг, то Толика. Но никто не ответил, видно, ушла слишком далеко.

Стало очень страшно, я уже не знала, правильно ли иду. Начала кричать во весь голос, призывая на помощь: шутка ли – надвигалась ночь, а я осталась в лесу одна, беззащитная маленькая девочка. В панике я заметалась из стороны в сторону, уже совершенно потеряв ориентацию.

Между тем тьма сгущалась, слышались какие-то непонятные звуки и шорохи, казалось, кто-то крадется за мной. Замирая от страха, я все-таки продвигалась вперед, чтобы не стоять на месте, ожидая нападения дикого зверя.

Прошло еще какое-то время, стало совсем темно, я постоянно натыкалась на стволы, набивая себе синяки и шишки. Казалось, деревья выстроились передо мной сплошным забором, специально держат меня и не дают идти. Поняв, что двигаться в ночном лесу невозможно, я начала устраиваться на ночлег. Нужно было сгрести сухие листья в кучу и закопаться в них. Так я и сделала. «Может быть, листья спрячут меня от диких зверей», – думала я, закрывая голову вязаной кофточкой, – стало очень холодно. Ни листья, ни кофточка не помогли согреться. От страха и холода бил озноб. Я закрыла глаза и приготовилась умирать.

Передо мной поплыли картинки из моей недолгой жизни. Увидела грустно улыбающуюся маму и папу, который махал мне рукой, словно прощаясь… Слезы медленно текли по щекам, и я не заметила, как задремала. И… вздрогнула, очнувшись от прикосновения чего-то горячего и влажного к моему лицу.

«Волк!!!» – с ужасом подумала я и зажмурилась еще крепче. Но, услышав радостное, нежное повизгивание, поняла – это Свобода! Моя дорогая, любимая собака! Она нашла меня! Она пришла, чтобы спасти меня!

Зарыдав от счастья, я обняла ее теплую мохнатую шею. Собака легла рядом, согревая меня своим телом и продолжая

тихонько повизгивать. Я уже ничего не боялась и крепко уснула, сжимая Свободу в своих объятиях. Так хорошо было рядом с ней!

А наутро, чуть только забрезжил рассвет, я подобрала корзинку с грибами, и мы побежали домой. Собака уверенно вела меня, она хорошо знала дорогу – видимо, не раз бывала в этих местах. Самое главное, путь, которым она вела меня, был гораздо короче нашего, хотя тропинка оказалась очень крутой. Мы спускались вниз по другому склону сопки.

Дома никого не оказалось, я поняла, что все ушли меня искать. Свобода, убедившись, что я в безопасности, убежала встречать моих близких, чтобы успокоить и сообщить им каким-то своим способом, что я уже дома.

Вскоре они вернулись домой в сопровождении радостной Свободы: объятия, поцелуи, слезы. Оказывается, дети искали меня до самой темноты, а не найдя, побежали домой и всё рассказали родителям. Началась паника, мама с сестрой плакали, а папа побежал по соседям, чтобы организовать поиски.

Взяли фонари, факелы и целой толпой отправились в сопки.

Свобода, вернувшаяся к вечеру домой, каким-то непостижимым образом поняла, что я заблудилась в лесу, отправилась на поиски самостоятельно и без труда меня отыскала.

Так наша Свобода стала героиней: все вокруг старались приласкать ее и угостить чем-нибудь вкусным. Свобода была очень этим довольна, но совсем не зазналась, а по-прежнему была преданным, верным другом и участвовала во всех наших играх и забавах, оставаясь при этом свободной и независимой.

Татьяна Жданова
Москва-Сокольники

Две женщины на нашей улице в Сокольниках держали коров. Каждое утро тетя Даша приносила нам парное молоко и свежие яйца. Паслись эти коровы прямо за домами, а держали их в сараях. Кто-то держал свиней, гусей, уток.

Многие из соседей – кур в сараях. Курицы были неинтересными, но вот петухи… Расписные, разноцветные, они кричали по утрам, возвещая о наступлении рассвета. Были среди них и петухи-задиры. Один такой задирал не только маленьких детей, но и взрослых. Он жил в нашем дворе и однажды уселся на спину моему деду, который в этот момент рубил дрова. Только петух пристроился клюнуть деда в затылок, как тот закинул руку за спину, схватил его за ноги, перевернул и оттяпал ему буйную голову. Еще до своей бесславной гибели этот наглый петух получил хороший пинок армейским сапогом от моего отца.

Бабушка моей подружки Гали тоже держала кур. Среди них она особенно отличала одну молодую курочку и даже дала ей имя Люська. Так вот, росла-росла эта Люська и вдруг превратилась в долгоногого петуха. Перекрещивать его было уже поздно, так и прожил этот петух свою петушиную жизнь под женским именем. Вероятно, это был петух-трансвестит.

Валентина Зелинская
Гуси

В Сватово у нас было большое гусиное стадо. С их вожаком у меня были особые отношения. Мы были с ним примерно одного размера; не знаю, кого я ему напоминала в моей кроличьей шубке, но он меня терпеть не мог – хватал клювом за верхнюю пуговицу, держал крепко и одновременно с двух сторон хлопал по бокам крыльями. Я боялась его ужасно. И мы всегда высматривали друг друга издалека: первый, кто видел врага, начинал бежать, я, конечно, от него – он за мной. Перед отъездом все стадо зарезали, засолили и в сундуке отправили в Киев. Моя старшая сестра оплакивает своих гусей всю жизнь. Она их нянчила, ей пришлось их и резать, но они буквально спасли нам в Киеве жизнь. Шла война, часть багажа пропала, но гуси приехали.

Герман Кузнецов
Суслики

Была объявлена борьба с вредителями, в том числе и с сусликами – пожирателями злаков. Мальчишки брали ведра, находили нору суслика, из оврага черпали воду и лили ее в нору. Когда показывалась морда, хватали за шею и силой бросали об землю, отрубали лапки, за которые можно было получить 50 копеек. Сами тушки свежевали и жарили на костре, обгладывали маленькие косточки. Неожиданно приехала кинохроника, которая снимала фильм о суховеях. Привезли мотор от самолета, с помощью которого изображали суховеи. Им вдруг потребовались живые суслики.

Я быстро подрядился и принес им пять сусликов, за которые получил 25 рублей. Заработав за лето немного денег, поехал в Ленинград на свидание с отцом. Ехал за 8 рублей в общем вагоне без места, спал на третьей полке. На каждой крупной станции на перроне были длинные столы, с которых продавались обеды, на которые я только смотрел. На мелких станциях к поезду выносили вареную картошку и соленые огурцы. Милиция гоняла этих торговок. Был случай, когда женщина одела большую кастрюлю с картошкой на голову милиционера, сама нырнула под вагоны и была такова. Свидание было в знаменитых «крестах» в Ленинграде, куда отца привезли для встречи со мной из шарашки. Он был одет в цивильный костюм, бритый и подстрижен. Рассказал, что кормят прилично, дают даже сливочное масло.

Елена Фесько
Крысы

Оставаться со мной было некому. Все свободные руки необходимы были в работе, поэтому и отдали в ясли. Многие малыши тогда находились в яслях практиче-ски сразу после рождения, но и там нам пришлось почти всей группой пережить страшное испытание. Нас погрызли крысы, вероятно, обезумевшие от голода. Как говорили взрослые и вспоминала потом моя мама, они погрызли нас в тех местах, где на щеках оставалась каша, или там, куда малыши срыгнули пищу. Крысы обгрызли носы, губы, уши, забирались за край воротников. Мне досталось меньше, чем остальным: мне крыса погрызла края ушей, маленькую бороздку на шее и во рту. Всех малышей поместили в инфекционное отделение.

Из сорока воспитанников в живых нас осталось только десять. Режим был установлен строжайший – родителей не пускали. А они ухитрялись подсматривать за своими малышами. Стекла в дверях закрывались газетами, в которых делались маленькие дырочки для глаз, чтобы, не выдавая себя, можно было понаблюдать за своим ребенком. Но как только появлялась газета, дружный детский коллектив начинал громко и надрывно плакать – видимо, чувствуя присутствие родителей.

В изоляции мы пробыли почти полгода. И фотография осталась на память о том страшном испытании. Раны долго не заживали, лекарств просто не было, и старый фельдшер решился на последнее средство – прижечь увеличительным стеклом разъеденные раны. И вот оно, долгожданное освобождение, – я дома с запретом есть ряд продуктов, например соленую рыбу, иначе все могло закончиться страшным образом. Но однажды мама, уходя, поставила соленую треску в большом блюде на самовар, который возвышался на столе. Когда она вернулась, то обнаружила рыбу съеденной. Мама схватила меня на руки и помчалась бегом к тому старому фельдшеру. А он только развел руками. Но страшного не произошло, только до сих пор осталась аллергия. А еще шрам на шее и обгрызенные уши.

Школа

Как это ни удивительно, в многочисленных письмах о школе послевоенного времени меньше всего сообщается об учебе. Зато личность учителя – хорошего, плохого, корыстного, доброго – на всю жизнь отпечатывается в памяти. Там, в школьных стенах, чрезвычайно рано начинается общественная жизнь. В школе царит право сильного. Слабому приходится защищать свое достоинство. Таков закон организации всякого общества – и в стае волков, и в прайде львов, и в начальной школе. Тем ценнее и важней в этой жесткой системе проявления великодушия, благородства, щедрости. Эти детские воспоминания о школьных годах – предмет для размышления и сегодня, шестьдесят лет спустя. Чем мы можем помочь нашим детям и внукам? От каких ошибок их избавить? Или всякое знание о жизни приобретается только собственным опытом?

Но как хорошо я помню соседа по двору, который учил своего сына: «Витька! Ты кулак-то не подгибай, бей костяшками, и прямо в нос!»

Неужели это всё, что можно передать?

Людмила Лукашко
В первый класс

В 1944 году я иду в школу, в первый класс. Помню торжество и первую нашу любимую учительницу – Екатерину Родионовну Ушакову, ее такие добрые и грустные глаза. Помню, как каждое утро перед уроками весь класс вставал в очередь и наша учительница всем вливала ложкой в наши «клювики» рыбий жир из большой бутыли, которая всегда стояла в углу.

О, какие стояли запахи в классе! Наша одежда, даже при старании наших матерей, источала этот запах. Теперь-то я понимаю, что этот «любимый» рыбий жир спас нас от рахита, от дистрофии…

Чернила наши мамы каким-то только им понятным образом изготовляли из сажи. Тетрадей было очень мало, писали на газетах, сшитых по форме тетрадей. Да, да. Это всё было.

Почему-то очень ясно помню 23 февраля 1945 года, когда нам в честь праздника раздали тонкий кусочек хлеба и прозрачный пластик сыра. Да, да, сыра. Боже мой, как мы его ели, нет, не ели, а облизывали. Старались растянуть удовольствие.

А как забыть голос подружкиной мамы тети Поли: «Девчонки, идите паренку есть».

Паренка – пареная свекла, вкуснее которой ничего не было.

Всё это было на Дальнем Востоке. Сколько к нам прибывало эвакуированных детей разных национальностей! И никакой вражды с ними. Все жалели их, помогали. Бегали вместе, босиком. Все сопки с земляникой, орехами были наши. Играли в войнушку со своими Чапаевым, Матросовым, Буденным. Ходили в разведку, скакали на ветках, и лучшей конницы я больше не видела.

Да, много, очень много помнится и не забывается. Помню, как мама, вздохнув, сняла с дверей бордовые шторы и начала кроить нам с братом шаровары.

Я ведь была еще мала́я, а до подробностей помню страницу из газеты «Правда». Внизу страницы был помещен фотоснимок только что снятой с виселицы партизанки Тани. Так назвала себя девочка – партизанка Зоя Космодемьянская. Даже помню, кусок обрезанной петли лежал рядом с телом. Как мы с братом рыдали! До сих пор вижу ясно тот снимок. Уже в институтские годы я посетила могилу Зои на Новодевичьем кладбище. Поклонилась ей.

Не могу забыть, с каким рвением мы с братом выучили

помещенные в «Правде» слова гимна Советского Союза. Распевали каждый вечер.

И вот настал этот радостный, светлый майский день, который запомнился до самых мелочей. День 9 мая.

С утра все пришли в школу. Как всегда, опоздал Васька Дергузов – сын нашей директрисы. Пришел и начал бузить и баловаться, и добрейшая наша учительница вынуждена была удалить его из класса. Урок продолжается. Вдруг с грохотом распахивается дверь, и влетает наш Васек и бросается по партам носиться и кричать: «Победа, победа!»

Мы ничего понять не могли. Учительница осела на стул, в дверь вбежали другие взрослые, рыдают и все кричат: «Победа, победа!»

Все выбегают из школы и бегут на центральную площадь. Что было!

Слезы, смех, пляски. Сейчас пишу, и мурашки по коже бегают.

Римма Сивак
Писали на обрывках газет…

В школу пошла в 1946 году. Брали с восьми лет. В здании размещался тогда госпиталь – мы, дети, часто ходили навещать раненых: читали им стихи, пели как могли, что-то рассказывали, чтобы отвлечь… Вышедшие из строя бойцы – молодые мужчины с тяжелыми ранениями – всегда нас ждали. Помню, я подарила одному раненому карандаш: он взял его и спрятал под одеяло… тогда-то я и заметила, что у него нет ног… Бывший солдат (бывают ли «бывшие»?) поймал мой взгляд, и я увидела слезы в его глазах.

Класс, в котором мы учились, был большой: огромные окна, высокие потолки – наследство от бывшей гимназии. Все стекла, правда, были выбиты и закрыты фанерой. На всех нас имелось всего три букваря (как хочешь, так и учись!), – ну а писали на обрывках газет. И только по чистописанию у каждого была тетрадь в три линеечки – но в ней очень много «стопок»: перо задевало их, выходили кляксы… Писали чернилами (зимой они от холода замерзали, ну а мы сидели в пальто – школа долгое время не отапливалась): чернильницы-непроливайки приносили из дома. А ручки деревянные были, с перышком № 86: ими писать хорошо было, удобно… Кстати, к четвертому классу мама впервые сшила мне настоящую форму из сатина – платье коричневое и черный фартук; до этого ходила как придется.

Учительницу, Евгению Николаевну, мы очень любили. Она говорила: «Учитесь хорошо! После войны всё восстанавливать надо, разруху убирать… Стране нужны грамотные специалисты! Учитесь как можно лучше».

Но не у всех получалось, поэтому к более сильным ученикам «прикреплялись» слабые. У меня было три таких девочки (обучение в то время было раздельное): я отвечала за их успеваемость по всем предметам до четвертого класса – в общем, терпение и еще раз терпение.

Однажды, правда, я не выдержала и… побила Тамару. Да, она всего лишь никак не могла написать правильно слово «дорожка», но ведь *каждый раз* не могла!.. Каждый раз, вызывая ее к доске, Евгения Николаевна спрашивала: «Ну что, Тамара, как напишешь *дорожка*?» И Тамара отвечала: «До-рож-ка», а на доске писала неизменное «дарошка». Терпению моему пришел конец – казалось, будто она просто мучает нашу любимую учительницу… В общем, решили мы эту Тамару проучить. Я подговорила

девчонок, и в один прекрасный день мы забросали ее снежками: такой вот «воспитательный метод», не сказать чтоб совершенный… А наутро меня вызвали к директору школы (замечательная женщина, но помню только фамилию – Оганова): «Почему, зачем вы так сделали?» – спросила она спокойно, глядя мне в глаза. Я объяснила, а директор попросила: «Не надо так больше. Не надо, это неправильно».

В другой раз мы встретились с Огановой в спортзале, где натирали паркет. Вероятно, я что-то делала не так – директор подошла ко мне и показала, как нужно… Ни капли снобизма, только тепло.

Что еще вспомнить… Никогда не забуду, как ждали мы большую перемену. Наша Евгения Николаевна приносила еду (время-то голодное) – каждому на парту клала темный пирожок с морковью… как вкусно было! А после этого высыпала на бумажку по маленькой ложечке – алюминиевая – сахарного песка… Когда же мы уходили домой, «проверяла» нас: у всех ли завязан шарф, застегнуты ли на пальто пуговицы, есть ли варежки…

А однажды, проходя по улице Ленина, я увидела объявление о приеме в музыкальную школу и на следующий день пришла в указанный класс: там, на лавках вдоль стен, сидело много детей. Это был 47-й год, я уже отучилась год в общеобразовательной.

У окна стоял рояль: учительница вызывала по одному – проверяла музыкальные данные. Когда очередь дошла до меня, я попросила, чтобы все дети вышли, так как я, видите ли, «не могу при всех петь». Что ж, просьбу выполнили. Прослушав меня, Галина Михайловна сказала, что я принята в первый класс на фортепиано: «Передай родителям», – я и передала: сначала маме, потому как папа всё время работал, и даже ночью, – он ведь был начальником угрозыска: тогда в Рязани орудовала банда «Черная кошка» (забегая вперед, скажу, что когда выйдет фильм с Высоцким «Место встречи изменить нельзя», отца моего, Тимофея Александровича Сивака, будут сравнивать с Жегловым).

В общем, когда папа узнал, что у меня есть способности к музыке, решили покупать пианино. Решить-то решили, а где деньги взять? Мама тогда на простынке нарисовала клавиатуру, а вместо черных клавиш пришила спичечные коробки. Так я занималась, а через год отец привез… старинное фортепиано с подсвечниками: продал его ветврач – в рассрочку, родители много лет долг отдавали.

Учительница музыки у меня замечательная была – Зинаида Сергеевна Ижевская. Она всегда много играла, я быстро всё запоминала, поэтому нот никаких не знала. Но однажды всё

открылось. Получив задание на лето, я уже почти вышла из класса, как вдруг слышу: «Римма, вернись-ка. Скажи, какая нота находится на третьей линеечке?» А я и не знаю… В общем, пока не выучила всех нот, Зинаида Сергеевна на уроках моих сама ничего не играла… а я так мечтала стать пианисткой! Даже стишок написала, наивный, конечно: начинался он со слов «*Давным-давно хотелось мне учиться, на пианино так хотелось мне играть*…», ну а заканчивался вполне в духе времени: «*Но одного желанья мало, и чтобы нам прекрасно так играть, должны мы очень много все учиться, учиться так, как Ленин завещал*…»

Детство наше было и голодным, и холодным, но, несмотря ни на что, мы радовались жизни, стремились учиться, чтобы стать врачами, учителями, инженерами… Мы понимали: *стране нужны грамотные люди*. И чувствовали, что государство заботится о нас, верили, как ни смешно теперь говорить так, «в светлое будущее»: самое главное, в будущее без войн.

Елена Косякина
Мужская школа

Уроки чистописания стали самыми трудными для меня. Зато я хорошо, быстро и с выражением читала, отлично считала, писала довольно грамотно и могла рассудительно отвечать на уроке. Нина Григорьевна махнула рукой на мой почерк и не мучила меня. Каждый день в школе было по четыре или пять уроков: чтение, чистописание, а затем русский язык, арифметика, рисование, пение или урок физкультуры. Уроки длились сорок пять минут. На переменах все должны были выходить из класса в коридор и чинно парами ходить кругами по коридору до звонка на следующий урок. В центре такого хоровода дежурили учителя, которые зорко следили за порядком. Хорошо представляю себе, что творилось на переменах в соседней 186-й мужской школе.

Когда я училась уже в седьмом классе, мне довелось однажды попасть в эту школу на перемене. У нас был сдвоенный урок физики. Пожилой учитель Иосиф Захарович попросил меня на большой перемене сбегать в мужскую школу к тамошнему учителю физики за кассетой с учебным фильмом. Я довольно храбро вошла в вестибюль этой школы. То, что я увидела, заставило меня похолодеть. Вокруг дрались, гонялись друг за другом, орали и хулиганили сотни мальчишек. Я почувствовала дурноту и закрыла глаза. Мне показалось, что они все сейчас бросятся на меня и убьют! Действительно, с криками «Девчонка! Девчонка!» они обступили меня сплошным кольцом, так что мне стало трудно дышать. Но бить не били.

Через некоторое время дежурная по этому этажу учительница заметила какую-то странность в поведении воспитанников. Никто не дрался. Стояла относительная тишина, такая здесь редкая, и все сбились в кучу вокруг чего-то. А что там такое внутри круга? Может, кого-то убивают? Она с трудом пробилась в центр и увидела девочку в полуобморочном состоянии. «Как ты попала сюда? Кто ты?» Я объяснила. Учительница взяла меня за руку и отвела в кабинет физики. Все мальчишки почтительно шли за нами. Мне дали коробку с фильмом, учительница проводила меня за порог школы, и я пошла восвояси, удивляясь, что осталась жива.

Первое полугодие я закончила на все пятерки и, как отличница, получила в школе ценный подарок: две тетради в клеточку и косую линейку, ручку, ластик и карандаш. Это было целое богатство. В последний учебный день нас отпустили

пораньше, после второго урока. Я пошла домой одна, хотя обычно за мной приходила бабушка: на улицах было неспокойно, тем более приходилось идти мимо той самой мужской школы № 186. Я гордо шла, радуясь подарку, и, желая побыстрее попасть домой, пошла через темную подворотню между нашим домом № 4 и соседним № 6. В тот же миг, получив толчок в спину, я упала в сугроб. Какие-то мальчишки схватили мой портфельчик, вытряхнули содержимое в снег, забрали мой подарок и, еще раз надавав мне подзатыльников, убежали. Я посидела, поплакала, собрала всё, что осталось, в портфель и стала думать, что делать дальше. Очень было жалко школьной награды. Ведь дома могли и не поверить, что я ее получила. И тогда я решила возвратиться в школу и попросить у Нины Григорьевны еще один такой же подарок.

Придя в школу, я поняла, что опоздала. Класс оказался запертым. Нина Григорьевна уехала в Косино, домой. И тогда я решилась постучать в кабинет директора школы. Нашим директором тогда была симпатичная пожилая еврейка, Анна Львовна Малисова. (Ее фамилию я сегодня, конечно, не помнила, а взяла из сохранившегося табеля первого класса.) Сейчас я совершенно не представляю себе, как смогла пойти к директору школы, как отважилась? «Войдите!» – услышала я и вошла. «Что тебе, девочка? – спросила Анна Львовна. – Ты из какого класса?» – «Я Лена Синельникова из первого “Г”», – ответила я и рассказала о своей беде. Анна Львовна выслушала меня и сказала: «Ты молодец, что пришла. У меня случайно есть еще один такой набор. Бери! Да, а где ты живешь?» Я назвала свой адрес. Тогда Анна Львовна попросила меня немного подождать и обещала проводить меня домой.

Бабушка поглядела на часы и собралась идти за мной в школу. В это время раздался звонок в квартиру. К своему глубокому удивлению, бабушка увидела на пороге директора школы, крепко держащую меня за руку. «Боже мой! – испугалась бабушка. – Что случилось? Заходите, пожалуйста!» – спохватилась она. «Ничего, ничего, не волнуйтесь! Ваша внучка молодец! Отличница! А я просто проводила ее домой. Нам было по пути». Потом, когда Анна Львовна ушла, я всё рассказала бабушке и маме. До сих пор сама себе удивляюсь. От природы ужасная трусиха, я всё же не один раз в жизни была так настойчива и решительна, как тогда в день окончания первого полугодия в декабре 1944 года.

Иосиф Рабинович
Девять – это много

1 сентября бабушка повела меня в школу, надо было Садовое кольцо переходить. Неприятности начались сразу, правда, ни я, ни бабушка о них не знали. Замечательная учительница скончалась в ночь на 1 сентября, и директор в спешке заменил ее другой. Я и сейчас помню, что звали ее Тамара Дмитриевна. Первый урок – знакомство, рассказ, как надо сидеть, да это все знают, проходили…

Второй урок был уже предметным – арифметика. Тамара Дмитриевна нарисовала мелом на доске кружочек и спросила: «Ребята (а учились мы без девочек), сколько здесь кружочков?» Мой шустрый одноклассник протянул руку и сказал «один». Для меня это было ясней ясного, но учительница сказала ему: «Молодец, Чекрыжов!» Вот люди уже пятерки получают, а я зеваю, дело-то вроде простое. Учительница нарисовала девять кружочков и снова спросила: «Сколько?» Я тут же поднял руку и бодро заявил: «Девять!» Учительница взглянула на меня как-то странно и, о ужас, сказала: «Не девять, а много». Сами понимаете – свет для меня померк: значит, двойка. Что было на уроке после – не помню, я все время пересчитывал чертовы кружочки на доске, и все выходило – девять. Уроки кончились – я вышел к бабушке и не решился признаться в позоре. Дома уже ждали нас родители, отпросившиеся с работы, чтобы отпраздновать приобщение сына к знаниям. Они так гордились мной, ведь я уже читал и умел считать. Я глядел на улыбающихся маму с папой, и тут бабушкины уроки нравственности возымели действие – не мог я обманывать этих счастливых и любимых мною людей.

Поэтому я просто разревелся и повинился, что схватил двойку. Без всякого волнения папа попросил рассказать все как было. Я изложил как на духу и закончил словами: «Папа, там, честное слово, было девять кружочков!»

И тут, к моему изумлению, родители и бабушка расхохотались. Но отец быстро успокоился и внятно объяснил мне, что не все дети умеют считать и им сначала надо рассказать, что такое один и что такое много. Объяснял папа всегда доходчиво – он уже тогда был доцентом Бауманского. Поэтому я охотно поверил ему, что двойки у меня, наверное, никакой нет, и не надо лезть вперед – пусть другие осваивают то, чему меня бабушка научить успела.

Вот с той поры я и не привык лезть вперед за наградами,

особенно если для этого нужно локтями толкаться. И уж конечно, запомнил, что девять, в отличие от одного, – это много.

Борис Иофьев
Соответствует линии партии

С пятого по седьмой класс я учился там же, где в первых двух классах до войны: школа № 128 на 2-й Тверской-Ямской, теперь чисто мужская и семилетняя. Я с благодарностью вспоминаю классного руководителя – Пелагею Лукиничну, немолодую очень бедную женщину с двумя детьми, яркого и заразительного энтузиаста своего призвания – арифметики и воспитания. Дальше – школа № 127 (у Грузинского Вала).

Видимо, невзгоды и почти постоянное недоедание в течение нескольких лет подорвали здоровье, сделался жестокий фурункулез, начинался туберкулез, я даже получал УДП – усиленное дополнительное питание: подростки приходили на обед в столовую на улице Горького, где потом располагался вкусный ресторан «Баку». Но главное – я был патологически туп, да и учили почти всему плохо.

На школьных уроках имя Сталина всплывало часто, и было непохвально написать сочинение, не упомянув его. Например, завершая сочинение о Катерине из «Грозы» А.Н. Островского, я вполне мог измыслить фразу вроде: «Только при Советской власти под руководством великого Сталина осуществилось стремление женщины к свободе».

В десятом классе случилась неприятность: для сочинения по «Поднятой целине» Шолохова я за истоками коллективизации обратился к сталинскому «Краткому курсу истории ВКП(б)» и начал с того, что правительство, озабоченное положением беднейших крестьян, разрешило какие-то (точно не помню) действия по раскулачиванию. Старая и не вовсе безграмотная учительница заявила классу, что мое сочинение содержит троцкистский взгляд на коллективизацию, она его осуждает и передает на суд учительского совета школы. Дело подогрелось неприязнью ко мне классной руководительницы – ей не нравилось, что я всё время улыбаюсь.

Дело уже шло к исключению из школы, но, к счастью, учитель истории Грановский объяснил на совете, что мое изложение соответствует партийному.

В школе Грановский очутился недавно; будучи изгнан из какого-то института (видимо, как «космополит»), он резко выделялся неформальным стилем ведения урока, любил рассказать что-то занятное сверх учебника. Однажды он вызвал меня к доске рассказать о личности Ивана Грозного. Я уже был

наслышан о нем, но тем не менее стеснительно изложил содержание тех нескольких строк, которые в учебнике рисовали его прогрессивным борцом с самостийностью бояр. Видно было, что учитель не того от меня ждал.

Во время выпускных экзаменов Грановский болел, и экзамен проводил директор школы, тоже учитель истории, но бесцветный. Он многим поставил более низкие оценки, чем ожидалось.

Несколько учеников и я с ними после экзамена пошли жаловаться к Грановскому домой. Застали его лежащим в беспомощном состоянии с сильно распухшими ногами. Он утешил нас тем, что годовые оценки выставлять будет он, и с учетом оценок в четвертях получится то, что заслуживаем. Но школьная клика добилась своего: приблизительно через год он был арестован и вскоре погиб в лагере.

Шла борьба с «космополитами». В моем немногочисленном окружении были арестованы отцы двух моих друзей (у одного из них арестовали и мать, и он остался вдвоем с младшей сестрой, отец другого повесился в лагере), арестовали приятеля моего брата. Внешние обстоятельства и школьные приключения вселяли мне чувство безнадежности, лишали оптимистической воли к образованию. Школа была мне тягостна, на выпускной вечер не пошел.

Анна Сальникова
Сбежать с уроков

В нашей школе было шесть десятых классов. Надо заметить, что в те годы школы были раздельными: мужские и женские. В старших классах обучение было платным, но дети военных и дети инвалидов учились бесплатно. Я относилась к одной из этих категорий. Я училась в 10 «А» классе. До сих пор не могу вспомнить, чтобы какой-то класс был «плохим» или «хорошим». Но позже, из уст учителей, мы узнали, что наш класс был самый лучший и по успеваемости, и по дисциплине. Пока… мы не выкинули нечто из ряда вон выходящее. Я и сейчас не могу понять, как это мы отчаялись на такое?

30 апреля 1955 года. Мы отсидели 2 или 3 урока, и вдруг по классу пронеслось: сбежать с уроков. Нет, это было произнесено не вслух, а как-то так, потихоньку, как бы между прочим. И все дружно поддержали. И через запасной ход все до единого вышли и растворились кто куда.

Дома надо было помыть полы перед Великим Первомаем. Прежде чем мыть полы, обычно наводишь «лоск» по мелочам. Я протирала каждый лист огромного цветка – фикуса, когда вдруг вбегает одноклассница и, задохнувшись то ли от бега, то ли от предстоящего ужаса, сообщает, что мы должны «срочно собраться в школе». Так, по цепочке, обегая друг друга, стали собираться мы в школе. А школа была далековато. На сборы ушло около часа.

Явка была сто процентов, то есть пришли абсолютно все. Нас закрыли в каком-то кабинете, продержали часа два, затем стали спрашивать: кто был инициатором побега «в канун Первомая»? Все молчали. Раз не нашлось виновника, то нас продержали еще два часа. Здесь мы и сами заинтересовались: «А действительно, кому это пришло в голову?» Но молчание продолжалось. И тогда стали вести опрос каждого под «честное комсомольское», а для «беспартийных» под «честное слово». Все как один произнесли эти слова, равнозначные КЛЯТВЕ! «Нет, значит, виновника?! Сидите еще час!» Мы уже не рады были побегу, так как почувствовали, что время потеряли больше, чем если бы отсидели все уроки по-честному. Чувствовалось внутреннее недоумение, но никто не наезжал друг на друга. Молчали «как партизаны». Так ничего не выбив из нас, отпустили домой.

Родителей не вызывали в школу. Шума в школе не поднимали. Но мы долго сами все интересовались: кто же подал такую идею? И лишь несколько дней спустя оказалось, что одна

ученица в шутку кому-то предложила: «…А давайте сбежим с уроков».

Так «шутка» стала явью. Но какая была СОЛИДАРНОСТЬ!!! Если вспомнить, какие это были времена, то это выглядело святотатством в КАНУН 1 МАЯ!!! Преступление!!!

Но все обошлось. Видимо, решили не выносить сор из избы?

Аркадий Мильковицкий
Независимый пацан

Я почти все лето провел у бабушки в Моспино. (Небольшой шахтерский городок Моспино, по железной дороге недалеко, где-то не больше двадцати километров, от столицы Донбасса г. Сталино. Там у бабуси был свой маленький домик и садик. Там – моя Родина, я там родился.) И именно сегодня бабушка (Стрельцова Вера Назаровна) привезла меня домой, в город. И вот только сегодня я узнал от нее, что, оказывается, меня зачислили в первый класс мужской средней школы № 1. По дороге домой мы сначала зашли в парикмахерскую, где меня постригли наголо, под машинку. Мне, конечно, очень жаль было своих выгоревших на солнце светло-русых волос, которые мамочка все пыталась закрутить на папильотки, чтобы эти жалкие волосенки казались хоть немного кудрявей и пушистей. Но ни моя вдруг образовавшаяся безволосая, лысая головешка и ни сама эта унизительная процедура (отсечение волос от головы) не смогли омрачить мою радость. Ведь если человека принимают в школу, значит, он уже не какая-нибудь там маленькая детка, не черт знает что и сбоку бантик, а – УЧЕНИК! УЧАЩИЙСЯ! Можно сказать, – ШКОЛЬНИК! Да! Стало быть, подрос, созрел, как физически, так и вообще… Теперь, наконец, я – такой же, как и они, эти мальчишки с нашего двора, которые вечно не пускают меня в свою компанию. Вот, брательнику моему почему-то можно, а мне – уже нельзя! Только потому, что он родился до войны, а меня угораздило появиться на свет в самый разгар оккупации. И вот странно, почему так? Наш двор, почти в самом центре города, прямо возле оперного театра, с трех сторон огороженный огромными домами, – наверное, самый большой в городе, а пацанов, моих сверстников, – раз, два и обчелся. Старше – есть! Младше – есть! А таких, как я, – и вовсе нет! А девчонок – навалом!

Чуть что, сразу…

– …Маленький ишо! Понял? Маленький, тебе горрят. И чеши отсюдыва! Понял? Катись колбаской по Малой Спасской, пока цел! – И камнями в мою сторону. Чтоб не бегал за ними.

– Пшел! Без сопливых обойдемси! Во как дам щас по кумполу, своих не узнаешь! Шмакодявка!

А чем я хуже? Чем? Ну, теперь-то я имею полное право… Пусть только попробуют!..

Я очень рад, что я уже в городе. Но пока всем домашним не

до меня, мне не терпится как можно быстрее смыться из дому, обрадовать народ своим приездом. Сегодня, как только мы с бабушкой вошли во двор, я сразу заметил, что недалеко от нашего подъезда появилась огромная куча свежего песка, и в ней копошилась целая орава детей, от мала до велика. Мне как-то сразу захотелось, чтобы вся детвора нашего двора полюбовалась мною, чтобы все заметили, как я подрос, как я окреп, как я загорел, каким я стал красивым и, в общем, взрослым.

Для солидности я надеваю (естественно, без спроса) здоровенные трусы моего старшего брата. Они мне по колено и очень широкие, но, чтобы не спадали, я вытаскиваю из них край резинки, и, как делала в таких случаях моя бабушка, сокращаю длину ее простым узлом. Сверху напяливаю на себя майку (с того же плеча), все вырезы которой мне до пояса. Пояс, то есть резинку трусов, я спускаю намного ниже пупа, до предельного уровня, чтобы трусы закрывали мои некрасивые коленки, отмеченные, как всегда, бриллиантовой зеленью или йодом. И вот уже в зеркале отражается не хлюпик какой-то, не маменькин сыночек, а вполне самостоятельный, независимый пацан, в сандалиях на босу ногу, сияющий своей отвратительной, совершенно незагорелой макушкой. И выглядит он, по моим тогдашним представлениям, вполне достойно.

Я кричу маме, чтоб закрыли за мной дверь, и, проходя мимо вешалки, беру из отделения для зонтов свою заветную палочку, точнее – тоненькую, но упругую трость, без которой я на улицу давно уже не хожу.

Вячеслав Ищенко
Полинушка

Невероятно, но факт: в те годы в Гурьеве, как мне сейчас представляется, не было плохих людей! Полагаю, что так же думают все, кто помнит то время. Никогда я не слышал, чтобы взрослые кого-либо ругали или устраивали скандалы при детях. Наверное, доброты требовало само время. Война и первые годы после ее окончания были временем неслыханного ни до, ни после человеческого братства, взаимного внимания и взаи– мопомощи.

Да, помню, как со страхом говорили о бандитах, о «черной кошке», как запирались на все засовы, но соседи, друзья, знакомые сплошь были настоящими и верными товарищами моих родителей.

Впрочем, нет. Были редкие исключения. Об одном из них придется рассказать. Это была, как ни странно, моя первая учительница. Не помню ее фамилии, и даже отчество забылось. Но имя осталось в памяти – Полина.

Это была уже совсем немолодая, очень строгая женщина с морщинистым лицом и косами вокруг головы. Мать привела меня к ней в первый класс в 1947 году. Первого сентября мы шли по городу и, не дойдя до школы, увидели толпу. Люди обступили лежащего на земле мальчика. Это был нищий оборвыш дошкольного возраста. В момент, когда подошли мы, над ним уже склонилась врач из стоявшей неподалеку машины. Причем малыш продолжал лежать на сырой земле. Под ним была лужица – мальчик описался. Потом его взяли на руки и понесли к машине. Мне было страшно расспрашивать о нем матушку. Так я и не знаю, что случилось с тем малышом. Может быть, у него был голодный обморок. А возможно, он просто спал. Но почему прямо на дороге?

Это было 1 сентября 1947 года, в мой первый школьный день. Случай с мальчиком, потерявшим сознание, каким-то непостижимым образом сказался потом на моем представлении о школе. Если сказать просто, школу я недолюбливал.

К тому же учительница наша, Полина (условно говоря – Александровна), буквально с первого же дня проявила ко мне некий повышенный интерес. Она приходила к нам домой, разговаривала с моей матушкой, что-то говорила ей о моем неадекватном поведении. К чести моей матери, критика со стороны Полины Александровны никак не отражалась на мне дома, в семье. Мать мне попросту ничего не говорила про то, что

ей рассказывала пожилая учительница.

Однажды во время одной из бесед с моей матерью Полина Александровна потребовала, чтобы я предстал перед нею. Меня позвали со двора. Я зашел и встал чуть поодаль, у порога.

– Подойди ближе, – строго сказала Полина Александровна.

Я подошел.

– Еще ближе, – повелела учительница.

Мне пришлось приблизиться почти вплотную к «Полинушке», как я ее звал про себя. При этом, видимо от волнения, я оперся руками в бока.

– Ты что, танцевать собрался?! – закричала на меня Полина Александровна. – Опусти сейчас же руки.

Что мне оставалось делать? Опустил, конечно. Полина Александровна меня крепенько поругала. Кажется, речь шла в основном о том, что я неаккуратно пишу палочки и крючки в тетрадях. О буквах тогда не было и речи, ведь шла первая четверть первого класса. Но буквы я уже давно знал, и поэтому крючки мне были неинтересны.

Помню, как она ставила меня на колени перед всем классом. Стоять было жестко. Спасибо еще за то, что соли не посыпала на пол. Говорили, что такое раньше она практиковала. Ну не нравился я ей, бедняге, и все тут. Ничего не поделаешь.

Прошло несколько дней. Полина Александровна потребовала, чтобы мой отец обеспечил весь класс новенькими букварями. Эта просьба была выполнена. Дело в том, что отец работал председателем Облрыболовпотребсоюза и буквари он достал по своим каналам. Хотя это было тогда нелегко даже для него.

Еще спустя какое-то время Полина Александровна (может, она и впрямь была Александровной по отчеству?) подозвала меня к своему столу и сказала буквально следующее:

– Передай отцу, чтобы приготовил мне картошки, капусты и других овощей. И фрукты, какие возможно. Я приеду за ними завтра вечером.

Я передал все слово в слово матери.

И вот наступил вечер следующего дня, когда Полина Александровна на подводе (!) приехала к нашему дому. Навстречу ей вышла моя мать и так ее пристыдила, «спустила на нее таких чертей», как потом рассказывали очевидцы, что телега вместе с Полиной Александровной громко загрохотала по неровностям нашей улицы.

Мать возвратилась домой, где я тихо сидел на диване, ожидая финала. Она была разгоряченная, но явно довольная собой. В красках матушка рассказала, как «отшила эту нахалку», как буквально «показала ей от ворот крутой поворот».

Наивная Полина Александровна! Она-то думала, что дома у председателя крупной торговой организации целый склад всякой еды. А у нас, надо сказать, порой не было даже самого необходимого, например сахара. Кстати, в очередь за хлебом мы ходили так же, как и все остальные жители нашего двора.

С тех пор я у Полины Александровны не получал оценки выше тройки. Даже по пению и по рисованию, моим любимым предметам, где я считался очень способным, в табеле стояли тройки. Табель за год был коричневый, изготовленный, как ни странно, типографским способом на очень плохой бумаге, на которой просматривались даже деревянные частички.

Неудивительно, что родители перевели меня в другую школу, где я учился вполне прилично. А в третьем классе, уже в Доссоре, по итогам года был даже удостоен похвальной грамоты.

А Полина Александровна, которая жила недалеко от нас, вслед за тем моральным ударом, который на нее обрушила моя мать, пережила еще одно потрясение – ее дом сгорел. Я был на том пожаре среди множества зевак. Пожар случился, когда я учился уже в другой школе.

Мать говорила, что Полина Александровна была чуть ли не старейшей учительницей Гурьева. За успехи в народном просвещении вскоре после дикого случая с телегой ее наградили орденом Ленина. Я по радио слышал, когда диктор зачитывал Указ о ее награждении.

«Учительница первая моя» была, видимо, очень несчастным человеком. Я ее не боялся, но она сделала мне некую странную «прививку», вызвавшую детскую ненависть к школьным «угнетателям». Далеко не ко всем, конечно. В более старших классах это вылилось в упрямое стремление не повиноваться некоторым преподавателям во что бы то ни стало. По возможности делать многое вопреки тому, что они требовали. Иногда я их прерывал и бесцеремонно поправлял прямо во время урока.

По окончании седьмого класса, перед самым нашим отъездом из Казахстана в Мурманскую область, в соответствии с правилами того времени было необходимо взять в школе мое личное дело и получить характеристику от классного руководителя. Характеристика была ужасная: грубиян, хулиган, невоспитанный человек.

Моя матушка, царствие ей небесное, и в этот раз поступила не очень-то педагогично. Она пришла в школу, поругала учительницу и на ее глазах порвала написанную ею характеристику. Я был тут же, рядом. Мы повернулись и ушли. В Мурманской области, а точнее в поселке Ура-Губа, при

поступлении в школу у меня характеристику никто не спросил.

Кажется, я и сейчас не полностью преодолел это странное свойство характера – поступать иррационально, в противовес тому, что принято и «как надо». Делать «назло». Конечно, не всем. Но в первую очередь – себе самому. Быть или, по крайней мере, казаться «плохим» мне хотелось еще очень долго. Даже в зрелые годы. Отличники, люди успешные, бодро шагающие от победы к победе, и сегодня мне в чем-то подозрительны. Жена квалифицирует это мое качество просто природной вредностью. Вероятно, она права.

Александр Никифоров
Богатырь

Я сижу в школьном классе и рисую. Но сижу не за партой, как все ученики, а за маленьким столиком, поставленным в сторонке специально для меня. Потому что мне четыре с половиной года, потому что идет война, потому что папа на фронте, а мы с мамой в эвакуации в городе Горьком и живем у родственников, а еще потому, что моя троюродная сестра Инна привела меня с собой в школу, где она учится, так как меня сегодня не с кем оставить дома.

Но это все неважно. А важно то, что я сижу и рисую богатыря. Я всегда рисую богатырей. Это самые сильные и смелые люди. Их никто никогда не победит. И еще они очень добрые – всегда защитят маленьких и слабых.

Все мои богатыри похожи на богатырей из книжки про Руслана и его невесту Людмилу. Я без конца могу разглядывать картинки из этой книжки. Поэтому всегда рисую богатырей. И всегда начинаю рисовать их с сапог. Сапоги у меня получаются точь-в-точь как настоящие. Я знаю, что голенища у сапог в самом низу надо рисовать «гармошечкой», поэтому в этих местах я вместо прямых линий старательно вывожу зигзаги.

Конечно, сапоги я размещаю в нижней части листа бумаги, так как после того, как я заканчиваю их рисовать, то начинаю постепенно пририсовывать к ним все остальное – штаны, кольчугу, бороду, шлем. В свою очередь появляются руки, а в них – щит и меч.

Сейчас я уже не смогу внятно объяснить эту особенность моего детского творчества. Но, очевидно, ребенок интуитивно чувствовал, что рисовать надо именно в такой последовательности. Теперь, прожив целую жизнь, в течение которой всегда надо было все и всем объяснять и за все постоянно оправдываться (из-за чего, кстати, становишься законченным демагогом), я бы стал рассуждать следующим образом: вот, мол, богатырь черпает силу от матушки-земли, а значит, он и начинаться должен от нее, и т. д. и т. п.

Возможно, большинство людей начинает рисовать богатыря с головы. И что? На некоторое время его голова как бы оказывается одиноко висящей в воздухе. Это лучше? Ну, не знаю, не знаю…

Итак, я сижу в классе и рисую богатыря. Сапоги уже почти готовы. Осталось только погуще зачернить голенище второго сапога.

– Ну, покажи, что ты там рисуешь? – раздался надо мной громкий голос. Я понял, что это подошла ко мне учительница, и немного отстранился от рисунка, давая возможность его получше разглядеть. Не поднимая головы, пробурчал, что рисую богатыря.

– Где же тут богатырь? Я вижу только сапоги! – недоуменно заявила учительница и, не дожидаясь моего ответа, вернулась к своим ученикам.

Я даже не поверил своим ушам. Что она сказала? Как это – «только сапоги»? Неужели не видно, что это начало богатыря? Разве этого может не понимать УЧИТЕЛЬНИЦА? Она что, сама никогда не рисовала богатырей?

Никто из взрослых еще меня так не обижал. Ну надо же: «только сапоги»! И это было сказано МНЕ, чьи рисунки всегда хвалили домашние, МНЕ, кто лучше всех приятелей с нашей Ремесленной улицы рисовал богатырей! Я сидел, переживая обиду, которая все разрасталась и разрасталась во мне. Казалось, я сейчас лопну от обиды. Моя голова все ниже опускалась над столом. Рисовать больше не хотелось ни капельки. Карандаш замер в руке, уткнувшись в одну точку, а потом и вовсе выпал из пальцев.

Не-е-е-т! Мне здесь больше делать было нечего! Отодвинув стул, я вылез из-за стола и выбежал из класса. На улице было тепло, все ходили без пальто, и я сразу выскочил на крыльцо. Скатился со ступенек и бросился прочь от школы. За мной с криком неслась Инна.

Дорогу домой я, конечно, не знал. Просто бежал, лишь бы оказаться подальше от школы. Поэтому, может быть, даже лучше, что десятилетние девочки бегают быстрее, чем мальчики, которым недавно исполнилось четыре с половиной года.

Вечером Инна с плачем заявила взрослым, что больше меня с собой в школу не возьмет, – столько стыда она натерпелась с «этим сумасшедшим». Больше я в этой школе не появлялся. Как-то все устроилось, к моему и Иннину удовольствию.

Я давно уже не рисую богатырей. Может, и напрасно. Но я уверен, что дети не перестают и не перестанут их рисовать, неважно, откуда начиная рисунок, с сапог или с головы. Ведь богатыри – это самые сильные и справедливые люди. Они всегда защитят маленьких и слабых.

Вячеслав Кабанов
Валентин Панкратьевич, необыкновенный директор

В шестом классе я стал погружаться в беспризорность. 6 «А» тоже походил на улицу, и в нашем классе появился Эрик Мазурин, взрослый человек. Высокий блондин с лицом нестрашным, он носил синий в полоску пиджак. В свои шестнадцать лет Эрик уже избрал профессию, а в школе уклонялся от тюрьмы. С иными одноклассниками он изредка здоровался – несильным шлепком ладони по щеке. Уроки английского занимали Эрика более других, он смотрел на Веру Михайловну с большим интересом и невпопад произносил какие-нибудь два слова, неясные по смыслу. Вера Михайловна сбивалась с английской речи и предлагала Эрику выйти из класса. На это Эрик отвечал:

– Но я красив и молод!

Я отворил дверь класса и столкнулся с Эриком. Он поднял руку для приветствия, а я отпрянул и стукнулся виском о косяк. Ничего не случилось, но меня обступили и повели в медпункт. Потом отправили домой с провожатым.

Назавтра меня допрашивал директор, желая сбыть Эрика в тюрьму:

– За что он тебя ударил?

– Он не ударил.

– Как не ударил! У тебя сотрясение мозга.

– Я сам ударился.

– Все видели, что он тебя ударил.

– Да нет… Он просто… Он всегда так…

– Бьет?

– Да нет…

Не знал я, как сказать. Директор же так понимал, что я отмазываю Эрика из страха перед ним, и дожимал. Но я ведь правду говорил. Ведь Эрик никого не бил. В его шлепках была доброжелательность. И я не мог сказать неправду.

А Эрика из школы удалили, и он предался воровскому делу, пока не пропал совсем. Я же вовсе перестал учиться, и мой табель наполнился двойками. Избыток их меня нервировал, я начал двоечки стирать красным ластиком, но советские чернила были лучшими в мире, и на месте двоек получались дырки.

За прогулы меня отконвоировали в кабинет директора. И тут уж о директоре самое время сказать особо.

Валентин Панкратьевич Мясин, директор наш, был личностью весьма необыкновенной. На иных директоров или учителей никак не походил. До него был Исаак Лазаревич, и он был директор как директор – седой и в шинели. А Валентин Панкратьевич явился – строен, высок, стремителен, бел лицом и черен волосом, бегущим легкими волнами по разным сторонам прорезанного бритвою пробора. Он облачал себя в костюмы невиданной доселе красоты и свежести. Но главное – лицо.

Если кто-то видел в телевизоре английского Шерлока Холмса, то могут себе представить Валентина Панкратьевича. Только лицо у него было еще резче, асимметричнее и дьяволоподобней. Ну а в глазах играла адская веселость. Говорили, что до школы он служил не знаю кем в стране Албании.

Директор посадил меня на стул, спросил про мать. Я ответил.

– Отец?

– Нету.

– А где он?

– Не знаю.

– Но он был?

– Нет.

– Как это… Он что… погиб на фронте?

– Нет.

– А где же он?!

– Нету.

Валентин Панкратьевич задумался. Он сидел спиной к окну, лицо его было в тени, и сквозь хрящеватые раскинутые уши просвечивало солнце.

– Он что, репрессирован?

Вопроса я не понял.

– А мать что говорит?

– Ничего.

– Но ты у матери спрашивал?

– Не спрашивал.

– Но почему?!

Я чуть пожал одним плечом, а Валентин Панкратьевич немного похрустел ушами.

– Ну хорошо, посмотрим табель…

Солнце ушло, и лицо директора стало виднее. Брови его взлетели.

– Это что?! Кто стирал?! Ты?!

– Я.

– А ты знаешь, что табель – это государственный документ? Знаешь, что бывает за подделку государственных документов?

Под суд пойдешь!

Не помню, чтобы я перепугался. Мне скучно было, и я хотел на улицу, на волю. Не знаю, вызывал ли директор мою маму, а если вызывал, ходила ли она… Мама не любила, когда ее куда-то вызывали.

Не сразу, но в седьмой класс я все же перешел, а семилетка считалась тогда вполне достаточным образованием – неполным средним. Поэтому директор Валентин Панкратьевич стал терпеливо ждать начала лета, когда мы с ним расстанемся навеки. Однако час настал, и он прочитал мое заявление.

– Что?! Кабанов – в восьмой класс?!

Но он же ведь не знал, что я из хорошей семьи, где не то что десятилетка, а даже институт считался обязательным. В восьмой класс я все-таки пришел, и тут что-то со мной случилось. Вернее, Вовка Митрошин меня надоумил. Он способ изобрел, как прилично учиться без мук. И я перенял этот способ. Благо у нас была вторая смена.

Часам к двенадцати ночи, когда все в доме засыпали, я садился к столу, засветив несильную лампу, и делал *все* уроки… Ну, почти все. Конечно, для этого пришлось записывать домашние задания, чего я прежде не имел в привычке. На все мои уроки уходило два часа. Потом я ложился и спал сколько хотел, иногда до самой школы.

Зато за партой я испытывал блаженство. Мог слушать ход урока, мог думать о своем, читать, беседовать с соседом… Я был свободным человеком, готовым отстоять свою свободу ответом на любой вопрос. Но объяснение нового старался слушать, поскольку это упрощало домашнюю работу, а по устным предметам и вовсе ее отменяло.

Только урок истории вводил мою свободу в рамки, потому что историю преподавал сам директор. Он вынудил нас иметь тетради по истории, и в ходе урока приходилось все время что-то писать: то план, то даты, то вопросы, то выводы, а в завершение каждой темы Валентин Панкратьевич торжественно и грозно нам диктовал высказывания на этот счет самого товарища Сталина и предлагал потом эту запись заключить в красную рамку или же всю ее подчеркнуть красным.

Валентин Панкратьевич Мясин не дождался, пока мы окончим школу. Почему и куда он ушел, я не знаю. Это был исторический 1954–1955-й – послесталинский – учебный год. Похоже, что историк наш попал под колесо истории. Уже обозначился слом, и первые ученики сталинских университетов иной раз из гнезда выпадали. Но первая четверть десятого класса прошла еще при нем. Школа перестала быть мужской, и в каждом

коридоре из двух уборных осталась нам одна. Но десятые классы не воссоединили. На первой же встрече с директором этот вопрос прозвучал. И Валентин Панкратьевич ответил:

– Коваль, ты о чем говоришь? К вам девочек пустить? Ты что же, хочешь, чтобы мне при школе еще родильный дом открыть?

В последний раз я видел нашего директора году в пятьдесят девятом, когда уже пришел из армии. Валентин Панкратьевич сутулился рядом с моим домом. Он думал что-то свое и немного шевелил губами. В руке у него была авоська с кефиром и белым батоном. Двубортный костюм его увял, и лацканы понуро загибались книзу. Меня он не заметил.

Куда же делись вы потом, Валентин Панкратьевич, сталинский сокол, наш славный директор 657-й мужской средней школы, что до недавних пор была на улице Чаплыгина, бывшем Машковом переулке? Только номер у нее потом стал другой…

Ян Хуторянский
Двое на одного

Приближалось первое сентября, родители записали меня в школу неподалеку от Куликова поля, а учебников для седьмого класса и портфеля не было. Папа снял с антресолей «зингеровскую» швейную машину и выразительно посмотрел на меня. Дело в том, что незадолго до этого я решил проверить, есть ли у меня воля. Подставив под иглу палец, крутанул ручку. «Подвиг» был примерно «отмечен» родителями. Запомнил надолго…

Подобие портфеля, который застегивался на большую пуговицу, сшили из старого пальто. С лицевой стороны был пристрочен кусок клеенки, которой покрывали кухонный стол. По моей просьбе бабушка расставила внизу мои брюки, чтобы получились клеши, которые тогда носили многие одесские мальчики.

В классе меня встретили, как любого другого новенького. Прочитав позднее очерк Помяловского о нравах бурсы, вспомнил свою послевоенную одесскую школу.

За партой сидело по трое ребят. С наступлением холодов пальто разрешали не снимать, отчего становилось еще более тесно и неудобно писать. Меня подсадили к двум второгодникам.

На перемене хотел подкрепиться, поделившись с соседями, но они выхватили сверток и разделили «трофей» между собой. Нагло жуя, пригрозили: «Пожалуешься – после уроков рожу начистим».

Я никому не рассказал, но мои обидчики поджидали на пустыре. Один больно толкнул плечом, другой добавил. В это время из школы вышли старшеклассники и пристыдили их:

– Вы че, пацаны, двое на одного?..

По неписаным правилам тех лет подростки выясняли отношения один на один и дрались до первой крови. Тогда лежачего не били ногами, что нынче делают не только в телесериалах…

С одним я справился. Вмешаться второму не позволили «зрители», окружившие нас. Однако продолжение не заставило себя ждать. На другой день соседи по парте подкараулили, и мне крепко досталось…

Дома соврал, что поскользнулся, а своему старшему другу рассказал, как было. На следующий день как ни наклонялся над тетрадкой, учитель математики, наш классный руководитель,

заметил «автографы» на моем лице.

– Вижу, знакомство состоялось, – сказал он. – После уроков жду всех троих в учительской.

Нас рассадили, а мой друг дал несколько уроков «культурного мордобоя». Специальные упражнения напомнили рубку дров, с которой я знаком с детства. В эвакуации мы жили в уральской деревне, и я был единственным мужчиной в семье.

Через месяц тренировка дала результат. В это время в классе появились два новеньких, и до боли знакомый сценарий повторился. Один мальчик отбивался, а другой постоять за себя не мог. Я предложил объединиться, и в случае нападения мы вставали спинами друг к другу и защищались.

Учителя не могли не знать об этих драках, но криминогенная обстановка в послевоенной Одессе была так тревожна, что школьные потасовки никто и в голову не брал.

Исключением был классный руководитель. Когда он заболел, мы пришли на Пироговскую улицу, где у него была комната в коммуналке. Рассказывая школьные новости, скрывали, что в классе по-прежнему нездоровая обстановка. Между тем опытный педагог уже тогда понимал, какими жестокими могут быть подростки, о чем сегодня не пишут только ленивые…

Как-то он сказал: «Спасибо, что навестили, а сейчас запишите домашнее задание. В следующий раз жду весь класс. Увижу вас в окно, и мне станет легче».

Пришли почти все. Не знаю, заметил ли он это: на улице смеркалось, шел дождь. Через месяц в школьном вестибюле появился его портрет в траурной кайме. На столике, покрытом красным бархатом, лежали боевые ордена, которых он никогда не надевал. С этого дня драки между одноклассниками считались предательством памяти Учителя.

Альбина Огородникова-Ястребова
Про Марусю

Одна история из моего детства не дает покоя, тревожит душу поздним раскаянием. Давно я хочу рассказать об этом, но даже сейчас, более чем через шестьдесят лет, стыд и боль охватывают меня. Несколько раз принималась я за эту грустную повесть, но каждый раз, доходя до кульминации, не могла продолжать – слезы душили меня, как и сейчас. Но надо, надо написать…

Это было во втором классе. В школе у нас и в классе было много девочек из семей насильно переселенных из сел и деревень, оказавшихся под немецкой оккупацией. Матери с грудными детьми, больные, старики были посажены в «телячьи» вагоны и отправлены в Сибирь. Эти несчастные люди обвинялись в содей-ствии немецким оккупантам. Многие до Сибири не доехали, погибли в дороге, а уцелевшие строили себе бараки из сырых кирпичей, слепленных из соломы и глины, – «саманные бараки», «саманы», как их называли. Они простояли до шестидесятых годов, и мой брат Коля, женившись в 1955 году на дочери ссыльных украинцев, жил там несколько лет с женой и сыном.

Выжившие ссыльные окрепли, дети выросли, многие выучились и получили хорошую специальность – жизнь продолжалась. Сталин умер в марте 1953 года, массовые репрессии кончились, погибшие в лагерях и оставшиеся там живыми «враги народа» были реабилитированы; люди с надеждой смотрели в будущее.

Но вернусь к моей печальной истории. Итак, наш класс – 2 «Б». Наша учительница, Наталья Ивановна, время от времени любила пересаживать нас. Однажды она посадила меня за одну парту с Марусей – девочкой из такой вот бедной семьи переселенцев. Никто не хотел сидеть с этой Марусей: она была одета в неряшливое серое платьице из какой-то грубой мешковины; жидкие волосенки заплетены в две крысиные косицы с тряпочками на концах вместо ленточных бантов. И еще мы знали, что у нее были вши: мы видели их в ее волосах и сторонились ее. И вот однажды Наталья Ивановна разделила нас с Ниной Соболевой и посадила меня с Марусей.

Поскольку моя семья жила более-менее благополучно, мама каждый день давала мне в школу четвертинку молока в бутылке, два кусочка хлеба с маслом. Дети часто бывают эгоистичными и даже жестокими: никогда я не обращала внимание на то, что ели

на перемене мои одноклассницы, не замечали мы тех, кто рядом с нами был голоден.

Однажды, после звонка на перемену, я сунула руку в парту, чтобы достать свой завтрак, – рука ощутила пустоту. Я взглянула на Марусю. Положив голову на руки, она, видно было, что-то быстро жевала. Косички ее дергались, уши горели… Я начала громко плакать. Наталья Ивановна спросила: «Что случилось?» Показывая на Марусю, я пожаловалась: «Маруся съела мой хлеб». Маруся, перестав жевать, не поднимая головы, плакала… Сцена эта врезалась мне в память навсегда. Вот почему я плачу, вспоминая это, и не могу закончить рассказ.

В этот день Наталья Ивановна говорила с нами о жизни. Она была тоже из семьи ссыльных, такой же жертвой жестокости и несправедливости, как и Марусина семья и многие тысячи других. Ни она, ни другие не могли выразить недовольство или несогласие с политикой Сталина: за это люди шли не только в Сибирь на жительство, но и в тюрьмы и лагеря. Многие искренне любили Сталина и верили ему, а его злодеяния объясняли чьей-то ошибкой. Умные, образованные люди, такие как наша учительница, понимали все правильно, но вынуждены были молчать. Наталья Ивановна сказала: «Аля, ты счастливая девочка – твой отец вернулся с войны, вот и школьную форму тебе уже купили. Но запомни: это не главное, важно, что у тебя в душе – добро или зло. Я верю, что ты – добрая девочка, только многого не понимаешь».

Ни в чем учительница не упрекнула меня, но я была красная как мак, и слезы ручьем лились из глаз. Мне было ужасно стыдно и жалко Марусю. Наталья Ивановна подошла к нашей парте, погладила Марусю, которая тоже плакала, по голове, погладила и мою голову: «Девочки, не будьте жестокими друг к другу».

Когда я вернулась домой, я снова начала плакать, но на расспросы матери не рассказала, что случилось в школе. «Никогда больше не надену эту форму, – рыдала я. – Я хочу быть, как Маруся. Наталья Ивановна не любит меня, сшей мне платье из мешка, как у Маруси!» Я плакала больше о себе, чем о Марусе, – мой детский ум не мог постичь всего того, что было в одном этом эпизоде. Я была по-детски эгоистична и начала понимать все о жизни значительно позднее. А Маруся вскоре как-то незаметно исчезла из нашего класса, куда – не знаю.

Я не выросла жестокой, всегда чувствовала боль других, старалась помочь по мере сил. Наверное, эта история с Марусей дала мне на всю жизнь урок сочувствия и сопереживания.

Маруся, ты не слышишь меня, но всю жизнь стоишь перед моими глазами со своими хвостиками-косичками, в своем

платьице… Наверное, много ты испытала и во взрослой жизни горя, бедности и унижения. Помнишь ли ты меня и, если помнишь, – простила ли?

Прости меня, Маруся.

Детдом

Население детских домов в послевоенные годы возросло почти вдвое за счет военных сирот, полусирот и детей, тайно оставленных матерями у порога детских домов ради сохранения их жизни: так сделала мать одной из наших корреспонденток. Еле живая от голода мать приходила несколько раз издали взглянуть на двух своих дочек во время прогулки. Ближе подходить боялась: вдруг дети ее узнают и ей придется их забрать – а кормить их было нечем.

Прошло то голодное время, но количество детских домов в нашей стране не уменьшилось, а увеличилось.

В послевоенном 45-м году в нашей стране насчитывалось 600 тысяч детей-сирот. Спустя более полувека, в 2010 году, количество сирот по статистике перевалило за 800 тысяч. Это значит, что 2,8 % детей в нашей стране – сироты. Огромное большинство сирот (90–95 %) имеют одного или даже обоих родителей. Это социальные сироты, родители которых либо отказались от них, либо лишены материнства.

Последние годы, относительно благополучные и сытые, наша страна занимает первое место в мире по количеству оставленных в родильных домах детей. Нужны ли здесь комментарии?

Антонина Паршакова
Очень хотелось одеться…

Я закончила семь классов, и меня из детдома отправили на работу учеником токаря в цех № 2. Мне было неполных четырнадцать лет. 22 августа исполнится четырнадцать. Работа моя заключалась в следующем: собирать стружку вокруг станков и на станке обрабатывать детали по подсказке мастера.

Завод казался мне огромным. Было девять или десять цехов, по территории ездил трамвай: перевозил детали по мере их обработки из одного цеха в другой. Люди в рабочей одежде казались серой строгой массой. В конце десятого цеха стояли танки и вездеходы, готовые к погрузке на железнодорожные платформы, рядом – большие деревянные ящики, также готовые к погрузке. Все были заняты своими делами, на меня попросту не обращали внимания. Я казалась никому не нужной, и моя работа – это насмешка надо мной. Казалось, станки и корзины для стружки смотрели на меня осуждающе.

Горе мое в том, что ростом я была 147 см. Хотя для меня мастер сколотил вдоль всего станка помост, но не слишком высокий. Я становилась на цыпочки, потому что не доставала до верха станка, чтобы закрепить деталь. Сосредоточившись на закрутке детали, ручкой станка била себя по носу. Так я и ходила: худая девочка с тоненькими светло-русыми косичками, да еще и с подбитым носом.

ДЕТСАДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ
ЦЕХАМИ ФАБРИК ЗАВОДОВ

„КРАСНЫЙ ГОРОДОК"

Однажды директор завода, проходя по цеху, вдруг взял меня за руку и привел в заводскую столовую. С этого дня я работник общепита: собираю посуду в зале и мою столы и стулья! Я

счастлива!

Директором столовой был старик на деревянном протезе, всегда одетый в гимнастерку, увешанную орденами и медалями. Я успевала перемыть в перерыв столы и стулья, в оставшееся время помогала на кухне: чистила картошку, лепила пельмени и вообще делала всё что скажут.

А по вечерам училась в вечерней школе. Это было обязательно: нас, выпускников детдома, проверял участковый. Мы обязательно должны были учиться. А вечерняя школа была платной. Когда нужно было платить за обучение, на работе мне выписывали премию (в размере оплаты за обучение, не больше и не меньше).

И так прошли три года. Я закончила десять классов.

Прошли годы, пока я поняла, что фронтовики жалели меня, поэтому помогли выжить.

Очень хотелось одеться. Ведь из детского дома меня выпустили в мир с «приданым»: фэзэушная шинель, которая была мне очень велика, ботинки с обмотками (на все случаи жизни; летом можно и босиком!), две белые сорочки, белая блузка (по размеру!), юбка и спортивные штаны-шаровары. В детском доме всех девочек научили вязать оренбургские пуховые платки, это был и небольшой заработок. Учили нас этому с первого класса. Сначала перебирали пух, затем чесали его и потом уж пряли. К третьему классу все девочки моего возраста умели прясть пух. А дальше учили вязать: платок отдельно, кайму отдельно.

В первый год самостоятельной жизни связала себе из серого козьего пуха кофту, перчатки и шапочку. За пух вскопала бабке пятнадцать соток огорода.

Одевалась по тем временам неплохо. Выручал маленький рост и тридцать пятый размер ноги. Всё покупала на барахолке, кому что мало – мне в самый раз.

Выдали нам на работе фуфайки – это такие ватные куртки. Поскольку фуфаек сорокового размера не было, выдали сорок восьмой. Пришла домой и из фуфайки сделала модную куртку: по талии в три ряда протянула тесьму. Сделала воротник-стойку и внутренние карманы в боковых швах. Очень красиво! Завскладом, когда увидел такую красоту, дал мне еще одну фуфайку, но поношенную и пятьдесят второго размера. Ее я тоже переделала. Вся вечерняя школа на меня смотрела с восхищением!

Я часто вспоминала свой детдом, помню мальчишек-чеченцев: Зортова, Лечо, Хуршета. Это были мои одноклассники в детдоме, а на заводе их не было, наверно, пошли в ФЗУ и на стройку.

Так закончилось мое детство.

Клара Павлова
Моя мечта – быть артисткой…

Отца, Ушакова Василия Михайловича, репрессировали в 1938 году. Мама была больна туберкулезом. Мы с братом Игорем попали в детдом – как враги народа.

Все три детдома находились на территории Коми АССР – в Пыелдино, в Подъельске.

В первый детдом нас мама привезла в 1938 году, мы были совсем маленькими. В этом детдоме всех стригли одинаково – налысо. А у меня белые, очень пушистые волосы. Посадили нас всех в большом зале, вдоль стены. Посреди зала стоял стул, около него мужчина в белом халате и с ножницами в руке. Он нас вызывал по одному к себе, сажал на стул и стриг. Все молча подходили и садились. Но когда подошла моя очередь садиться, брат мой, Игорь, бросился в ноги мужчине, обнял его и так громко заплакал, умоляя его: «Дяденька, миленький, я вас очень прошу – не стригите Ляльку! Она такая красивая, у нее такие красивые волосики!» Он плакал так, что мужчина тоже заплакал и ответил: «Да, она очень красивая, но я выполняю приказ директора». И он меня остриг. После этого брат пролежал с температурой неделю.

Вскоре мама нас забрала, но ненадолго – ее болезнь прогрессировала, и нас снова отправили уже в другой детдом, где я пошла в первый класс. Здесь было намного хуже. Кормили одной кислой капустой (кусочек хлеба старшие отнимали). Мы ходили ночью на картофельные поля и собирали прошлогоднюю картошку – куски грязного крахмала. Завтрак – капуста, обед в школе – баланда из травы, голова постоянно кружилась, падали в обморок, писались. Нас не будили ночью, но зато мокрых били, заворачивали рулоном в матрас и клали головой вниз. Ноги привязывали вверху над матрасом веревкой, чтобы моча текла нам на голову.

Однажды я нашла в песке лист зеленой капусты, забралась на печку-голландку (она высокая, под потолок) и стала грызть этот листочек. Песок хрустел на зубах, он меня выдал. Подошла «воспитательница», подтянулась, достала мою руку, схватила ее в запястье, где у меня была рана (я вся была в чиреях), и попала пальцем прямо в рану; я упала на пол без сознания, ударилась об пол, проснулась в медпункте.

Как-то раз брат Игорь позвал меня на гороховое поле. Эта деревня-колхоз была у реки, кругом лес – красиво. Мы убежали в

тихий час. По дороге на поле мы повстречали группу колхозников. Они нам ни слова не сказали. Детдомовские девочки все носили капоры, мальчики – шапочки. Расставаться с этим было запрещено – это знак: детдомовцы! Потому-то колхозники и промолчали. Они шли на обед, а мы – на поле.

Добрались, боже! Какой горох – больше я такого не видела. Крупный, сочный. Мы так наелись, что животы вздулись, и мы начали за пазуху складывать. Про время мы не понимали. Гонг – удар об железо, пора выходить… Мы вышли. Они сидят все у арыка. Он сухой, воды нет. Нас посадили рядом с собой.

Сначала расспрашивали по-хорошему, а потом стали стыдить. Забрали горох и начали над нами смеяться. Игоря положили вдоль канавы и пустили на него колесный трактор. Он лежал между колес, молчал от страха, а я ревела, кричала во весь голос. Игорь встал, когда трактор прошел, весь белый и волосы белые. С нас сняли головные уборы, а без них возвращаться в детдом нельзя. Наказывали. Сажали в уборную. Она большая, цементированная, высокая, холодная.

Нас посадили туда и забыли. Мы от боли в животе корчились до утра, а утром Игорь встал на мою спину, дотянулся до окошечка, вылез, потом подтянул меня за руки, и мы сбежали. Ночевали в свежевырытой могиле, а утром нас вытащили из могилы. Мы убежали до реки. Голодные, холодные, раздетые. Лесом. Дальше еще хуже.

Поймали нас в деревне Вильгорт, около Сыктывкара, и снова сдали в детдом, где жили одни дети-поляки. Они не лучше наших – издевались.

Вот оттуда меня украла тетя Маша и увезла в Воркуту. В 1945 году мне исполнилось десять лет.

О жизни тех лет писать очень трудно, еще труднее читать. Мария Васильевна (тетя) получила комнату на первом этаже. Я пошла в первый класс, а вскоре превратилась в няньку. Мария Васильевна работала заведующей базой, которая снабжала лагеря – лагеря политзаключенных. И шахты.

Всего несколько домов, большая школа и драмтеатр, где работали артисты-заключенные. Остальные на шахте добывали уголь.

Артисткой побывала и я. Пришли к нам в школу режиссеры и отбирали детей на роли в театре. Меня с одним мальчиком сразу отобрали. Мне с большим трудом удавалось убегать из дома на репетиции, за что тетя меня ужасно избивала. Иногда соседи заступались.

Это была моя мечта – быть артисткой. Мама рассказывала мне позже, что я танцевала, где только услышу музыку. Часто

приходила на репетиции с синяками, рваными ранами, взрослые меня подлечивали, и я все равно выходила на сцену.

Самое страшное было утром, очень рано, в пять-шесть часов, когда заключенных гнали на шахту. Зимой и летом, в любую погоду они, худые, оборванные, цепи на ногах, чтобы шаг был меньше, шли мимо моего окна. Так гремели-лязгали эти цепи, что уснуть уже было невозможно.

Жизнь города

Все, что здесь описано, ушло в прошлое. Нет больше хлебных карточек, толкучек. Нет очередей с фиолетовыми номерами на руках, нет колонок во дворах, столов с доминошниками, агитаторов, старьевщиков и домоуправов…

Сегодня соседи, живущие в одном подъезде многоэтажки, не знакомы между собой, разве что кивнут в лифте. Большие города изменили свой облик, широкие проспекты разрезали прежние малоэтажные кварталы, вместо изредка проезжавших машин – многочасовые транспортные пробки. Урбанизация стирает индивидуальные черты, городская застройка деловых кварталов больших городов так мало отличается в разных странах, что, проезжая в Москве по Третьему транспортному кольцу, временами испытываешь чувство выпадения из привычного пространства: что за небоскребы по сторонам? Это Манхэттен, Пекин, Сеул или Дубаи?

Взгляд на современный город наводит на размышления о том, что перемены, происходящие вокруг, касаются не только живущих сегодня поколений. Происходит такое глубокое изменение мира, который создан руками человека, что оно не вполне оценивается нашим сознанием. Как будто человек немного запаздывает, не успевает постичь драматизм и новизну перемен, которые касаются не только устройства города и его ландшафта, но абсолютно всего, что составляет жизнь человека. Совершенно очевидно, что молодые люди всегда легче приспосабливаются к переменам. Современный ребенок не может представить себе жизни без мобильного телефона, Интернета, в то время как их бабушки и дедушки в детстве замирали в немом изумлении перед первым телевизором, в юности впервые совершали путешествие на самолете, и далеко не все мои сверстники преодолели страх перед компьютером. Наша недавняя, можно сказать, вчерашняя жизнь кажется им столь же далекой, как жизнь Древнего Рима. Недавно один малыш, внук моего приятеля, спросил: дедушка, а ты динозавров застал?

Нет, мой сверстник не застал ни динозавров, ни Юлия Цезаря. Признаться, очень бы не хотелось, чтобы новое поколение относилось к нам как к динозаврам. И как хотелось бы, чтобы сохранялась преемственность мыслей и чувств между поколениями. И мы, дети послевоенных лет, оглядываясь назад с умилением, храня в памяти ушедшие черты уютных дворов, узких переулков, мощенных камнем улиц, хотели бы, чтобы молодые люди знали, что происходило в недавнем прошлом на этом месте,

на этой улице, в этой стране…

Галина Мурашова (записала Екатерина Мурашова)
«Купите папиросы!»

Все продукты и вещи выдавали по карточкам и талонам. Карточки «отоваривала» в основном я. Как-то надо было их выгодно отоваривать в дневное время, а мама допоздна работала, чтобы получать «рабочую карточку». Помню, что крупяные карточки отоваривать макаронами с большой дырочкой внутри было невыгодно. А эти макароны (хорошо разваренные, толстые) так вкусно было втянуть в себя!

По карточкам выдавали и табак. И у меня был свой «бизнес». Мама где-то «доставала» (так говорили) пустые папиросные гильзы, и мы всей семьей вечерами их набивали табаком. Я продавала уже папиросы утром у входа в булочную на Кировском проспекте. Окна нашей комнаты выходили прямо на эту булочную, и папа с братом, наверное, могли меня видеть. Негромко, но четко я говорила одно слово: «Папиросы, папиросы!» Папиросы были закреплены резиночкой по десять штук и стояли в коробке. Десять штук стоили 30 рублей. Но были и штучные, они стоили 5 рублей за штуку. У меня был конкурент – мальчишка моих лет или чуть постарше. Он сидел у входа в булочную на ящике и заунывно пел:

Ой, кушать хочется, друзья,
И ноги мои босы,
Ох, пожалейте вы меня,
Купите папиросы!

Декоративный мальчонка. Из рваного носа большого башмака высовывалась голая нога – зимой! Я была по тем временам нормально, тепло одета, но голенища валенок доходили до колен, и я плохо, неуклюже передвигалась. Однако моим преимуществом в конкуренции было то, что мои гильзы были плотнее набиты табаком – у нас было специальное приспособление для набивки. И постоянные покупатели это знали. Мальчишка часто приходил позднее меня – я выбегала сбывать товар до школы. При встрече мы молча кивали друг другу.

Как-то в школе меня подозвала пионервожатая и спросила о моем «бизнесе» (кто-то донес). Я бес-страшно ответила, что у нас

в семье папа-инвалид, маленький брат и денег не хватает. Пенсия у папы была 120 рублей (после реформы – 1200). А еще, сказала я пионервожатой, я продаю шестьсот грамм черного хлеба (через день) и на эти деньги покупаю в «коммерческом магазине» две бутылки по пол-литра молока (оно было по здоровью обязательно нужно моему брату и стоило 30 рублей за бутылку. Четыре бутылки молока – вот и вся папина пенсия), иногда деньги коплю и покупаю там же масло. Магазин № 2 был расположен на площади Льва Толстого. № 1 был Елисеевский на Невском. В народе они имели название «магазин наглядных пособий для заочного питания». Цены там были несусветными. Вот леденцы, это я точно помню, стоили 700 (послереформенных) рублей килограмм, и я только однажды сумела накопить на сто грамм.

Хлеб я продавала всегда одному и тому же покупателю – он меня ждал. Это был какой-то большой черный дядька в полушубке. Мы никогда не разговаривали, только иногда он молча угощал меня конфеткой «барбариска» – маленький леденец в обертке.

Редко около булочной появлялся милиционер, но он нас с мальчишкой «не видел». Он охотился за настоящими спекулянтами и ворами, которые продавали из-под полы бормотуху-самогон и целые буханки хлеба. Плохо милиционер охотился – все равно продавали…

Трудное послевоенное детство, но сколько живых, по-настоящему добрых воспоминаний… Может быть, это потому, что мы тогда были юными и впереди у нас была долгая и непременно счастливая жизнь после великой Победы?

Уже в юношеском возрасте мы с мальчишкой в трамвае друг друга узнали, одновременно сказали: «Привет!» – и он вышел на остановке.

Людмила Фрейдлин
Толкучка как зеркало жизни

В одной из четырехэтажек заводского поселка, где мы жили, появилась вывеска, смысла которой я долго не могла понять, – «Ателье мод». В доме напротив кто-то приобрел радиолу и выставил ее в окно. Оттуда полились дивные песни. Не только наши любимые, военные. Леонид Утесов пел про одессита Мишку и водителя кобылы, Клавдия Шульженко – про голубку, вестницу любви для путника в дальних краях. Возникло новое имя – Петр Лещенко. «Там, под небом чужим, я как гость нежеланный», – скорбел голос, и мы замирали. И когда он молил: «Перестаньте рыдать надо мной, журавли…» – с улицы кричали, поднимая головы к музыкальному окну: «Пока не ставь ничего!» Хотелось времени, чтобы песня улеглась в душе.

Радиола гремела, а то пошипывала или задыхалась, как астматик. Люди приходили с третьей смены и ложились спать, но никто ни разу не выглянул и не потребовал утишить звук. Не было злобности: с неудобствами легко мирились, потому что любое из них сравнивалось с недавними военными тяготами и казалось несущественным. Верили, что впереди – лучшая жизнь, и радовались самой малости.

На углу нашей улицы Клубной и улицы Первой Конной Армии угнездилась пивнушка, по определению трезвых – гадюшник. Звучало слово не оскорбительно, а скорее снисходительно. У ларька роился взбудораженный народ, инвалид без ног играл на гармошке и пел про загубленного фашистами пионера Витю Черевичкина и его голубей. Он выводил с большим чувством: «Го-лубы, мои вы го-лубы», и это было почему-то жалостливее, чем привычное «голуби». Прохожие останавливались, женщины плакали. И пионера Витю было жалко, и самого гармониста: от его голеней остались культи, он стоял на коленях с толстыми кожаными наколенниками, чтобы было теплее и чтобы не перетирались быстро. Ему подносили кружку. Он порывался заплатить, возражающий хор его останавливал. Угощали и двух безусых фэзэушников, с подчеркнуто блатняцкой развязностью отбивавших чечетку для всеобщего удовольствия.

В один прекрасный день место гадюшника заняла тележка с газированной водой. Это тоже было событие. Туда очередь не иссякала целый день, все пили воду из одного, наскоро сполоснутого под хилым круглым фонтанчиком граненого

стакана.

В продаже появились абажуры оранжевого и зеленого шелка, с бахромой, ткань «штапель» и нитки «мулине».

Новое, невероятное знание о жизни принесла окраинная толкучка. Это был другой конец города, у черта на куличках. Мы с родителями сначала ехали в трамвае, потом от последней остановки долго шли по местности, которую с полным основанием можно назвать Пресеченной, и еще издали увидели толпу, которая странно, хаотично двигалась. Она была похожа на огромную гидру, на доисторическое животное и, когда мы подошли к ней вплотную, поражала одним выражением общего лица. Оно было какое-то вороватое. И у тех, кто продавал, и у тех, кто покупал. И еще виноватое, потому что (как я поняла годы спустя) и те, и другие нарушали. И ничего удивительного не было в том, что в этом людском муравейнике сновали милиционеры. Бог знает, кого именно они ловили среди сплошных преступников, но если человек продавал, к примеру, несколько пиджаков, то, завидев милиционера, быстро совал в сумку все, кроме одного. Потому как свое продавать, в общем, не возбранялось, а вынести «партию» – это уже спекуляция.

В настороженной, напрягшейся толпе выделялось ростовское жулье. Определялось оно на глаз даже малолетними. Парнишки в потертых пальто и глубоко сидящих кепках («кепелюхах» – говорил папа) держали руки в карманах и не мельтешили. Вид у них был демонстративно безразличный. Мол, одни здесь деньги тратят, другие зарабатывают, а мы – просто так, вышли погулять. Мол, имеем особое пристрастие к полуовражному пейзажу на краю городской географии.

Мы протиснулись в толпу, стараясь держаться вместе (папа крепко держал мою руку в своей), и я увидела непонятного назначения предметы. Их было много, глаза разбегались. В воздухе висели незнакомые слова: горжетка, джерси, багет, танкетки, коверкот, канделябр, акварель, фраже…

Толкучка меня совершенно ошеломила. Я все время спрашивала у родителей: «А это что? Это что?» Мне коротко и довольно рассеянно отвечали. Я не запоминала и снова спрашивала, отрывая папу с мамой от цели нашего путешествия. А покупали мне туфельки. Нескоро их выбрали, зато какие! Американские, на шнурках, чудного шоколадного цвета. Я надела их и почувствовала, что мир прекрасен, и прекрасны люди вокруг со своими горжетками, фарфоровыми красотками, которых беззастенчиво обнимали пастушки, и бесполезными блестящими топориками для рубки мяса, редко имеющегося в продаже…

Папа присел на корточки и тщательно ощупывал носок

каждой туфельки. «Если давит, обязательно скажи», – строго наказал он, стараясь по моему бессовестному лицу угадать, говорю ли я правду. Куда там! Туфельки были мне малы, и потом я в них намучилась, но они были такой немыслимой красоты, что от них невозможно было отказаться. Папа смотрел на меня немного снизу вверх; было солнечно, а при ярком свете его глаза, и без того неопределимого цвета (мама называла их серо-буро-малиновыми), становились как маленькие солнышки с зелеными и коричневатыми пятнышками. Как я любила папу в этот момент! И маму, которая стояла рядом, улыбалась, поправляла волосы одной рукой, а другой крепко прижимала к груди сумочку.

Удивительный был день, полный впечатлений! И сколько их потом было! Может быть, они не так захлестывали, как наша высадка в ростовскую толкучку, но их непременно сопровождало радостное волнение. Помню приемник «Рекорд», который принес домой сияющий папа. Мама ахнула: «Мы же тебе брюки собирались купить! Эти совсем протерлись». – «Непременно! – легкомысленно пообещал папа. – Занимайте места согласно купленным билетам». И мы сели слушать «Театр у микрофона», не сводя с приемника восторженных глаз.

Многое было впервые: настольная лампа под матовым зеленым стеклом, первые гардины из простых ниток, чайные чашечки с блюдцами из дешевого фаянса. Откуда-то взялась у нас в хозяйстве смешная тарелка, желтоватая, с неровными краями. Вероятно, ее кто-то умыкнул из городской столовой и презентовал нам, беспосудным. По ободу было написано синей краской с завитушками: «Общественное питание – под огонь рабочей самокритики».

Помню первые духи для мамы, которые папа стал покупать ей ко дню рождения и к 8 Марта. Я была уже школьницей, и папа, не умевший различать парфюмерные запахи, брал меня с собой в качестве консультанта. Он надеялся на природную женскую интуицию в этом деле, но главное условие ставил сразу: «Берем самые дорогие», – и интуитивность выбора отпадала сама собой. Модную «Красную Москву» в виде духов и одеколона (в более крупном флаконе) папа игнорировал именно по этой причине. Его вкусы колебались между духами в жуткой склянке ядовито-синего стекла и матовом флаконе в виде кремля. Кажется, духи так и назывались – «Огни Кремля». При их виде мама схватилась за сердце, но быстренько справилась с собой и придала своему лицу выражение сладкого счастья…

Елена Фуксис (записал Геннадий Авербух) Кино приехало!

Возвращаясь из школы, мы с подругой Наташей услышали восторженный крик детей: «Ура! Кино приехало!» Мы, конечно, тоже побежали в сторону клуба, чтобы узнать, какую картину привезли. Киномеханик Степа и его помощники разгружали киноаппаратуру с машины.

Наташа крикнула:

– Скажите, пожалуйста, какую картину привезли?

Молодой парнишка ответил ей:

– «Она защищает Родину».

Мы с радостью поспешили домой, чтобы поделиться хорошей новостью.

Мама была дома, так как у нее был ненормированный рабочий день. Я с порога закричала:

– Мама, «Она защищает Родину»!

Мама испугалась и тоже закричала:

– Вэйзмир! Кто кого защищает?!

– Кино приехало! Оно называется «Она защищает Родину».

– Ясно, а то забежала неожиданно и прогремела – не поймешь, что к чему, – сердито сказала мама. – Так ведь и описаться можно! Ну, хорошо, пойдем сегодня и посмотрим, как она защищала Родину.

В шесть вечера мы вышли из дому и пошли в клуб. Каждый нес стул или табуретку, потому что сидеть в клубе было не на чем. Было такое впечатление, что народ куда-то переселяется. Хорошо, что мы вышли на час раньше, а то не хватило бы места или пришлось бы сидеть в дальних рядах. Моя сестра Майя купила билеты, и мы вошли в зал. Стулья успели поставить примерно в третьем ряду. При этом мы переживали, что перед нами могут оказаться высокие люди и тогда не будет видно экрана.

Кто-то выкрикнул: «Киномеханик, ты только рассказывай нам наперед!» Обычно всё происходило так – механик громко, чтобы его слышали во всем зале, говорил: «Вот сейчас этот парень ударит по спине другого парня, а девушка возмутится и даст ему пощечину!» или же: «Сейчас лошадь от усталости упадет!»; «Вон тот дом сейчас загорится!»

Таким образом он комментировал всю картину. Стоило ему только замолчать, как зрители начинали выкрикивать: «Ты чего молчишь, давай рассказывай!»

Киномеханик продолжал: «Сейчас появится вор и незаметно вытащит деньги из кармана старика»; «Жена не откроет дверь мужу, так как он придет домой поздно!» и т. д.

Если на экране появлялись титры, весь зал начинал хором читать их. Например: «Наступила зима», «Прошло три года», «Смеркалось» и т. д. А в финале все хором читали: «Конец фильма».

Если фильм был про любовь и киномеханик говорил: «Сейчас этот парень поцелует свою девушку», в зале тут же поднимался невообразимый шум: дикие возгласы, свист и топанье.

Киномеханик Степа тогда сразу останавливал картину, включал свет и говорил: «Я больше не буду привозить фильмы про любовь, потому что нельзя их показывать вам, дикарям. Буду привозить фильмы только про войну, где нет никаких поцелуев».

Фото «РИА Новости»

После этого зрители тут же успокаивались и виновато говорили: «Мы больше не будем!» Всякий раз они давали обещание вести себя нормально, но никогда его не сдерживали.

Перед началом показа Степа объявил, что вначале мы посмотрим сам фильм, а киножурнал, который подвезти забыли, покажет в самом конце.

Картина «Она сражалась за Родину» произвела на зрителей шокирующее впечатление.

Я запомнила сцену: немец на танке остановился возле женщины, идущей по дороге с младенцем на руках. Выйдя из танка, он стал отнимать у нее ребенка. Женщина плакала и как могла сопротивлялась, но фашисту удалось вырвать ребенка из рук. Женщину он толкнул в канаву, а ребенка положил на дорогу и задавил танком.

По залу пронесся душераздирающий крик. Некоторые зрители, особенно женщины, плакали навзрыд.

В конце фильма все было наоборот: мать этого ребенка сидела на советском танке, и она увидела этого фрица, который шел по дороге. Она направила на него танк.

Что тут началось в зале! Люди повскакивали с мест и в восторге начали кричать, размахивая кулаками: «Так тебе и надо, фашистская скотина! Сдохни, как собака!»

К всеобщему ликованию, фашист был задавлен.

После фильма, как и обещал киномеханик, начался показ киножурнала. Вдруг в кадре появился Сталин. Зал взорвался восторгом. Все встали и начали неистово рукоплескать. Степа остановил кадр со Сталиным и стал ждать, когда зрители в зале успокоятся. Но зрители не думали успокаиваться. Моя тетя Фоня гордо подняла голову и тоже без устали аплодировала.

Минут через десять нервы у киномеханика не выдержали, он выключил киноаппарат и ехидным голосом спросил:

– Ну что, нахлопались? Теперь успокойтесь и поедем дальше!

Мама, глядя на него, тихо сказала:

– Видимо, отец или дед пострадали в 1937 году у парнишки.

Когда закончился показ, мама сказала, чтобы мы не торопились, так как должны выйти последними. Проходя мимо Степы, мама сказала ему:

– Будь осторожен, парень. Твою иронию могут не все понять: на тебя могут настучать, так что свои эмоции держи при себе. Не ставь под угрозу жизнь свою и своей семьи.

Степа пристально посмотрел на маму печальным взглядом и промолчал. Видно лишь было, как играют его желваки.

Яков Хотомлянский
Дед

1949 год. Вечер. Дед читает «Анну Каренину». «Мне отмщение, и Аз воздам». Как нескоро узна́ю я истинный смысл этих строго предупреждающих слов! Дед малограмотный, он читает, медленно шевеля губами, и мне так интересно наблюдать за ним! У деда Якова старые очки, оправа сломана в нескольких местах и укреплена толстыми нитками темно-зеленого цвета.

Лето. Дед решает перекрыть крышу рубероидом. Рубероид старый – остатки рулонов, купленные на барахолке по случаю. Гвоздей нет. Зато в обрезках досок, выписанных на заводе для нашей маленькой прожорливой печки, гвоздей полно. С моим двоюродным братом Виталькой выдергиваем их по очереди – клещи у нас одни на двоих. Гвозди кривые, ржавые. Дед велит их выравнивать. Держу гвоздь за шляпку, рихтую молотком. Через несколько минут руки покрываются густой и плотной ржавой пылью. Очень болят пальцы, но дед обещал заплатить по рублю за каждые сто выровненных гвоздей. Брату он платит рубль всего за пятьдесят гвоздей. Пытаюсь выяснить – за что такая несправедливость? Дед смотрит на меня внимательно:

– У Витальки есть отец. У тебя – нет. Тебе всегда будет труднее, чем ему. Поэтому ты должен работать ровно в два раза больше, чем те, у кого отцы пришли с войны.

И тут же расплачивается со мной мятым изношенным рублем.

Рубль – это богатство. Рубль – это два стакана газированной воды с сиропом по четыре копейки, мороженое за двадцать копеек и три раза сходить в кино. В кино я иду с друзьями. Бешеные очереди за билетами, в длинном узком зале кинотеатра не продохнуть. Гаснет свет, на экране мелькают титры: «Этот фильм взят в качестве трофея…» Смотрим «Тарзана», «Тарзан находит сына», «Приключения Тарзана в Нью-Йорке». Широкоплечий красавец, перепрыгивая с лианы на лиану вместе с обезьяной Читой, спешит на помощь своей подружке Джейн. И взрослые, и дети сидят в кромешной духоте, завороженные и счастливые. Там, на экране, джунгли, там красивые артисты, там совсем другой мир, который так близко – только руку протянуть, и так бесконечно далеко, что только вздохнешь безнадежно, когда побегут по экрану заключительные кадры.

После кино, счастливые, воодушевленные киноподвигами, всей ватагой идем к Витьке Киселеву. У Витьки два преимущества: у него есть велосипед и он живет возле

единственной в городе площади, где этот велосипед можно погонять. Великодушный после кино, Витька разрешает нам прокатиться. По одному кругу, не больше.

– А то сломаете еще, – говорит Витька.

Садимся кружком на траве, говорим о будущем. Какое оно, это будущее, там, за плотной толщей бесконечных лет, туманящихся впереди? Спорим, кем лучше быть – летчиками или моряками. Другие профессии не обсуждаются.

– А я буду Тарзаном, – размечтался Владька.

Мы хохочем. Летчики, подводники – это реально. Но стать Тарзаном?!.

Утром лезу на чердак. Там всегда таинственно, там пахнет старым сеном, маленькое окошко заросло паутиной, валяются списанные из обихода за ненадобностью старые вещи – безмен, керосиновая лампа с пересохшим фитилем, кривое велосипедное колесо, вторые рамы – перед зимой они будут спущены вниз, вымыты и вставлены в оконный проем. За рамами вижу сверток из промасленной бумаги. Что это? Просовываю руку, достаю сверток, разворачиваю – новехонькие сияющие гвозди, много гвоздей.

Спускаюсь вниз, дед уже возится по хозяйству.

– Дед, ты зачем заставляешь нас гвозди ровнять? Смотри, какие у меня пальцы.

– А как ты еще можешь заработать? У матери будешь попрошайничать, что ли?

Иногда у деда бывает хорошее настроение. Он подзывает меня к себе и вдруг неожиданно сообщает:

– Ты даже не знаешь, какой ты счастливый.

И на мой вопросительный взгляд объясняет:

– Потому что ты доживешь до двухтысячного года.

– Откуда ты знаешь? Может быть, и не доживу.

– Обязательно доживешь. Я тебе завидую. Такая будет жизнь красивая! Все будут хорошо жить, войн вообще больше не будет, все люди будут здоровые. И еды будет – сколько съешь. Жалко, что мне это не увидеть.

И мне кажется, что глаза деда затягиваются предательской влажной пленкой.

Праздник тридцать второй годовщины Октябрьской революции, 1949 год. Мы взволнованы. Демонстрация. Духовые оркестры выбрасывают в небо металлические аккорды торжественных маршей.

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…»

На улицах огромные плакаты «И засуху победим». Усатый, с легкой сединой, Корифей – в левой руке трубка – склонился над

картой страны. В правой руке у него толстый красный карандаш, и он рисует им схемы защитных лесопосадок.

До похорон вождя еще четыре года. Таких долгих и таких тягучих…

Ирина Безуглая
«Старье берем!»

При входе на рынок стояли два старика, один с белкой в клетке, другой с мышкой на плече. У обоих были коробочки, полные записочек с желаниями. Даешь пять копеек, и мышка или белочка вытаскивает тебе бумажку, а там размытые, едва различимые карандашные строчки, например: «Сегодня иди по правой стороне улицы, и найдешь денежку» или: «Положи под подушку птичье перо, и тебе письмо придет». Мелькали в своих длинных цветастых юбках и настоящие гадалки – цыганки. Появлялись старьевщики, те, которые обычно ходили по дворам и зычно, нараспев, кричали: «Старье бе-реммм!», а другой: «Стекло бе-реммм!» И тогда каждый из нас выскакивал с какой-нибудь тряпицей, или старыми штопаными-перештопаными чулками, или выпрошенной у мамы бутылкой из-под масла, чтобы взамен получить мячик на длинной тонкой резинке, или свистульку, или еще чего-нибудь. А у входа на рынок, прислонившись к старому забору, сидели рядком нищие. Помню одного, слепого и безногого солдата в гимнастерке на детских деревянных санках. У него был настоящий немецкий аккордеон, это нас и привлекало. Инвалидов было много, а такой аккордеон мы видели только у него. Солдат играл, а мальчик, сопровождавший его (внук, сын – кто знает), тихонечко пел тонким голосом: «Темная ночь, только пули свистят по степи…»

На самом рынке было еще интересней. Можно было незаметно подобрать упавший огурец или найти недоеденный кусочек жмыха (спрессованная шелуха семечек), а можно было в молочных рядах налепить комочек из крошек творога, разбросанных вокруг деревянной бадейки, и немедленно проглотить его. А можно было пройтись по рядам, где торговали искусственными цветами, довоенными фотографиями советских городов и даже дореволюционными праздничными открытками, еще – целыми картинами и вышитыми тоже до войны ковриками. Поскольку ни у кого из сверстников не было цветных карандашей, да и вообще вокруг не было ничего яркого, красочного, мы с девчонками всегда долго рассматривали эти необыкновенные пейзажи и портреты нарядных дам на их фоне, любуясь и совершенно не веря, что такое бывает на самом деле.

Вечерами мы часто мотались всей гурьбой в клуб фабрики «Каучук» и по нескольку раз смотрели трофейные фильмы: «Сети шпионажа», «Газовый свет», «Три мушкетера» и другие. В нашем

дворе тоже иногда показывали кино. Приезжала так называемая кинопередвижка. Между двух столбов старого турника вывешивалась скатерть или простыня, и кино начиналось. Если киномеханик мешкался между одной частью и другой, в «зале» начинался свист, крик и топот. Когда был ветер, простыня морщилась, и лица героев становились тоже сморщенными и комичными, но никто не смеялся, всех захватывал сюжет, действие.

Анна Левина
Следующая!

Когда я была маленькая, из большого и очень красивого города Ленинграда мы переехали в Сибирь, в город Омск, куда моих родителей отправили по распределению после окончания учебы. Мой папа – врач, но не простой, а судебный. Это значит, что от него зависит судьба того, кто сидит на скамье подсудимых. Все доказательства начинаются с экспертизы. Так что на происшествиях, когда кого-то грабят, убивают, избивают, обманывают, главный человек – судебно-медицинский эксперт, то есть мой папа. А потому его никогда не было дома. Даже ночью могли позвонить, разбудив весь дом, и скомандовать: «Доктор, на выезд!» И через пять минут мы с мамой в ночных рубашках смотрели в окно, как папа садился в милицейскую машину, которая сердито пыхтела у подъезда.

Моя мама – детский врач. Она с утра до вечера работала в инфекционной больнице, по вечерам преподавала в училище, учила медсестер, а по ночам дежурила в своем отделении. Так что ее тоже никогда не было дома.

А я, по идее, должна была ходить в детский сад, но из-за того, что все время болела, сидела дома. С кем? Вот тут-то и начинается самое интересное.

Конечно, нужна была няня. А кто в трудное послевоенное время в далеком сибирском городке хотел возиться с чужим ребенком? Только тот, у кого было безвыходное положение, то есть несчастные девчонки без документов, сбежавшие из колхозов, ссыльные, которых в Омске было видимо-невидимо, татары, украинцы-бендеровцы, немцы и старушки, которым деваться некуда. Объявлений в газету типа «Требуется няня…» в те годы никто не давал, поэтому искали по «цыганской почте»: кто-то где-то что-то слышал, кого-то знал, кому-то передал, тот передавал дальше.

Поскольку папа работал почти в милиции, на кафедре судебно-медицинской экспертизы при Омском медицинском институте, у нас был блат. Папа мог помочь с получением паспорта. Поэтому из всех окрестных деревень к нам выстраивалась очередь из молодых девиц с напудренными носами и одинаковым удушливым цветочно-сладким запахом. Все они хотели паспорт и замуж. Без меня они не могли получить ни того, ни другого. Поэтому они ненавидели меня, а я их. К счастью, в Омске гарнизонов, военных училищ, спец– объектов и

тому подобного хватало. Месяц-полтора уходило на то, чтобы с папиной помощью очередная няня могла получить паспорт. За это время она успевала три-четыре раза сходить в Дом офицеров на танцы, а потом ЗАГС, благодарные объятия с моими родителями, последний ненавидящий взгляд в мою сторону и – поминай как звали…

Следующая!

Папе надоело работать «паспортным столом», и на семейном совете было решено рискнуть и взять кого-то из ссыльных.

Первой и самой удачной была татарка Люция. Ее брата звали Рево. Всё вместе – Революция. Родители Рево и Люции были верны ленинским идеалам; им это не помогло, закончили они в Сибири. Но детей воспитали как надо. Рево пошел работать в милицию и сам привел сестру к нам в дом. Люция успевала все делать по дому, следить за мной и учиться у мамы в медучилище. У меня с ней были очень хорошие отношения. Вместо того чтобы разучивать нудные гаммы, я ставила на подставку для нот любимую книгу, читала и в то же время блямкала на пианино двумя руками неизвестно что. Люции я объясняла, что разучиваю татарскую симфонию. Она меня за это очень уважала и вечером докладывала родителям, что я добросовестно два часа занималась музыкой.

Мой папа Люции нравился. Она даже призналась маме, что мой папа – это ее мечта: сам еврей, а лицом – чистый татарин. Что может быть лучше для семейной жизни? А я похожа на папу. Поэтому, когда мама заходила в парк и спрашивала: «Вы не видели няню с девочкой? Они тут гуляют, а я – мама девочки, их ищу», сидящие на лавочках старушки отвечали: «Нет, няню с девочкой не видели, только татарка с татарчонком гуляли, во-о-н туда пошли». И мама нас сразу находила.

Все было хорошо, пока за Люцией не прислали жениха-татарина. Слово родителей – закон. Люция, рыдая, бросила нас, учебу, город и уехала обратно в деревню за мужем…

Следующая!

После Люции к нам пришла Нюся. Ее мама нашла на рынке, где Нюся торговала картошкой. Паспорта у нее, конечно, не было. Папа наотрез отказался Нюсе помогать, но мама умоляла его весь вечер, и я слышала, как ночью она даже плакала и все время повторяла: «Безвыходное положение, просто безвыходное!» Папа в конце концов согласился, предупредив, что это уж точно в последний раз.

Нюся была маленькая, кругленькая, как ватрушка, и такая же

пухлая и сдобная. От нее пахло хлебом, молоком и покоем. Она заплетала мне косички и завязывала бантики в точности как себе, и мы с ней были как двойняшки! Я была в восторге. Папа почему-то недовольно морщился и говорил маме: «Ты что, не можешь ребенка нормально причесать? Выглядит как деревенщина!» А мама нервно шептала в ответ: «Тише, оставь в покое, неудобно!»

Я любила целовать Нюсины тугие круглые щечки, прижималась к ее необъятной груди, и мне было очень уютно.

И вдруг произошло что-то необъяснимо ужасное. Утром родители и соседи, как всегда, ушли на работу. Я сидела за письменным столом и рисовала. Нюся разложила на диване какие-то тряпочки и что-то шила. По радио передавали «Пионерскую зорьку». Вдруг передача на полуслове оборвалась, и диктор торжественным голосом объявил, что умер товарищ Сталин. Нюся грохнулась на пол, завыла страшным голосом, порвала на себе платье и начала биться головой об пол. Волосы ее растрепались, лицо она себе расцарапала. Нюся, захлебываясь от слез, кричала во весь голос, что она без товарища Сталина больше не хочет жить.

Я забралась под письменный стол, забилась в угол и, чтобы меня совсем не было видно, задвинула поглубже свой стул. Нюся каталась по полу и причитала. Мне было так страшно, что я даже не могла плакать, закрыла глаза, зажала руками уши и так сидела ни жива ни мертва от ужаса.

Когда я открыла глаза, в нашей комнате в пальто, в шляпке и в ботах стояла соседка Таисия Ивановна, которая из ведра поливала водой лежащую на полу и орущую Нюсю. Нюся затихла, потом вскочила, схватила тряпку и начала вытирать пол.

Я просидела под столом до самого вечера, пока с работы не пришли мама и папа. Только увидев их, я выскочила и с диким ревом вцепилась в маму мертвой хваткой. Я ревела так, что у меня поднялась температура. На другой день мама на работу не пошла. Нюсю я к себе не подпускала, ревела белугой и цеплялась за маму обеими руками. Два дня я валялась в истерике. На третий день Нюся уехала к себе в деревню…

Следующая!

Новую няню долго не могли найти. Родители мучились. Была весна. Мама принимала экзамены в государственной приемной комиссии в училище. Папа пропадал двое суток в области, на происшествии, откуда, не заезжая домой, помчался в институт, на работу. Поэтому, когда утром позвонили в дверь и молодая женщина робко спросила: «Здесь няня требуется?», мама сунула ей меня и, на ходу надевая пальто, убежала принимать экзамены.

Через два часа соседи, благо мы жили в коммунальной квартире, по телефону нашли маму и сообщили ей, что у новой няни начались роды и они не знают, что им делать. Мама в панике перезвонила отцу и, не вдаваясь в подробности, выпалила: «Леня, у меня экзамены, а у нас наша нянька рожает!» На что папа со свойственным ему чувством юмора ответил: «Дорогая, какие ко мне претензии? Я ведь еще даже не был дома!» Потом весь папин мединститут потешался: «Слышали новость? У Свердлова домработница родила!»

Следующая!

Новую няню, украинку из Бендер Марию Степановну, жену бандеровского бандита, сидевшего в тюрьме «во глубине сибирских руд», папа нашел в какой-то деревне, куда выезжал на очередное убийство. Мария Степановна покорила всех: и родителей, и соседей, которым угодить было очень непросто. Высокая, смуглая, с роскошной цвета воронова крыла косой вокруг головы; казалось, у нее в руках все горит. Наша комната заблестела. Сверкала посуда, крахмально топорщились занавески, откуда-то взялись кружевные салфетки, постельное белье вкусно хрустело и пахло ветром и солнцем, обедали только на белоснежной скатерти – так вкусно мы не ели никогда в жизни. Папу Мария Степановна называла «пан», а маму – «пани». Нам откровенно завидовали все. Пока в один прекрасный день… соседи, не найдя маму, догадались позвонить в милицию, и папу нашли прямо на происшествии. Я только помню, как вдруг открылась дверь и в комнату ворвались папа и два милиционера. По-моему, у нас дома всё было хорошо. Я сидела за своим детским столиком, на котором стоял мой любимый зелененький пластмассовый кукольный чайный сервиз. Мария Степановна сидела на полу и наливала мне во все чашечки, чайничек, молочник и сахарницу сладкую вкусную красную водичку, я ее пила, и мы с ней пели веселые песни.

Мария Степановна с граненым стаканом в руке встретила папу и милиционеров как родных.

– О, пан Лазарь пришел! А мы с Анечкой гуляемо! Вы не подумайте чего, пан, я себе – беленькой, а Анечке только красненького наливала!

Почему-то папа не радовался. А ведь было так весело!

Меня сразу же отправили спать, а Марию Степановну я больше не видела. Панская жизнь закончилась, мы снова обедали, как все, на клеенке…

Следующая!

Немке Готлибовне (она сама просила называть ее только по отчеству) на вид было лет сто. Маленькая, сухонькая, с пегими волосами, собранными на макушке в старинный пучок, как на картинке в книжке со сказками братьев Гримм, Готлибовна была похожа на деревянный сучок с глазками. Она носила длинный передник, все время что-то терла и скребла, обожала моих родителей, низко кланялась, пыталась целовать им руки, а меня, когда мы оставались одни, шпыняла, проклинала и сверлила своими деревянными глазками. Я долго терпела. Потом однажды за обедом встала, молча подошла к Готлибовне и на глазах у всех вонзила вилку в ее сухонькую коричневую ручку… Отец, как обычно, когда я плохо себя вела, изо всех сил дал мне по физиономии, сломал мои очки, из носа у меня хлынула кровь… Мама металась между нами, не зная, за что раньше хвататься – за мой разбитый нос или за окровавленную руку Готлибовны. В общем, пообедали…

Короче, за Готлибовну меня сначала побили, потом все-таки со мной поговорили и, к моей великой радости, решили, что Готлибовна нам не подходит…

Следующая!

Я выросла, целыми днями пропадала то в обычной школе, то в музыкальной, и последнюю няню взяли уже не мне, а моему годовалому младшему брату. Корниловна смотрела исподлобья, вечно хмурая, ростом даже выше папы, возвышалась над всеми нами, как пожарная каланча. Она носила длинную пышную темную юбку, сверху – темную блузу с пышными рукавами, на голове – надвинутый на лоб и завязанный сзади большим узлом темный платок.

Однажды папа пришел с работы и сразу заглянул в кроватку, где играл мой брат. «Привет, сыночек, как дела? Папа пришел!» – с ласковой улыбкой ворковал папа. Первые слова в своей жизни, даже не слова, а целое предложение (вот какой умный мальчик!), которое произнес мой брат, звучало так: «Щас дам в молду – будешь знать!»

«Это кто же тебе так говорит?» – от неожиданности папа даже не сообразил, с кем он беседует. «Кониловна», – как ни в чем не бывало ответил малыш.

Вот так мой брат заговорил, а Корниловна была тут же уволена.

Потом мы уехали обратно в Ленинград, нянек больше не нанимали, брата «пасла» бабушка, мамина мама.

Жизнь деревни

Грань между городской и деревенской жизнью в послевоенные годы, конечно, существовала, но была она все-таки гораздо более мягкой за счет того, что в городских дворах, даже и в столице, еще стояли сараюшки с курами, голубятни с голубями, а кое-кому удавалось найти местечко и для грядки с укропом и луком. У меня лично осенью сорок восьмого года завелась уточка. В начале лета, когда мы жили на даче в Кратово, мне подарили утенка, и к сентябрю он превратился в упитанную птицу, вполне пригодную к жарке. Но об этом и речи не могло быть! Когда мне сообщили перед возвращением в Москву, что уточка останется у дачной хозяйки, я подняла рев: у меня были основания предполагать, что судьба моей уточки в хозяйских руках может оборваться трагически. Прадед мой придерживался того же мнения и вступился за нас с уточкой. Меня бы родители не послушали, но прадеда уважали и почитали, так что уточка была спасена! Я даже запомнила день переезда – мой прадед сидел в грузовике, а на коленях у него сидела завернутая в газеты уточка, упакованная к тому же в авоську. Прадед был в белых парусиновых штанах, и вскоре после того, как грузовик двинулся в сторону Москвы, брюки его подверглись со стороны уточки бесчестию. Прадед высунул авоську с уткой в окно грузовика и так, на вытянутой руке, довез нервную птицу до нашего дома. В Москве уточку устроили в дровяном сарае, мы с прадедом ее навещали: я по настроению, а он трижды в день – относил остатки еды после завтрака, обеда и ужина. Утка от своей судьбы не ушла – дворовые мальчишки сбили замок с сарая и хорошо поужинали. Перья я обнаружила возле помойки и горько плакала.

Настоящее соприкосновение с деревней произошло у меня пятью годами позже, когда меня отправили в пятьдесят третьем году на лето к деревенским родственникам, в Тульскую область. Все деревенские впечатления того года врезались накрепко: как я овец приняла за собак особой породы, как покусали меня пчелы, когда я вошла на пасеку, когда дед Василий с дымарем и в маске колдовал над пчелами, как упала с лошади… И самый первый ужин, когда поставили на стол общую миску с окрошкой, и я растерялась – никогда не видела, чтобы ели все из одной посудины. Хозяйка сообразила, дала мне отдельную тарелку, и это было еще более неловко.

Уже во взрослом состоянии мы с мужем попали в вологодские края, бродили по вымершим деревням, из которых ушли жители. А избы стояли, как будто готовые к возвращению

своих хозяев, не разоренные, с утварью и иконами, только дворы были заросшие и огороды одичавшие… Картина совершенно из «Марсианских хроник» Рэя Брэдбери.

Кажется, деревенская жизнь вместе с ее обитателями безвозвратно ушла в прошлое. Тем драгоценнее для нас эти воспоминания…

Зинаида Шевчук (записала внучка Оксана Черезова)
Бабушкина картошка

Бабушка моя, Зинаида Сергеевна, со своей семьей жила в Сибири, в маленьком городке со смешным названием Болотное, что в Новосибирской области. Когда дядя Саша, бабушкин брат, приезжал к нам в гости, то всегда читал свои стихи. Одна строчка запомнилась как-то особенно. Она показалась мне чрезвычайно смешной: «Каждый кулик свое болото хвалит, так хвалим мы Болотное свое…»

Бабушка рассказывает:

Тогда, в сорок пятом году, мне было десять лет, а Саше, моему старшему брату, тринадцать. Был еще младший брат Вовка. Ему где-то пять с половиной было. Вовка родился перед самой войной и папу не помнил вовсе. Отца забрали почти сразу, в июне 1941-го. До войны работал папа счетоводом в столовой. Спокойный был человек, мирный, домашний. Мама не работала, оставалась дома при детях, при хозяйстве. В нашем доме до той злосчастной войны всегда пахло пирогами и всякими вкусностями. А когда мужа забрали на военные учения, то пошла работать посудомойкой в столовую. В доме перестало пахнуть пирогами, в доме запахло войной. То есть война, конечно, была о-о-очень далеко, но лица людей стали мрачными, дети кожей чувствовали, что все вокруг привычное, радостное валится, ломается, и… как-то быстро взрослели.

Последний раз папка забежал домой в начале сентя-бря, когда их, уже подготовленных к боевым действиям, настоящих солдат, отправляли из учебки на фронт. Была у него всего-то пара часов до отправления состава. Поезд вез очередную сибирскую дивизию на Москву, в самую мясорубку начала войны, в лютую зиму 1941-го. И тем немногим местным, кто жил недалеко от станции, разрешили попрощаться с родными. Я так и запомнила эту картину. Папа, такой красивый в новой шинели, стремительно ворвался в дом, прижал к себе маленького Вовку да так и не отпустил до самого ухода. Всем хотелось подольше прижаться к папе, но Вовке, маленькому Вовке, который папу так и не запомнил, повезло больше всех…

Похоронка на папу пришла уже в январе сорок второго. Потом она куда-то пропала, и никто не запомнил той деревушки под Москвой, где он погиб. Да и нынешние поиски не помогли.

Если когда будешь на братских могилах под Москвой, поищи фамилию прадеда, Сафронова Сергея Дмитриевича.

Так вот. Тогда, в мае 1945-го, сразу после окончания войны, мы провожали своих латышей. Это была тетя Марта и ее сын, мой ровесник, белобрысый мальчуган со множеством веснушек на лице. Его удивительное имя запомнила на всю жизнь. Звали его Ойверс. Каким образом они попали в Сибирь, нам, детям, не рассказывали, но помню тот день, когда сердобольная наша мамочка, твоя прабабушка Нюра, привела их с небольшими пожитками в наш дом. Да точнее, не дом, а крохотную комнатку в густо заселенном доме с общей кухней. Я сейчас не очень хорошо представляю, как они поместились в той каморке, в которой и так с трудом размещалось все наше семейство. Мама рассказала, что зашла как-то в конюшню при колхозе и увидела, как молодая женщина со своим худеньким парнишкой, ежась от холода, спят прямо на земле, на соломе. На ногах была какая-то скудная обувка на деревянной подошве. Такую в Сибири никто не носил. Здесь отлично знали, что тутошнюю зиму прожить без валенок невозможно. Но эти люди приехали оттуда, где таких холодов отродясь не видели. Да и не по своей воле приехали-то.

С горем пополам, но и одежка на них постепенно нашлась. Не помню уж, кто да откуда, но люди принесли какие-то вещи, обувку мужнинскую – только чтобы не замерзли горемычные.

Вот уж навоевались мы с этим Ойверсом. Мамки утром на работу, а мы как сцепимся, так спуску не жди. Обычно без драки дело не кончалось. Зря, что ли, одногодки. А потом мирились как-то, без вмешательства взрослых обходились. И опять играли мирно… некоторое время…

А когда провожали, так даже расплакались оба. Да и мама с тетей Мартой обнялись, как сестрички. Потому что так вот мы вместе эту войну пережили, страшную войну.

Тетя Марта нам еще в тот год успела помочь картошку посадить. Два поля было у нашей семьи – десять соток и пятнадцать соток. Мама с тетей Мартой отдыха не знали. С их легкой руки и с божьей помощью картошка-то в этот год добрая, большая уродилась. Вот уж запомнилась мне эта картошка на всю жизнь.

В августе того же сорок пятого мама сильно ошпарилась кипятком на работе, и положили ее в больницу аж на два месяца. И мы с Сашкой тогда за старших остались. Ладно бы что поесть приготовить, Вовку в садик отвести да забрать. Ладно бы у самих школа. Так ведь картошку-то надо убрать! Осень в Сибири короткая, а зима длинная. Без картошки хоть сразу в гроб ложись – не выжить. Вот мама, лежа в больнице, нас с Сашкой и послала

эту картошку выкапывать.

Делать нечего. Голода все боялись. Принялись за дело. В сентябре холодновато было, мы уж шапки носить стали. Такие уже изрядно потрепанные шапки-ушанки из какой-то грубой материи. Ничего лучше не придумав, мы их сняли, да и стали в них выкопанную картошку складывать, чтобы удобнее до мешка носить. Потом в мешок высыпáли. Пока целый мешок наполнили, уже выдохлись изрядно. Уф…

Но теперь же надо этот мешок на тележку погрузить. Тележка такая немаленькая, деревянная на колесах с длинными оглоблями. Может быть, в нее когда раньше осла впрягали. Но у нас отродясь ни лошади, ни коровы, ни осла… Тем, у кого живность была, конечно, в войну полегче было. Особенно с коровой-то…

Ну что дальше-то? Надо этот мешок на телегу погрузить. А мы его и поднять не можем. И так и сяк пробуем. Уж какой нас смех тогда разобрал. Повалились мы на траву, катаемся, за животы держимся, остановиться не можем. Самолет летит, а Сашке еще веселее. Он мне говорит, а сам от смеха давится:

«Вот бы веревку закинуть на хвост самолету, хоть бы поднял нам этот мешок, что ли». И опять хохот. Дети – они всегда дети.

С горем пополам поле, что десять соток было, мы с Сашкой одолели. Я еще и школу не пропускала, Санька же прогуливал по-черному. Совсем школу забросил. Но времена были… никто даже не интересовался, почему дети учебу пропускают. Не до того…

Грязными ходили. Вовка вечно сопливый был. Как сейчас помню: штанишки на одной лямке и рубашка светленькая такая, но абсолютно засаленная. А один рукав у рубашки так глянцем и блестел от соплей. Платков как-то и в мыслях не было. Не то что в кармане. Рукав с соплями неплохо справлялся.

Что мы там ели, чем Вовку кормили, – уже и не припомню. Хотя… на память приходит такой момент, что приходим с поля, а руки-ноги трясутся от усталости. Садимся эту картошку чистить на ночь глядя… Как уж, как мы там ее варили и ели, не запомнила этого. И ели ли вообще…

Мама извелась вся от мыслей – как мы там, а мы ее навещать не успевали. Дел было и детских, а больше, конечно, взрослых… И печка, и хозяйство какое-никакое. Но помню, кто-то от мамы пришел да меня к ней позвал. Вот я бросила все да побежала в больницу. Боялась, ни случилось ли чего. А мама, как оказалось, с санитарками договорилась, и меня там ждали. Точнее, ждала… волшебная ванна с пронзительно теплой водой. Сказочное блаженство и ликование всего тела, не забытое за долгие годы. Это была диковинка для меня, не знавшей никаких других

способов мыться, как только в общей бане.

Ворчливые, но добрые тетки помыли меня, отдраили месячную грязь да расчесали спутанные непослушные мои волосы. Человеком в тот день из больницы вышла.

Да уж… А Сашка-то с Вовкой так до маминого возвращения грязными и бегали.

Так вот, поле-то в десять соток мы осилили. Выкопали все, не все – кто знает, но до дома довезли, в погреб переложили. А морозы уже поджимают. В одночасье вся сибирская земля, все дороги в месиво сплошное превратятся. Не успеть нам второе поле убрать. Ну никак не успеть.

Мама в больнице горькими слезами обливается, исстрадалась вся. Услышал ее страдания Боженька да руками главврача позвонил в горком партии, и дали нам в помощь тогда бригаду работников. Точнее… каких работников. Тогда везде только бабы и работали. Мужики чуть ли не в диковинку были.

Так вот, спасли нам они ту картошку. Выкопали. Привезли вечером во двор да свалили у крыльца. Вышли мы с Сашкой утром и ахнули. Гора огроменная получилась, конца-края не видно, до калитки не пройти.

Ох и долго же еще мы ее в подвал наш перетаскивали. Наверное, кто-нибудь нам и помогал, да только я такого не помню. У каждого по своей беде было.

Много разных историй бабушка рассказала. Про войну, про послевоенное тяжелое время. Про неурожайный, голодный 47-й… И все такие истории, что диву даешься, как выжили, как выдержали. Ведь и в Бога не верили, а послушаешь и поверить не можешь, что все это в силах человеческих вынести, без помощи чьей-то, без поддержки. Трудно поверить.

Ольга Мельник
Отзвуки войны

От воспоминаний тяжелых послевоенных лет сердце до сих пор сжимается от ужаса голодного времени. Был в войну девиз «Все для фронта, все для победы!», работали не покладая рук. Мы знали: так и надо, только бы наши родные братья и отцы вернулись живыми с войны домой.

В нашей семье было шесть человек детей. Брат умер от тифа, следом умерла мама. Старшая сестра училась в десятом классе, я в седьмом. Мы с ней решили тянуть жребий – кому учиться дальше, а кому быть с малышами. Младшим братьям и сестрам было семь, четыре и два года. Сестре повезло – ей досталась учеба, и она поступила в институт. А я, как несовершеннолетняя, пошла работать в колхоз на разные работы.

Война закончилась, но улучшения в жизни не замечалось.

Первое – это изношенная одежда и обувь. Дети и сама я из старой одежды выросли, а купить было негде и не на что.

Помню, нас с подругой послали на покос, сушить сено у поселка Луговой. Ходили пешком каждый день. Возвращаясь с покоса, решили искупаться. Нарвали лилий и шли деревней. К нам подбежали дети и попросили: «Тетеньки, дайте цветочек». Я отдала все, и подруга тоже, и вдруг она заплакала. Спрашиваю: «Тебе жалко цветы?» – «Нет. Зачем они нас назвали “тетеньки”?»

Целый день на жаре, слепни, лицо и руки в укусах, одежда нищенская, обувь мужская. В таком виде мы выглядели намного старше своих лет.

Второе – население нуждалось в строительном материале. А взять его было негде. И стали в ночное время потихоньку разбирать у Никольской церкви в центре села Рогачево кирпичную ограду и склепы. У многих жителей требовался ремонт печей после бомбежек советской и немецкой авиации. Вот и не стало ограды у нашей церкви.

Третье – о голоде. Хлебные карточки отменили, хлеб стали выдавать по списку – одну буханку на семью. Но чтобы ее купить, простаивали с вечера и всю ночь на холоде в очереди. Если по какой-то причине не взяли положенный хлеб, то назавтра его уже не вернут. Картофель сажали и выкапывали вручную, но по закону нужно было половину отдать государству. Поэтому часто картофеля на еду не хватало, оставляли обязательно на семена.

Наступал голод, все время думали о еде, кое-как зиму «протащиться», а весной шли на колхозные поля – собирать после

перепашки мороженую картошку. Из нее пекли лепешки.

С появлением всходов на поле ходить запрещали. Приходилось переходить на зелень: стебель лопуха, щавель, сныть, листья липы, осока, лебеда, крапива и все, что можно пожевать. Вот послевоенный рецепт: стебель и корень лопуха чистили, отваривали и ели.

Работая на полях колхоза, ждали, когда пошлют полоть морковь, чтобы хоть немного утолить голод. От зелени все нутро ныло, а все равно сушили травы на зиму. Морковь и свеклу сушили и пили чай. Ягоды в зиму брали только бруснику и клюкву – они хранятся без сахара. От обилия зелени и кислоты от ягод всегда хотелось есть. Детей приходилось обманывать: «Ложитесь спать пораньше и под подушку кладите ложку – каша приснится». От недостатка хлеба все время думали о нем. Сильно отекали ноги и лицо, много пили воды, чтобы не так хотелось есть!

В Москве открыли свободную продажу по повышенным ценам на соль, спички и подсолнечное масло. Очереди были огромные. Я ходила до Дмитрова пешком, приезжала в Москву, выстаивала всю ночь в очереди. В одни руки давали килограмм соли, пять коробков спичек и одну бутылку масла. Я с этим товаром потом ходила по деревням и меняла на картошку. Так нас и звали: «Менялки идут».

Наступила поздняя осень. Начались легкие заморозки. Дороги непроходимые, а лужи такие, что и не обойти. В канавах полно воды. Очень жалко было промочить обувь, и я разулась и прошла по ледяной воде довольно большое расстояние. Застудила ноги, и по телу пошли чирья. В аптеке лекарств не было, тем более мази. Валенки бередили чирья, нарывы так болели, что невозможно было ходить. В очереди женщина пообещала принести мазь на медвежьем жиру. Ее сын служил на Севере и прислал ей, а она поделилась со мной. Вскоре мои ноги зажили. До сих пор ее вспоминаю добрым словом.

Как мы жили? Мыла не было, делали щелок, заваривали золу и мылись и стирались в этой воде. В лес за дровами люди не ходили – боялись мин. Мы тоже не ходили, а пилили яблони и топили печи.

Чтобы ездить в Москву – нужны деньги. И я устроилась в школу секретарем. Зарплата низкая. Придешь получать зарплату и смотришь: удержан подоходный налог, бездетный налог, займ (ввели обязательный для восстановления народного хозяйства); членские взносы: профсоюзный, комсомольский, а дома лежат извещения для оплаты земельного налога, за страховку дома, самообложение, за радио и электроэнергию. И думаешь: а что же

останется на прожитие? Да ничего, только хлеб выкупить.

Соли нет, спичек нет, а о сахаре и говорить не приходится. Но – жили. В том числе и благодаря соседям, которые помогали приглядывать за детьми, выручали керосином и др.

Вот таким путем я смогла пережить трудные послевоенные годы и сохранить жизнь своим братьям и сестрам.

Мариам Власко
Городская девочка в деревне

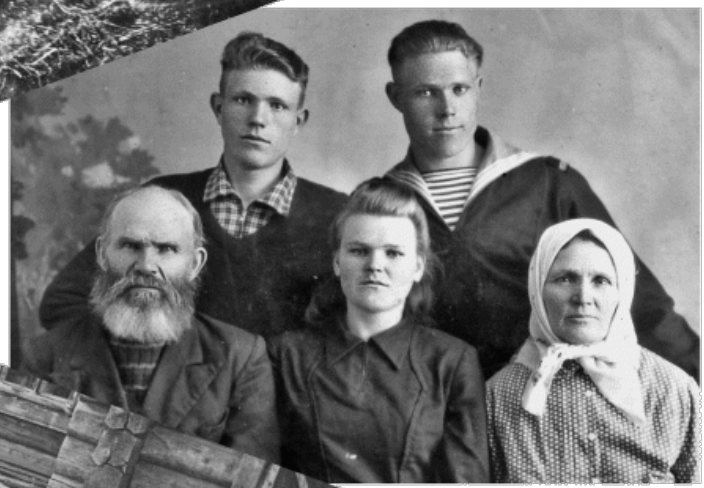
…Что еще из той жизни осталось в памяти… Да не так! Не осталось, а врезалось в память. Я, городская девочка, познакомилась с какой-то совершенно другой жизнью. Это совсем не было похоже на дачу где-нибудь под Москвой. Это была настоящая деревня. Сотрудников Домов ребенка расселили в семьях местных жителей. Мы с мамой попали в очень необычный дом. Старшим в доме, его хозяином, был Петр Романович, крепкий старик с седой окладистой бородой, как в литературе часто описывают кулаков. Да это и на самом деле был кулак, раскулаченный в тридцатые годы. Когда мы с его внучкой Ниной шли по деревенской улице, она то и дело указывала пальцем и приговаривала: вот это был дедин дом, и этот дедин дом, и этот тоже дедин дом… А еще у деда в те времена был целый табун лошадей.

Очень красочно, с большим воодушевлением он сам рассказывал о том, что у него было ровно сто уток и как они одна за одной цепочкой спускались к реке.

В этом же доме жили дочь Петра Романовича и его зять, Мария и Григорий Сафоновы, и их дети Нина и Шура (сын). Дом считался самым лучшим в деревне, хотя состоял всего из двух помещений. Первое называлось «изба», второе – «горница». Чтобы попасть в избу, надо было взойти на крыльцо, пройти через сени (довольно большие), а уже из избы попадаешь в горницу. Мы с мамой спали в горнице (там же, где хозяйка) на односпальной кровати. Нина на печке в избе. Дед на кровати в той же избе. Шура – на полатях. Шура был старше Нины года на три, Нина – старше меня на два года.

В чем же заключалась необычность дома? Считалось, по советским законам, что каждая семья имеет право держать определенное количество скотины, птицы и разных домашних животных. И Петр Романович решил с дочерью разъединиться. Он не вступил в колхоз, остался единоличником. Сафоновы же оставались колхозниками. Таким образом, скотины и другой домашней живности они имели вдвое больше, так как фактически жили одной семьей. Хочется сказать, что старик был не только умным и практичным хозяином. В немалом своем возрасте он был необыкновенно сильным и работящим. Вставал в пять часов утра, выпивал два стакана парного молока и шел работать во двор. Какие огромные копны сена он поднимал вилами – надо было

видеть! Кстати сказать, за то время, что мы жили, дед ухитрился еще и жениться. Привез из соседней деревни «старушку» лет так немного за шестьдесят. (Теперь, с высоты моего возраста, смешно ее так называть.) Звали ее Васильевна. Что забавно – ее покойный муж, точнее убитый, был в прошлом красным партизаном. И вот ирония судьбы: она оказывается женой бывшего кулака. Я как раз возвращалась из школы и увидела эту картину: конь везет в телеге молодую жену с корзинками и мешками, дед ведет коня под уздцы, а сзади к телеге привязана корова. Ее-то участь была вскоре решена: еще одна корова в одном дворе считалась для советской власти излишком.



Интересно отметить, что старик внимательно следил за сводками Информбюро о фронтовых делах и его очень волновал вопрос, дойдет Гитлер до Урала или нет. (Это по маминым

предположениям и уже значительно позже, когда можно было об этом говорить.)

Один эпизод из жизни этой семьи очень хочется описать. Вскоре после нашего поселения в их доме Сафоновы получили так называемую «похоронку»: «…Ваш муж Григорий Сафонов пал смертью храбрых…» и т. д. Понятное всем горе оплакивала семья, родня и соседи. В доме провели молебен. Помню, все молились сначала стоя, потом упали на колени и молились, кланялись в пол…

Но вот прошла зима. Наступила весна. И однажды в один из ярких весенних дней я почему-то не пошла в школу. В доме оставались, кроме меня, Васильевна и Петр Романович. Старик работал где-то во дворе за баней. Васильевна занималась готовкой. Я сидела на лавке у окна, за которым – шлеп, шлеп, шлеп – звонко падали капли с сосулек. Вдруг смотрю, калитку у ворот открывает какой-то военный. Одна рука на перевязи. Я кричу: бабушка, к нам кто-то идет. А он уже заходит в избу, снимает пилотку, вежливо здоровается и спрашивает: «А где хозяева?» Васильевна бегом за дедом. Он вошел и… возгласы радости, объятия… и все такое… Надо сказать, что весной все колхозники работают на полевом стане, то есть они находятся далеко от дома, там и живут. Поэтому дед торопливо оседлал своего Бурку и поехал за дочерью. Как он потом рассказывал, Мария всю дорогу плакала и приговаривала: «Тятя, зачем ты меня обманываешь?!»

Такие события, когда пропавших без вести случайно записывали в убитые, бывали. Григорий лишился трех пальцев на правой руке, то есть не мог владеть оружием. Его отпустили домой. Считай, повезло.

А вот еще интересный момент из той далекой жизни, связанный с той самой лошадкой Буркой, которая везла счастливую Марию домой. Этот конь был когда-то лучший из всего табуна, и был он у деда, что называется, «выездной», то есть он не работал в поле, а хозяин выезжал на нем по своим делам. И этого коня забрал себе председатель сельсовета. И так как лошадь не своя, а колхозная, то обращались с ней самым бесчеловечным образом. Конь устал, а его продолжали гнать кнутом. И загнали. Конь умирал. Петр Романович пришел в сельсовет и упал в ноги председателю.

– Отдайте мне, все равно помрет. Может, я его вы́хожу. Вы́хожу – оставьте мне.

Сжалились – отдали. Дед подвел под брюхо коня широкие холстины (тот уже не мог даже стоять). Таким способом как бы подвесил его и кормил и поил из рук. Вы́ходил. И вот уже при нас

я видела, как обращался Петр Романович с Буркой. Никогда не гнал, если тот шел медленно, никогда не поднимал руку с хлыстом.

Что еще памятно из тех дней, так это сельская жизнь, дотоле неизвестная мне. Я научилась носить воду на коромысле, помогала пасти корову, запрягать лошадь, даже управлять. Научилась плавать. Переплывала быстрый узкий в том месте Урал, посещая попеременно то Азию, то Европу. Еще хорошо помнится: всё время хотелось есть. Мы с мамой получали продукты по карточкам. Иногда добрая бабушка Васильевна тайком от хозяев наливала мне кружечку молока.

Светлана Крапивина
Сытая деревня

В 1952 году я впервые оказалась в деревне Новгородской области, откуда был родом давно ушедший из жизни мой дед и где до сих пор жили его сестры и братья.

В деревне для нас все вокруг казалось чрезвычайно интересным и необычным. Нам очень понравились деревенские избы, где внутренние стены из бревен без всякой обшивки выглядели естественными и красивыми. Поражали двери, ведущие в избу и закрытые на щеколду, которую легко можно было открыть снаружи, потянув за кожаный ремешок. Замков на дверях не было… Мы впервые оказались в настоящей деревне, а потому с любопытством наблюдали за жизнью коров, свиней, овец и кур. Радостно встречали корову Пташку, когда стадо возвращалось домой, вооружались ветками с листьями и обмахивали ее, отгоняя оводов, пока бабушка Наташа ее доила. Помогали рубить зеленые «дудки» в деревянном корыте для поросенка, да и сами с удовольствием поедали эти сочные и вкусные растения. С интересом кормили кур и удивлялись, что они почему-то стараются откладывать яйца в каких-нибудь потаенных местах.

Жизнь в деревне нам казалась тогда весьма интересной, благополучной и, главное, очень сытой. Наше отношение к колхозам и сельской жизни формировалось под влиянием кинокомедии «Кубанские казаки», которая вышла на экраны в 1949 году. Сталину приписывают фразу, сказанную им после первого просмотра этого фильма: «А все-таки неплохо у нас обстоит с сельским хозяйством». Впервые побывав в деревне, я еще не задумывалась над тем, что наши родственники-колхозники не имели паспортов, а потому не могли без особого разрешения навсегда покинуть родную деревню. Не понимала, почему, много и тяжело работая в колхозе, деревенские жители дополнительно копаются в земле и на своем приусадебном участке: разве они не зарабатывают трудодни? Того, что за годовые трудодни колхозники в итоге получали такое количество продуктов, которое мог спокойно унести один человек, я даже представить себе не могла. Почему-то не придавала особого значения тому, что каждое утро в телеге с большой бочкой из деревни в районный центр выезжает старик-молоковоз, который везет молоко, собранное после утренней дойки во всех домах колхозников, где есть коровы. Не понимала, почему из деревни,

казавшейся мне земным благодатным раем, люди стремятся любой ценой вырваться в город или хотя бы на какую-то другую, пусть и тяжелую, работу, которая обеспечивается зарплатой. В ранней юности не задумывалась, а зарубки в душе остались на всю жизнь…

Александр Коварский
«Пойдем к деукам!»

«Пойдем к деукам!» – говорил Леша обычно под вечер, начистив до блеска медали и сапоги. Мы всегда были желанными гостями в окрестностях Новогрудка. Леша числился ординарцем моего отца. Так в советское время назывался «военнослужащий, состоящий при командире для выполнения служебных поручений, передачи приказаний и т. п.». А практически это были обязанности денщика (по Ожегову: «До революции – солдат, состоящий при офицере для личных услуг».) Леша появился в нашем доме после войны и трудился под командованием бабушки: пилил и колол дрова, топил печи, приносил воду из колодца, ездил за продуктами, то есть занимался домашним хозяйством. Я считал его, двадцатипятилетнего, членом семьи. Среднего роста, русоволосый, худощавый, с голубыми глазами, в которых всегда играли смешинки. По рассказам отца, он не раз глядел в лицо смерти, обезвреживая снаряды, мины, выполняя другие опасные задания. Его гимнастерку украшало много боевых наград.

После ранения и контузии Леша немного прихрамывал и плохо слышал, поэтому говорил громко, по-волжски «окая». В 1945 году в школу я еще не ходил и проводил с ним много времени. Крестьянский сын, Леша быстро находил общий язык с самыми разными людьми. Я любовался им, когда с шутками и прибаутками он весело торговался на рынке, ему всегда уступали в цене.

Перед Лешиным обаянием трудно было устоять, появление такого завидного жениха становилось праздником для незамужней части деревни. В чьей-то просторной избе появлялся гармонист, плотные краснощекие девахи накрывали на стол. Обычно из печи доставался чугун с рассыпчатой картошкой, появлялась пузатая бутыль мутного самогона, душистый хлеб, сало, соленые огурцы. Выпив и закусив, компания заводила песни. Мне запомнилась одна очень грустная: «Пускай могила меня накажет!» А за что – я так и не понял.

С некоторых пор мы зачастили в дом, где жила Мария. Кажется, Леша полюбил красивую статную девушку, и ему отвечали взаимностью.

Осенью 1946 года саперную бригаду расформировали: молодых солдат направили служить в другие части, а старослужащих – демобилизовали. Настал день, когда мой друг,

тепло распрощавшись с обитателями дома пана Кадзика и обещая писать, направился с Марией на вокзал. Она была уже на сносях. Леша повез ее в родительский дом в Саратовскую область.

Его жизнь сложилась непросто: Леша был уже женат, точнее сказать, – расписан. Перед войной он, весельчак и балагур, «гулял» со многими девушками. А уходя на фронт, привел одну из них в ЗАГС, чтобы в случае его смерти та получала пенсию. Тогда многие так поступали. К счастью, Леша не погиб, а глубокой привязанности, по-видимому, у него не было. За четыре военных года, после всего пережитого, он и вовсе о законной супруге позабыл. Но она-то о нем помнила! Каково же было всеобщее удивление, когда однажды, свалившись словно с неба, предъявила свои права на Лешу.

– Мне некуда деваться, – лепетала она, – отец выпроводил из дома: должна, мол, жить со своим законным мужем, хватит есть родительский хлеб! Я не боюсь никакой работы!

Леша был добрый человек. Посоветовавшись с отцом и матерью, оставил женщину в доме на правах родственницы. В просторной избе места хватало, а в крестьянском хозяйстве пара рук всегда нужна. В деревне ничего утаить нельзя, поползли слухи – в христианском обществе двоеженство осуждалось. Через какое-то время Леша с Марией уехали в большой город.

С тех пор прошло много лет. Давно ушел из жизни мой отец, наверное, нет и его бывшего ординарца. Я с теплотой вспоминаю послевоенное время, прожитое рядом с Лешей, произнесенную с молодецкой удалью замечательную фразу, звучащую и сегодня как боевой клич: «А пойдем-ка, Шурик, к деукам!»

Светлана Кайсарова
Требушастая Изабэлья

Редкая деревня на Псковщине отличается красотой названия. В одной из них, Мокрове, шестым и последним ребенком (долгожданная девочка) и родилась моя мама в мае 1943 года. Отец ее, мой дед Леня, был призван на фронт спустя два месяца после ее рождения, так что все трудности выживания семьи на оккупированной территории достались моей бабушке.

Мамино первое детское воспоминание связано с самым счастливым событием в жизни ее семьи – это возвращение отца с фронта. Он пришел домой в августе 1945 года, когда его уже отчаялись ждать…

Странно, но цепкая детская память не сохранила ни объятий, ни подбрасывания хрупкой дочурки вверх, ни ощущения колючей щетины при поцелуях, ни запаха горькой махорки… Может, этого всего и не было? Удивительно, но остался один цвет, вернее, разноцветье. Это была горстка первых в жизни конфет, завернутых в разные фантики и выложенных на большой деревянный стол. На фоне серой отцовской шинели и серой скатки эти сласти, конечно же, выглядели радужным фейерверком! Чтобы добраться до гостинца (именно «гостинца», не «подарка» – слово, к сожалению, стремительно устаревает), надо было сделать огромное усилие: встать на «персточки», на кончики пальцев, на «носочки», и протянуть руку. Почему-то именно это усилие ярче всего застряло в памяти моей мамы. И действительно, пока она помнит об этом, ее жизнеспособность неисчерпаема: с раннего детства она усвоила, что все самое яркое в жизни достигается ценой усилия, собственного большого труда.

Более осознанные воспоминания относятся уже к началу учебы.

Школьная пора рожденных в войну пришлась на первую половину пятидесятых: тяжкий деревенский труд сопрягался с неудержимым стремлением к знаниям. Политика партии требовала неукоснительного осуществления образовательной программы: несерьезного отношения к школе не допускалось и в мыслях.

Сейчас от маминой деревни практически ничего не осталось: в ней доживают свой век несколько энтузиастов, а после войны она насчитывала более сорока дворов, и, конечно, там была начальная школа. Деревенский учитель – царь и бог. Был такой и в мокровской начальной школе – Леонид Николаевич Успенский,

член партии, прошедший войну, семинарист в прошлом. Надо ли говорить, что ему одному было не под силу справляться с сорока учениками, причем обучая их в разных классах? Уж сколько деревянных указок было сломано о головы нерадивых! Незадачливый ученик мог схлопотать и за неряшливый внешний вид. Так, старшего брата мамы Леню наказывали (били) за цыпки на руках, хотя совершенно очевидно было, что появлялись они по самой простой причине: не было рукавиц! Да много чего не было! Самая острая нехватка ощущалась в обуви. Многие ходили в школу за пять-семь километров: обувь изнашивалась быстро. Семьи были большие, и часто дети ходили в валенках по очереди.

Когда для мамы наступило время переходить из начальной школы в среднюю, Леонид Николаевич спросил у родителей, смогут ли они обеспечить ее зимней одеждой и, самое главное, валенками: средняя школа находилась в пяти километрах от Мокрова, а зимы были лютые. Поскольку мама была последним ребенком в семье, она оказалась последней и в детской обувной очереди… Так она осталась на второй год в четвертом классе.

На мои недоуменные вопросы по поводу излишней «строгости» учителя мама старалась объяснить мне, что то чувство, которое он вызывал у своих учеников, к сожалению, уже не встречается в нынешней жизни: это и не любовь, и не уважение, и не страх… Это был трепет… И добавляет: «А учитель он был хороший».

Были, конечно, в сельской школе и праздники. Долгожданным для младшеклассников был Новый год. Ставили елку, водили хоровод, кульминацией же была раздача подарков. Каждый приносил из дома заготовленные пакетики: кто бумажные делал сам, кто шил торбешечки. Каким счастьем было обнаружить в них карамель и печенье! За подарками детей приглашали на импровизированную сцену с кумачовым президиумом. Совершенно естественно, что к празднику готовились: дети учили стишки и песенки, а некоторым счастливчикам мамы шили наряды. Нет-нет, не карнавальные костюмы, не было «лисичек» и «зайчиков», Мальвин и Петрушек… (Что за дикое роскошество?) Коле Фукалкину справили обнову – черную сатиновую рубаху. Вот это праздник! Так ведь подвели и цвет, и фактура: вылезли наружу недовольные вши и, распугав ребятню, серебристым дождем заскользили по спине… Зинке Михайловой тоже повезло. Ее матери, как вдове погибшего на фронте солдата, выдали кусок мануфактуры на хозяйственные нужды. Какие послевоенные радости? Недолго думая, она выкрасила полотенечную материю в оранжевый цвет и раскроила дочери платье. Сшила по-модному: рукава буфом, талия на

сборке… На новогоднем утреннике Зинка была в центре внимания: ее яркое, плохо прокрашенное платье затмило елку и привлекло внимание малышей; они кружили вокруг девочки хороводы, щупали ее беспрестанно и смеялись над ней. «Посмотрите, посмотрите! Зинка в требушастом платье пришла!» Настало время получать подарок – на сцену она не вышла, проплакав весь праздник за печным стояком.

Самым грандиозным по размаху был почему-то Первомай. Странно, но День Победы проходил в деревне самым будничным образом, а на праздник Международной солидарности трудящихся в школу приглашались родители и поселковая администрация. Делом чести было подготовить достойный номер. У мамы был красивый голос – и однажды ей с Тамарой Тимофеевой поручили исполнить песню…

Текстами никто не снабжал, переписывать их было неоткуда, да и некому, а вот пять куплетов нужно было выучить на слух, несколько раз прослушав уже и без того заезженную пластинку. Патефон имелся у самых зажиточных в деревне, у Быченковых. Послевоенная псковская деревня жила открыто: разрешения воспользоваться музыкальным автоматом даже спрашивать не предполагалось, тем более ради общего дела. Репетиции начались незамедлительно, и девочки легко и просто выучили все куплеты… кроме первого. Вот незадача!

Как же просто и ясно звучало все остальное!

Родной стране на славу,
Врагам своим на страх,
Рекорды перекроем
В колхозе на полях!

Мы колос наш зернистый
С полей своих сберем
И хлеб наш золотистый
Мужьям на фронт пошлем.

Мы шлем бойцам подарок,
Привет наш трудовой.
Пусть крепче рвутся бомбы
Над вражьей головой!

В советские амбары
Плыви, зерно, рекой.
Нам Сталин улыбнется
В победе трудовой!

Да и в начале песни все было вроде бы знакомо, смущала лишь некая Изабэлья, к которой надо было прокладывать путь трудом:

Трудом мы к Изабэлье
Проложим путь себе.
Пусть гнутся наши нивы
Колосьями к земле!

Детское недоумение не могли развеять и взрослые, призванные на помощь. Старики напрягали слух, пытаясь опытным ухом уловить то, что молодым неведомо. Приглашали соседей, спрашивали у родителей. Пластинку заездили вконец – все тщетно: тайна Изабэльи оставалась нераскрытой. Близилось время праздника. На репетиции в присутствии директора колхоза решили не очень-то нажимать на непонятную незнакомку. Но она мучила детское сознание. Трудно предположить, что дало силы моей маме, бедной деревенской девочке, спросить у строгого учителя, чем так прославилась эта иностранка в русской деревне. Все вдруг встало на свои места, когда Леонид Николаевич объяснил, что о женщине в песне нет речи, а неизвестное слово «изобилие» означает непонятное в ту пору явление – это когда у всех всего много, даже больше, чем нужно. Люди не знали слова, потому что не существовало явления, которое его обозначает…

Концерт удался, девочки выступили хорошо, все хлопали. Эту песню моя мама помнит до сих пор, а любимой сладостью у нее продолжает оставаться карамель. Я знаю почему.

Инвалиды

Со статистикой всегда сложности. Цифры недостоверны, из самых разных политических соображений они то завышаются, то занижаются. По одной из официальных сводок, общее количество инвалидов в 1946 году оценивалось в 12,5 миллионов. Государство начисляло инвалидам пенсию в зависимости от последней довоенной зарплаты. Пока существовала карточная система, этих малых денег хватало, чтобы выкупить продукты, распределяемые по карточкам. Когда в 1947 году карточную систему отменили и расцвел черный рынок, выжить инвалиду с очень маленькой пенсией стало почти невозможно: цена одной буханки хлеба у спекулянтов превосходила месячную пенсию. Целая армия инвалидов вышла на улицу за подаянием. Рынки, привокзальные улицы, вагоны электричек оказались буквально оккупированы безногими, безрукими, слепыми, распевающими песни под гармошку. Это были солдаты, выигравшие войну, – грязные, пьяные, опустившиеся. Калеки, увешанные орденами.

В один прекрасный день – вернее, ночь – они исчезли из больших городов. Существует официальный документ, доклад министра МВД Круглова, направленный руководителям государства, Маленкову и Хрущеву, от 20 февраля 1954 года, в котором сообщается, что «несмотря на принятые меры, в крупных городах и промышленных центрах все еще продолжает иметь место такое нетерпимое явление, как нищенство. Во второй половине 1951 года задержано 107 766 человек, в 1952 – 156 817 человек, а 1953 – 182 342 человека. Среди задержанных нищих инвалиды войны и труда составляют до 70 %».

В крупных городах прошли облавы на бездомных и нищих. Проводила их милиция совместно с сотрудниками МВД. Задержанные инвалиды были изолированы от общества, помещены в дома инвалидов «закрытого типа». Это было совершенно сатанинское изобретение: у инвалидов отбирались паспорта и солдатские книжки, навещать их было запрещено, и охранялись эти интернаты почти с той же строгостью, что и лагеря заключенных. Их могилы исчезли, кладбища, где их хоронили, заброшены. Только в последние годы появились публикации о судьбах этих безжалостно выброшенных из жизни людей.

Проблема военных инвалидов существует с глубокой древности. В Древней Греции инвалиды и их семьи содержались за счет республики. Во времена Римской Империи воины, получившие увечья в бою, пользовались многими привилегиями:

им выделяли земельный участок и денежное содержание. Ветераны и инвалиды были уважаемыми членами общества. Были созданы Коллегии ветеранов, занимавшиеся лечением больных и инвалидов, организацией «почетных похорон».

Эта древняя традиция не умерла и в Средневековье. Император Карл Великий в IX веке нашей эры приказал монастырям принимать увечных воинов, а в XIII веке Людовик Святой поселил в одном из своих замков бывших крестоносцев, искалеченных и ослепленных сарацинами.

В 1674 году в Париже Людовиком XIV был основан Дом инвалидов, который существует и поныне. Сейчас в нем содержится меньше ста инвалидов, участников Второй мировой войны и Сопротивления, но были времена, когда население этого знаменитого дома доходило до 26 тысяч, – это 1812 год, когда после проигранной кампании вернулись на родину раненые и калеки.

Первым правителем, позаботившимся об инвалидах в России, был Петр I: в 1720 году он издал указ о размещении военных инвалидов в монастырях и вменил монастырям в обязанность ухаживать за ними и содержать их. Таков был общий ход истории, общее движение мира по пути гуманизации.

При советской власти было написано много указов и постановлений, которые были направлены на улучшение положения военных инвалидов. Но практика жизни такова, что и по сей день немногие оставшиеся в живых ветераны, а среди них и инвалиды, стоят в очередях на получение социальных квартир, а новые отряды безруких и безногих инвалидов новых войн нищенствуют по вагонам метро и электричек. Гуманизация общества, следовательно, коснулась и нас: на остров Валаам военных инвалидов больше не выселяют…

Альбина Огородникова-Ястребова
Равные среди равных

Рядом с моей школой № 25, за высоким забором, была церковь, за ней, недалеко, – городской базар, который в начале пятидесятых годов (да и позднее) был очень популярным местом. Частенько после уроков мы бегали туда посмотреть, послушать, потолкаться среди народа. В магазинах тогда ничего не было и всё что нужно покупали на базаре: одежду, обувь, ковры с лебедями и красавицами.

Особенно интересно было сразу у входа на базар. В базарные дни – субботу и воскресенье – начиная от церкви до базара по обе стороны дороги сидели, стояли нищие. Внутри базара сразу за воротами была территория инвалидов; они сидели на каких-то самодельных платформах-повозках на колесиках, очень низких, почти у земли.

Я помню одного без обеих ног, он сидел на сколоченных вместе коротких досках-платформе. Руками отталкиваясь от земли, он быстро ехал туда-сюда, покрикивая на других инвалидов. Мы решили, что он здесь вроде директора. Другого, без рук и без ног, пьяного, привозила на базар на такой же платформе с колесиками женщина, тоже всегда пьяная. Она ставила на землю около него полмешка семечек, и он продавал их, нещадно ругая всех и матерясь. Семечки в стакан насыпали сами покупатели, а он в это время ругал их. Но никто не обижался, не останавливал его и не ругался в ответ.

Один инвалид без обеих рук имел солидный «бизнес». Около него стоял ящик, на нем – ученый попугай (и где он его взял?!) и коробка с листочками бумаги – картотека; вокруг много любопытных. Всегда находились желающие узнать судьбу, клали деньги за гадание инвалиду в карман, попугай клювом вытаскивал листочек бумаги, где напечатано было предсказание; они были разные, но в основном обещали счастье и удачу: «Скоро разбогатеешь», «Встретишь любовь и счастье через два месяца», «Умрешь от несчастной любви», «Жизнь будет счастливой, но будь осторожен», «Берегись черного глаза» и подобное. Люди читали, бросали эти бумажки, мы подбирали их, удивляясь прозорливости попугая, – ведь он, прежде чем вытащить бумажку, выбирал среди многих именно эту.

Полюбовавшись на ученого попугая, мы шли послушать певцов, вокруг которых всегда стояли слушатели, сочувствуя и певцам-инвалидам, и содержанию их песен, всегда печальных и

жалостных: муж вернулся с войны, а у жены – другой; пели о Марусе, которая отравилась; о мачехе, заставившей мужа зарезать свою дочку… Пели они и патриотические песни о Родине, о Сталине.

Базар для инвалидов был их обществом, их средой, где они были равными среди равных. Родина, о которой они пели, предала их, фронтовиков, взяв у них здоровье и оставив нищенствовать и умирать заброшенными, никому не нужными. Где, в какой стране еще такое возможно?

Галина Пигулевская
Остров

Послевоенная ленинградская коммуналка, комната с окном, глядящим в глухую стену выступающего во двор черного лестничного хода, раннее утро с приглушенным светом старой настольной лампы. Заводские гудки Выборгской стороны, сливаясь в один беспокойно-угрюмый звук, хлопанье соседских дверей и звон посуды на кухне в проснувшейся квартире беспокоят мой сон. Утренняя пелена застит глаза, но и сквозь нее я угадываю хорошо знакомую картину.

Отец, сидя у печки на облупленном детском стульчике, цепляет за крючки шнурки высоких ботинок, из которых торчат еще более высокие носки. К их верхним краям крепятся чудовищные змеи горынычи из широких резинок, кожаных треугольничков, соединяющих их, и разных металлических пряжек. Они опутывают ноги почти до колен, не давая носкам сползти и открыть чужому взору их неприглядную белизну и худобу. Я понимаю их необходимость, видеть эти ноги мне тоже не хочется.

На то была причина. В полумраке комнаты они казались мне похожими на искусственные ноги инвалидов, которые первые послевоенные годы дневали на прилежащих к вокзалу улицах. Вся округа знала их в лицо и даже по именам, но никто не знал, где они ночуют. Все жалели их, бросали в шапки мелкие деньги, но, стыдясь своего неувечья, в глаза старались не смотреть.

И мое сердце сжималось от этой выставленной напоказ непоправимости, и даже детство не мешало глубоко ощущать их беду. Мне представлялось, что ни ложиться спать, ни просыпаться им негде, что утром они не умываются и не пьют чай, что день и ночь, в холод и в дождь они сидят на улице голодные. От невозможности помочь хотелось поскорее пройти мимо не глядя, забыть, но взгляд почему-то тянулся туда, запоминая, пока другие картинки жизни, попавшиеся на пути, не вытесняли это виденье и оно не гасло в сознании до следующего раза.

Фото Fotobank

Фото ИТАР-ТАСС

Фото ИТАР-ТАСС

Фото ИТАР-ТАСС

На наших улицах их было несколько. Иногда они исчезали на время или навсегда, но никто не задавался вопросом, а где ж они? О них вспоминали лишь когда кто-нибудь вновь попадался на

глаза после отсутствия. Самыми постоянными были сидящий прямо на асфальте молодой парень Коля и дядя Петя на деревянной платформочке на подшипниках. Кто они, откуда и как сюда попали, если и было кому известно, то я их трагических историй никогда не слышала.

Колино хмельное веселье мирило его с жизнью, он пел песни и даже заигрывал с девушками. Два его оголенных протеза от колен занимали половину узкого тротуара, на котором он сидел, но никому не мешали, как будто что-то невидимое ограждало их от прохожей вереницы. Нередко его веселье, усыпляя стыдливую жалость, находило отклик: и подающие, и просто проходящие мимо с улыбкой приостанавливались послушать его. А дядя Петя, по моему тогдашнему разумению, дремучий дед с косматыми головой и бородой, с громадными мясистыми руками и едва угадывающимися остатками ног в грязных штанинах, завязанных узлами, сидел на своей тележке.

В противоположность Коле, дядя Петя от хмеля если не спал, свалившись на бок, отчего совсем переставал быть похожим на человека, то был злобен, размахивал руками и что-то выкрикивал, от этого было особенно страшно и хотелось не просто пройти, а побыстрее пробежать мимо, но бежать было стыдно.

Иногда мама, сунув в руку пятачок, подталкивала в спину, заставляя опустить его в лежащую на асфальте шапку. Этот жест доброты возвышал меня в собственных глазах, к страху и жалости присоединялась гордость.

Со временем, привыкнув к их постоянному присутствию на одном и том же месте, мое сердце, глядя на них, сжималось все слабее, да и ритуал подношения медной дани уже не возносил на прежние высоты.

Осмелев, я уже могла рассматривать эти сначала пугавшие до ужаса остатки бывших ног и их искусственные продолжения. Потом стали заметны следы их жития в виде разного рода объедков и неизменно торчащей из кармана бутылки водки. Эти наблюдения прибавляли успокоения душе, что все же кто-то присутствует и участвует в их непонятной и, казалось, никому не нужной жизни.

Так оно, в сущности, и было: всегда находилась добрая душа, которая на собранные в шапку деньги, добавив недостающее, приносила из ближайшего магазина буханку хлеба, еще чего не жалко и бутылку водки. Но в начале пятидесятых годов инвалиды исчезли с улиц.

В одночасье это произошло или нет, никто не заметил. Потом, где-нибудь в очереди, где скрашивающий время разговор обо всем так же нескончаем, как и сама очередь, можно было

услышать, что люди поименно знают и помнят героев и искренне удивлены столь долгим и загадочным их отсутствием. Так естественным образом все же возник вопрос. А где ж они? Когда и куда исчезли? Куда же это они ушли-уехали на своих протезах, культях и дощатых каталках на подшипниках? Поговорили, повспоминали, поудивлялись, а потом и забыли: с глаз долой из сердца вон.

А они не ушли и не уехали, а уплыли на прекрасный остров Валаам. С легкостью, несравнимой с охотой на бездомных кошек и собак, они были отловлены, погружены на баржи и обречены на жизнь, в которой было где вечером ложиться спать, а утром просыпаться… И больше ничего.

Ян Хуторянский
Военная тайна

Из всех мужчин нашей родни, ушедших в сорок первом году на фронт, вернулись двое – один без ноги, другой контуженный. В первый послевоенный год многие инвалиды находились в глубокой депрессии.

Протезы были тяжелы и неудобны, в кровь стирали культю. Большинство фронтовиков пользовалось костылями.

Не раз видел, как, выпив с горя, искалеченные войной молодые мужчины пускали в ход костыли на «гнид, отсидевшихся в тылу», как кричали они в запале. Пытаясь разнять дерущихся, на улицу выбегали жены и дети фронтовиков, но порой и им доставалось под горячую руку.

В те годы многие супруги, вступившие в брак перед самой войной и разлученные ею, вновь привыкали друг к другу. Тяготы быта, потеря здоровья и связанные с этим проблемы стали для многих экзаменом, который выдерживали далеко не все.

Эхо войны долго напоминало о себе.

На похороны моего дяди – инвалида войны – приехала девушка, которую прежде никто из нашей родни не видел. Стояла поодаль от всех, прощаясь с дядей, горько плакала.

Ее пригласили на поминки и познакомились. Оказалось, что фамилия и отчество незнакомки те же, что у родных сыновей дяди. Это была его внебрачная дочь, которая рассказала, что в сорок третьем году ее мама-врач спасла от заражения крови тяжелораненого майора. Ногу пришлось ампутировать, и после выписки из госпиталя он поселился у своей спасительницы. Она была вдовой, муж погиб на фронте, а детей до войны завести не успели.

Об этой истории знала только бабушка, но она унесла военную тайну сына с собой. Сегодня наша родственница живет в Украине, которую когда-то освобождал ее отец.

Ольга Наумова
Дядя Митя

Из далекого-далекого детства еще вижу нас с бабушкой на кухне, сидящих у большой, теплой плиты. Бабушка говорит, как она соскучилась по своим сынкам, которые ушли на войну, и по мужу, которого «забрали». Каждое слово падает мне прямо в сердце, и я как могу утешаю ее. Потом стало известно, что трое ее сыновей погибли на войне (еще двое работали в тылу), а один, дядя Митя, вернулся! Его возвращение – тоже яркая вспышка памяти. Это был уже 1947-й. Вижу нашу большую комнату, дядю Митю, сидящего на стуле в окружении родни. У него очень красное лицо, он говорит с натугой, запинаясь, широко открывая рот перед каждой фразой, и как-то громко, неестественно и стеснительно смеется. Когда дядя Митя ушел ночевать к своей семье, я стала его передразнивать и была потрясена, что отец дал мне затрещину!

Оказалось, что дядя Митя вернулся с войны контуженным, и даже в таком состоянии его из армии отпустили не сразу: он конвоировал в Сибири ссыльных.

Геннадий Шульгин
«Кипиток»

На станции было интересно – постоянно можно было налить кружку горячей воды из крана с надписью «КИПИТОК» (я потом долго считал, что это слово так и пишется). Останавливались поезда, и нас иногда сердобольные проезжающие подкармливали, а мы им за это пели песни из военных фильмов. Было очень много инвалидов, передвигающихся кто на костылях, а кто на самодельной тележке на подшипниках. Их жалели и частенько угощали самогонкой. На базаре под гармошку, с приделанной к ней жестяной кружкой, пел жалобные военные песни слепой, а ему звонким голосом подпевала девочка-поводырь, которую звали Секлета!

В грузовых полувагонах везли на переплавку разбитую военную технику, бесчисленное множество гильз, осечечных патронов и еще много всякого «добра»! Латунные немецкие винтовочные гильзы мы отдавали слесарю дяде Мише, у которого один глаз был стеклянный, и я с ужасом смотрел, как он его иногда вынимал из глазницы и опускал в стакан с водой. Дядя Миша делал из гильз зажигалки и продавал их на барахолке или выменивал их на махорку и муку.

Антонина Кухтина
Они играли на гармошках

Наш небольшой сибирский городок Боготол во время войны, разумеется, находился в глубоком тылу, поэтому несколько школ были отданы под госпитали. Конечно, когда я, послевоенный ребенок, уже стала осознавать себя, школы опять были школами, а госпитали перевели в другие города. Но в Боготоле осталось много инвалидов. Одним просто некуда и не к кому было возвращаться. Другие не хотели стать обузой в своих семьях. А кому-то уже было все равно, где доживать свою искореженную жизнь. Вот и прижились они в нашем городке. Возможно, их было не так уж и много, но безрукие, безногие, на самодельных деревянных тележечках, на грубо сколоченных костылях, с обожженными, изуродованными лицами мужики – в те годы для нас, детей, это было привычное явление на улицах нашего города.

Кто-то сам был родом из наших мест, кого-то приютили сердобольные женщины, сами в войну, как говорится, нахлебавшись горького до слез. Кто-то обретался неизвестно где. Но днем все они были на улицах. Умело или не очень играли на гармошках, пели жалобные песни или разухабистые частушки, просили или требовали милостыню. Но чаще всего они предпочитали сидеть у магазинов. Причем у каждого магазина был свой постоянный «сиделец», а иногда даже два или три.

Изуродованные, в затрапезной одежонке, они целыми днями сидели на земле у крыльца магазина. Сидели под дождем и на солнцепеке, молча тянули руки или громко кричали что-то вслед: то благодарность за поданную монетку, то проклятия проходившим мимо. Милиция их не трогала, люди относились по-разному. Кто-то жалел, старался подкормить, посочувствовать. Кто-то громко ругался, что от этих пьяниц проходу нет, что пора бы очистить от них город. Но таких было меньшинство.

Иногда инвалиды ходили друг к другу в гости, а иногда между ними случались драки, если кому-то, как казалось, перепадало больше, чем другим. Ползая по земле, страшно матерясь, они размахивали костылями, хватали друг друга за ветхую, заплатанную одежонку – в общем, зрелище было ужасное, но, повторяю, привычное.

После обеда картина кардинально менялась. Те, кому хватало пожертвованных медяков, покупали вожделенную бутылку и тут же в одиночку или в компании распивали ее. Затем страшно плакали или располагались на отдых, иногда перекрыв вход в

магазин. Во сне они стонали, вскрикивали, отдавали команды или что-то несвязно бормотали, как будто жаловались кому-то. Люди, а особенно дети, опасливо обходили их стороной, стараясь не задеть. Мало ли что пьяному придет на ум. Хотя, честно сказать, не помню ни одного случая, чтобы они кого-то обидели без причины, а детей жалели и при случае даже защищали. Огромный и когда-то, наверное, очень красивый Степка-Обрубок, ноги которого были ампутированы по самый пах, напившись, громко плакал во сне и все время звал маманю.

Когда-то эти люди любили, строили дома, работали не покладая рук, потом честно воевали, защищали свою Родину, а теперь это были несчастные калеки, потерянные и потерявшие себя, оказавшиеся никому не нужными человеческими обрубками. Это сейчас участникам и инвалидам той войны оказывается всяческое внимание и поддержка, а в те времена, видимо, их было очень уж много, и каждому приходилось выживать в одиночку. Но лет через пять все эти несчастные, обездоленные калеки потихоньку исчезли и с улиц, и из нашей жизни. Они быстро умирали, умирали от ран, от водки, от собственной заброшенности и ненужности…

Мир вашему праху, низкий поклон, и, если можете, простите нас!

Военнопленные, заключенные, освобожденные

Среди пришедших писем довольно много воспоминаний о немецких военнопленных, и этому есть объяснение: за пять лет жесточайшей и кровопролитной войны образ немца как врага, злодея и кровожадного чудовища утвердился в сознании людей, а особенно детей, но, когда после войны произошла реальная встреча живых людей, недавно воевавших по разную сторону от линии фронта, картина стала меняться. Униженные и истощенные военнопленные немцы стали вызывать сочувствие. На смену ненависти приходит сострадание. Десять долгих лет провели военнопленные в России, работая главным образом на восстановлении разрушенных городов. По советским данным, в плену содержалось 2 млн 390 тысяч человек, из которых более 350 тысяч умерли в России. По немецким источникам эти цифры выше: 3 млн 150 тысяч военнопленных немцев, из которых 1–1,3 млн умерло в плену.

Все эти десять лет с момента окончания войны международные организации и правительство ФРГ, сразу же после ее создания, прилагали множество усилий для возвращения военнопленных на родину. В мае 1950 года ТАСС сообщило, что репатриировано 1,9 млн военнопленных немцев. Но только к 1955 году все немецкие военнопленные покинули Россию.

Судьба советских военнопленных оказалась не менее тяжелой, чем судьба побежденных вражеских солдат. Попавшие в плен или в окружение советские военные, вернувшись на родину, проходили суровые испытания: их ждали лагеря, штрафбаты. Долгие годы при поступлении на работу люди заполняли анкеты, в которых непременно стояли вопросы: был ли в оккупации; в окружении; в плену? Русские военнопленные, собранные в концентрационные лагеря на территории Германии и Западной Европы, не пользовались, в отличие от всех других военнопленных, продовольственной помощью Красного Креста и других благотворительных организаций, не могли получать писем от родных. Таков был приказ Сталина, объявившего, что в Советском Союзе нет военнопленных, а есть только изменники родины. Таким образом, возвращающиеся из плена офицеры и рядовые солдаты довольно часто снова попадали в лагерь, на этот раз к своим. Кроме офицеров, которые уже после войны, после плена отбывали свои сроки за измену родине, в послевоенные годы были еще несколько категорий людей, которые

подвергались преследованиям: ссыльные и переселенцы.

Большая часть присланных писем содержит рассказы о военнопленных, но есть несколько писем о тех советских людях, на чью долю выпали тяжелые испытания лагерей и ссылок. Этих писем не так много. И тому есть причина: перенесшие все эти испытания люди не любили говорить – они больше молчали. Каждое лишнее слово могло дорого стоить. Эта стена умолчания и по сей день не нарушена. В архивах КГБ и до сих пор хранятся тысячи «невостребованных» дел: это значит, что тысячи людей забыли о существовании их исчезнувших предков.

Анна Дементьева
Сняли корсеты, надели спецовки

В годы войны моя семья жила в Челябинской области в районе Копейска в поселке шахты 205, куда были эвакуированы семьи шахтеров из Донбасса. Мне запомнилось, как привезли к нам в поселок в нескольких вагонах-теплушках из Германии интернированных (граждан), в отдельных вагонах мужчин и женщин. Вагоны стояли несколько часов. Женщины из своих вагонов протягивали через окна руки, и одна из них на ломаном русском языке просила что-нибудь поесть и знаками показывала на остальных женщин. Мы, дети, побежали по домам и принесли им хлеба, бросали в высокие окна, они ловили на лету. Затем солдаты этих женщин принимали на руки и ставили на платформу – вагоны были высокие, сами женщины не решались прыгать, так как были одеты в мятые бальные платья и туфли на высоких каблуках (на шее и руках украшения). Мужчины были одеты в смокинги. Немцев пугала пропаганда Геббельса, что русские солдаты – дикари и всех убивают. Вот поэтому эти люди из высшего германского общества пришли на свой последний, по их мнению, бал перед смертью и из ресторана были арестованы, препровождены в вагоны и привезены в СССР к нам в поселок.

Были приглашены местные женщины помочь раздеться дамам, так как немки сами не могли расстегнуть на спинах свои корсеты. Их накормили, переодели в спецовки, проводили в зону в бараки. Через несколько дней мужчины и женщины работали. Мужчины делали короба для труб отопления в бараках, а женщины засыпали эти короба опилками для утепления. Затем мужчины ремонтировали железнодорожные пути узкоколейки, по которым возили уголь из шахты до Копейска.

Потом я узнала, что мужчины были учеными и их привлекли к работе по их специальности. А женщин вскоре отправили обратно в Германию, может, потому, что были у них связи и сами они не умели ничего делать.

Еще запомнился эпизод. Я по дороге в школу встретилась с пленным немцем, который спросил у меня: «Сколько сейчас времени?» А я ему дерзко ответила: «Ваше время кончилось!» Он передал мой ответ начальству своему, а тот – директору моей школы, который вызвал меня в свой кабинет и пропесочил, объяснил, что мы, местные русские жители, не должны издеваться над пленными, должны быть вежливыми. А немец оказался ученым-физиком.

Герман Иванович Дубровин (прислала вдова)
«Нельзя так делать!»

Гера вспоминает, что пленные укладывали трамвайные рельсы на улице 8 Марта – от Декабристов и далее к Куйбышева, о том, что пленные японцы строили «Белинку».

В годы войны он жил по улице Декабристов, 77 (угол Декабристов – 8 Марта. После войны снесен этот дом, а на его месте – большой 5-этажный дом с магазином «Кировский»).

Каждый день шофер-охранник дядя Вася, доброй души человек, с которым мальчик Гера познакомился, привозил пленных немцев ремонтировать дом, в котором Гера жил. Фундамент разрушился снаружи, немцы его обшивали досками, доски стругали, а Гера играл стружкой.

Однажды огромного роста немец своим сапогом подтолкнул к Гере, присевшему играть стружкой, раскаленную добела стамеску, которая прилипла к руке… Гера отодрал ее с мясом, с кровью, заорал и убежал домой. А другие немцы набросились на верзилу и стали его бить, крича «эсэс, эсэс!».

Гера впоследствии отомстил, выстрелив из ружья дяди Васи по немцам, когда дядя Вася спал в кабине. Немцы упали на землю, закрыв головы руками. Дядя Вася проснулся от грохота выстрела и побежал за Герой на чердак дома, куда тот побежал прятаться. Догнал и шлепнул своей огромной рукой, которая была больше попки Геры, со словами: «Ах ты, постреленок, нельзя так делать!»

(Герман Иванович умер 4 февраля 2008 года. На поминках его бывший студент мне уточнил рассказ, добавил, что Геру научили старшие ребята из двора его дома, показали ружье и как из него стрелять. А ему было тогда пять лет с небольшим.)

Алексей Зыков
Немцы с музыкой

Каждое утро немцев на машинах увозили на стройки, в частности, большого дома на углу Восточной – Декабристов – Сибирского тракта, а семья Зыковых жила в то время неподалеку от стройки по Сибирскому тракту, и жильцы их дома завидовали немцам: «Вот их возят на машинах, а мы пешком ходим на работу».

Ехали немцы с музыкой – у них был самодеятельный оркестр. Одеты были все одинаково: в серых одеждах, в необычных шапках с длинными козырьками, в ботинках с портянками. Их лиц мы не видели. Тогда всех пленных считали немцами, а оказалось, что строители эти были японцами. Старшие пацаны устраивали обмен: два-три куска хлеба на деревянную игрушку, на немецкую свистульку. У наших старших были даже губные гармошки. Я пробовал играть на них, у меня получалось. Но гармошки отбирали назад.

Исаак Подольный
В черно-белых тонах

Я вспоминаю немецких пленных, появившихся в Вологде в самом конце войны и сразу после Победы.

Многочисленные колонны пленных сначала провели под конвоем по улицам и площадям Москвы, затем посадили в эшелоны и развезли по лагерям. Первые колонны пленных шли по Вологде строем под командой своих офицеров. Шли выбритые, подтянутые, в чем-то даже стремившиеся сохранить и продемонстрировать свое достоинство. Пели немецкие песни. У кого-то можно было видеть маленькую губную гармошку. Вокруг шагала многочисленная охрана в форме войск НКВД.

А потом началась повседневная тяжелая работа. Пленные разгружали баржи с лесом, вручную пилили на доски сырые бревна. Сначала строили жилье для себя, затем появились на всех вологодских стройках. Недолго они ходили строем. С Победой исчезла охрана. Группы грязных и оборванных пленных на работу сопровождали бабушки из домоуправлений, расписывавшиеся за них в каких-то журналах как за полученное во временное пользование имущество…

Жилось в ту пору всем тяжко и голодно. Понятно, что пленным жилось не слаще, чем победителям. Освоили они все мыслимые и немыслимые строительные профессии. Порой дело доходило до курьезов: пленные сами искали себе подработки.

В разгар лета 1946 года я взглянул на пленных другими глазами. Однажды в нашем доме собрались мои одноклассники и попросили маму поиграть для них на пианино. Зазвучали популярные в те годы мелодии – вальсы Штрауса, полонез Огинского, аккорды первого концерта Чайковского.

Жили мы на первом этаже, и в какой-то момент я почувствовал шорох за открытым окном. Оказалось, там стоял совсем молодой паренек, почти наш ровесник, – пленный: он с робкой улыбкой слушал музыку. Мы пригласили его в дом и, упражняясь в своем скромном немецком языке, скоро поняли, что перед нами студент то ли берлинской, то ли венской консерватории – пианист, лауреат каких-то конкурсов. Огрубевшие руки его были в глине и извести. Прежде чем сесть к инструменту, он долго и старательно мыл их, тер пемзой. Не менее долго он не мог поднять с колен руки к клавиатуре. А подняв, вдруг беззвучно заплакал…

Потом он сбивчиво объяснял нам, что не нацист, что даже не

воевал, так как всю войну имел бронь от призыва, а форму на него надели за месяц до падения Берлина.

Расчувствовавшаяся мать накормила парня чем Бог послал. Через день он появился снова. Играл уже больше часа. Слушать его собрались все соседи. Так продолжалось некоторое время.

Но однажды вместе с юношей пришли еще двое пленных. Рыжий верзила сидел и слушал молча. Уходя, не попрощался, как другие, а что-то недовольно буркнул сквозь зубы. Назавтра «наш» немец извинился и сказал, что рыжий – нацист и был очень недоволен, что его привели в дом к евреям… «Воистину, горбатого могила исправит!» – сказала мама, а мне наказала, чтобы немцы-пленные в наш дом больше не приходили.

Ее тоже можно было понять: старшая сестра матери Нина, солистка Рижской оперы, со всей семьей погибла в Рижском гетто и концлагере Саласпилс.

Кстати сказать, к судьбе немецкого юноши-пиани-ста мама имела отношение и в дальнейшем. К ней обратился один из высоких вологодских военных чинов с просьбой подыскать педагога-пианиста для дочери. «Зачем далеко ходить? Есть среди пленных блестящий пианист, и лучшего педагога в Вологде трудно сыскать!» – сказала мама. С немецким педагогом девушка занималась около года и весьма продвинулась в мастерстве. Думается, что и для молодого музыканта такая работа была больше по душе, чем профессия каменщика и штукатура. Я иногда встречал его в городе чисто одетого. Завидев меня, он издали приветливо улыбался. Но так и не узнал «наш» немец, кто составил ему в столь трудный момент счастливую протекцию.

Образ немца-врага в сознании народа после войны размывался не сразу и не у всех. Помню, после войны на вологодском стадионе «Динамо» вместо дальней трибуны около пруда была танцплощадка. Танцевали там под духовой оркестр. Но летом 1946 года (или сорок седьмого, точно уже и не помню) там появилось нечто новое: заиграл оркестр, который по нынешним меркам мог бы называться, вероятно, симфоджазом. Звучали новые модные танцевальные ритмы. Молодежь сразу перекочевала с других площадок на «Динамо». Поговаривали, что среди пленных в конце войны оказался едва ли не полный состав оркестра Берлинского радио, призванный в армию Гитлера по приказу о тотальной мобилизации накануне краха. И оказался тот оркестр в Вологде.

Но вскоре на площадку вернулись наши духовики. Нашлись люди, написавшие «куда следует» о том, что советской молодежи негоже плясать под фашистские дудки. Вот такая была музыка…

Конечно, были среди пленных и убежденные нацисты, вроде

того рыжего, что заходил к нам с пианистом. Помнится, к одному из моих друзей попал немецкий офицерский фонарик: его принес отец парня, работавший в охране лагеря. Когда батарейки иссякли, мы извлекли вместе с ними со дна фонарика маленький портрет Гитлера, аккуратно завернутый в тонкую бумагу. Вера в фюрера сидела в иных головах настолько прочно, что некоторые ее исповедуют и по сей день, да и не только в Германии…

А портретик тот мы расстреляли! Да-да! Именно – расстреляли! У одного из нас была малокалиберная винтовка. Всей мальчишеской компанией пошли в пригородную рощу Кирика и Улиты и там стреляли в портрет с разных расстояний до тех пор, пока от него не остались одни ошметки.

Когда мы рассказали отцу об этом «расстреле», он после короткого молчания спросил: «А могли бы вы стрелять так же, если бы перед вами был не портрет, а сам Гитлер?» – «Конечно!» – хором воскликнули мы все. «Ну, а если бы перед вами оказался не портретик, а владелец фонарика, могли бы вы стрелять?»

Мы не были готовы к такому вопросу, тем более к ответу на него.

Отец задал вопрос и медленно вышел из комнаты, а мой самый близкий школьный друг после долгого общего молчания с каким-то восхищением произнес: «Вот что значит быть адвокатом! Всего один вопрос!..»

Как жаль, что наше поколение над многими вопросами задумывалось позднее, чем следовало…

Рашида Пухова
Хлеб немцам

Я была совсем маленькой, но помню пленных немцев. Мы жили тогда на Уралмаше на улице Калинина, недалеко от дома была булочная, куда я ходила каждый день получать хлеб по карточкам. Было это в 1947 году. Мне было пять лет. Проходила мимо стройки, огороженной невысоким забором, и видела работающих на ней пленных немцев. Меня поразили обмотки на их ногах над ботинками, а на улице был мороз. Я жалела их и протягивала им через забор кусочки хлеба, отламывая их от булки. А дома меня бабушка ругала: «Эти немцы, может, твоего папу убили, а ты их кормишь». Маме тогда уже пришла «похоронка» на папу, где говорилось, что он погиб под Сталинградом.

Галина Хафизулина
И опять – хлеб немцам

Моя семья во время войны жила по улице Карла Маркса, 11, и мы видели, как на огороженный пустырь по нашей стороне между улицами Гоголя и М. Горького привозили на машинах каждый день пленных немцев в ноябре 1942 года. Они строили большую четырехэтажную каменную школу. На фасаде на колоннах по окончании стройки установили большие гипсовые скульптуры школьников: на одной – два мальчика, один с коньками, другой с лыжами, на другой колонне – мальчик с глобусом, девочка с дудочкой. Одеты немцы были не по погоде легко, в ботинки с обмотками и в фуражки с длинными козырьками. Лица у них были отекшие, опухшие. Мы их жалели. Из ближайшей булочной на углу улиц К. Маркса и Луначарского мы получали хлеб по продовольственным карточкам, и наши соседи – и сами голодные – приносили немцам кусочки хлеба. А те через забор давали в обмен самодельные железные колечки женщинам и девочкам, а мальчишкам – губные гармоники и самодельные игрушки.

Еще мы с сестрой Зоей видели немцев и после войны, когда летом жили в пионерском лагере, кажется, около Березовского. Мимо лагеря каждое утро в грузовиках с рядами скамеек возили немцев, мы слышали песню, которую немцы пели. Песня напоминала марш. В детстве все быстро запоминается. Мы, ребята, выучили эту песню на немецком языке и подпевали им. Мелодию до сих пор помню, а слова забыла.

Леонид Левин
Таблетка аспирина

В городе было полно пленных немцев, они ремонтировали и мостили дороги, а на правом берегу Урала даже строили дома. В нашем районе они часто встречались. Мальчишки за табак выменивали у них марки и монеты.

На одной лестничной площадке с нами жили мои старшие двоюродные братья Изька и Нюмка. Их отец погиб на фронте. Изька бешено ненавидел немцев, считал, что с ними обращаются слишком мягко. Вообще характер у Изьки был горячий. Упрямый и прямолинейный, он судил обо всем жестко и категорично.

Как-то мы проходили мимо группы пленных, расположившейся у торцевой стены нашего дома. Их охранял один солдат с автоматом. У немцев, видимо, был обеденный перерыв, они сидели на земле, прислонившись к стенке, у каждого в руках было по огромному ломтю хлеба, густо намазанного маргарином.

СССР
МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Форма А

1-2-981

СПРАВКА № 089973/11

Выдана гражданину(ке)

[redacted]

Захарович

год рождения 1938 национальность русский

уроженцу(ке) гор. Павловск

Воронежской области

Павловским

По постановлению Комиссии
Президиума Верхов. Совета СССР
от 28/VI-1955 года

Павловском

районе

области

Фото ИТАР-ТАСС

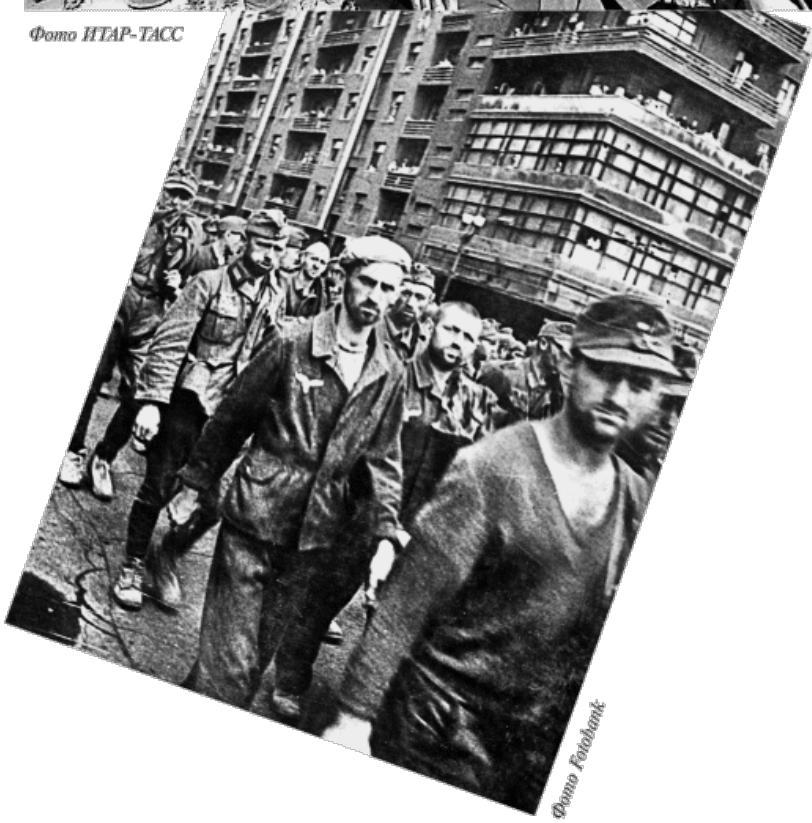


Фото Fotobank

– Посмотри на них! – сказал Изька. – Вояки, мать их! Пол-Европы завоевали! Наш хлеб жрут, да еще и белый! Ты давно видел белый хлеб? Чего с ними церемонятся, никак не пойму! Я

бы их всех расстрелял, да и дело с концом!

Я покосился на Изьку. На его лице была написана такая жгучая ненависть, что мне стало не по себе.

– Ты-то как считаешь, Лешка? – толкнул он меня в бок.

Я неопределенно пожал плечами. Но Изька, похоже, и не ждал ответа.

Я ничуть не меньше Изьки ненавидел фашистов. Но это была отвлеченная ненависть к обобщенному врагу, не имевшему конкретного лица. Глядя же на живых пленных немцев, жевавших бутерброды с маргарином (кстати, хлеб был не таким уж белым), на их равнодушные, пустые лица, я не испытывал ничего, кроме острого любопытства и, стыдно сказать, жалости.

Немцы-доходяги (дистрофики, полубольные) без конвоя ходили по квартирам, побирались.

Как-то к нам постучался немец, худой как палка, с воспаленными глазами, без головного убора. С трудом разлепляя спекшиеся губы, он, держась за голову, повторял:

– Дер копф… дер копф тут вей!..

Мама вынесла ему таблетку аспирина и воду в железной кружке. Немец запил таблетку водой, сказал: «Данке шён» – и поплелся по лестнице вниз.

Другой немец-доходяга однажды стучался в квартиры нашего подъезда, на ломаном русском языке просил милостыню. Мама вышла на лестничную площадку, подала немцу немного супа в поварешке, он начал его жадно глотать. В этот момент из своей квартиры вышел Изька и оторопел, но только на мгновение: он подскочил, выбил поварешку из рук немца и с криком прогнал его. Испуганно вжав голову в плечи, тот покорно стал спускаться. Не будь немец так жалок и немощен, Изька просто спустил бы его с лестницы.

– Тетя Маня! – с сердцем сказал Изька. – Он, гад, может, твоего брата убил, а ты ему жрать даешь! Эх ты!

На шум из квартиры вышел Нюмка. Увидев плачущую тетку и разъяренного брата, он хотел было сказать что-то примирительное, дескать, что уж так с доходягой-то, но Изька велел ему заткнуться, если не хочет получить в ухо.

Дмитрий Тартаковский
Суд над военными преступниками

В памяти остался суд над немецкими военными преступниками, проходивший в 1947 году в Новгороде в помещении городского театра. Подсудимых – человек десять, от генерала, командовавшего дивизией, действовавшей на Новгородчине и осаждавшей Ленинград, до ефрейтора.

Пропустить такое событие мы, конечно, не можем, сбегаем с уроков и правдами и неправдами проникаем в театр. В фойе театра на стендах – фотографии трупов, разрушенного города, сожженных деревень, на столах – простреленные иконы, портсигары и безделушки, сделанные из позолоченного металла купола Софийского собора. Само судебное заседание проходит на сцене театра: подсудимые за барьером. Генерал – подтянутый, прямой, держится надменно и на вопросы отвечает кратко. Яволь! Противоположность ему – ефрейтор, отличавшийся особой жестокостью в карательных экспедициях. Крупный, рыжий, в потрепанном мундире, в суде он был тихим и угодливым. Но вот суд вызывает на допрос одного из свидетелей, сгорбленного старика с седой бородой. Судья просит его рассказать, что делали немецкие каратели в его деревне. Старик рассказывает, как немцы пытали и расстреливали жителей деревни, как потом деревню сожгли.

– Узнаете ли вы кого-либо из подсудимых? – спрашивает председательствующий.

– Вот этот немец был в нашей деревне, – указывает пальцем на рыжего ефрейтора старик, – командовал солдатами и сам расстреливал деревенских.

Председатель суда задает вопросы ефрейтору, тот всё отрицает. И тут старик выбегает из-за трибуны и прямо на сцене, перед судом и всеми присутствующими, расстегнув ремень, спускает штаны, задирает рубаху до груди и показывает суду свой живот, весь в шрамах.

– Вот этот фриц пытал меня! Заливал мне в глотку воду, а потом бил дубинкой по животу, так что лопалась кожа!

Подтянул штаны, подошел к барьеру, где сидели немцы, и плюнул в рыжего. Охрана даже не успела среагировать.

Елена Шор
В 1945 году…

Помню, как я первый раз увидела пленных немцев. Я стояла на улице Горького рядом со входом в метро «Маяковская» и наблюдала, как мимо медленно бредут одетые в серо-зеленые грязные шинели понурые немецкие солдаты. Они шли по улице Горького от Белорусского вокзала в центр. За последними немцами ехала машина и мыла мостовую дезинфицирующим раствором. Они показались мне совсем не страшными, а грустными и очень усталыми.

Потом я увидела немцев, которые пристраивали к старому зданию КГБ на Лубянке правое крыло (если смотреть от метро). Немцы работали за высоким забором из нестроганых досок. Мы подходили к забору слушать, как они играют на губных гармошках в обеденный перерыв. Мелодии были незнакомые, и нам очень нравились. Иногда в щели между досками мы просовывали им кусочки хлеба. Они нас благодарили.

Всю войну взрослые пугали меня немцами: «Тебя первую убьют, потому что ты – еврейка». Когда я увидела живых пленных немцев, мой физический страх перед ними развеялся.

* * *

В 1945 году вернулась из лагеря тетя Шура.

Ее освободили на два года раньше срока за хорошую работу и примерное поведение. А получила она свои десять лет только за то, что была сестрой моей мамы, расстрелянной вместе с моим отцом в тридцать седьмом году по ложному обвинению.

То, как тетя Шура жила до лагеря, я знала только по ее рассказам: яркая интересная жизнь и три мужа – один белый, один красный и один архитектор, который спроектировал вестибюль станции метро «Арбатская». И как они до революции занимали весь первый этаж в доме в Дегтярном переулке.

А после лагерей я увидела старую (хотя было ей около пятидесяти лет), высохшую женщину без передних зубов и с бельмом на одном глазу. Я запомнила, хоть и не понимала, что оно значит, странное слово «пеллагра».

Я тетю Шуру совсем не испугалась, потому что сразу поняла, что она меня любит и очень добрая. У меня появилось место, куда

я могла удрать из дома. Тетя Шура вернулась в квартиру на Дегтярном, где ей принадлежала теперь только одна комната, и даже не ей, а другой племяннице, которую она успела туда прописать.

А сама тетя Шура могла по закону проживать только за 100 км от Москвы, поэтому в свою комнату она пробиралась тайком. Соседи про это знали и могли в любую минуту на нее заявить в милицию. Поэтому тетя Шура часто вне очереди мыла полы в коридоре и вела себя очень тихо. Но они все равно иногда заявляли. Несколько раз мы с ней вдвоем находились в ее комнате, слышали, как соседи открывают дверь милиционеру, и тетя Шура успевала вылезти в окно и уйти – благо квартира была на первом этаже. Я помню, как милиционер заходил в комнату, открывал дверцы шкафа и искал ее там. А иногда она не успевала убежать, ее задерживали, отводили в милицию и брали подписку о том, что она уедет. Она уезжала, но все равно потом возвращалась. И я к ней опять прибегала – за теплом.

В ее комнате было несколько красивых вещей, которые я любила рассматривать: картины с женскими головками, фарфоровая статуэтка девушки в кружевном платье и нарядной шляпе, которая называлась «Маркиза», старинная посуда. Все эти вещи по одной мы с тетей Шурой относили в комиссионный магазин в Столешниковом переулке. Ведь у тети Шуры не было продовольственной карточки. А одежду мы носили продавать на Палашевский рынок. Я прыгала от радости, когда мы собирались тащить какую-нибудь вещь на продажу, потому что знала, что потом мы пойдем в Елисеевский гастроном. Он был «коммерческим», то есть там продавали продукты за деньги, а не выдавали по карточкам. Мы приходили туда за два часа до открытия и становились в длинную очередь в Козихинском переулке. В магазине я застывала с открытым ртом и глазела на хрустальные люстры, расписной потолок и вазы с конфетами за стеклом прилавка. Там были немыслимые деликатесы: сыры, колбасы, рыба… Тетя Шура вела меня в отдел чая и кофе и показывала огромную вазу из белого и синего хрусталя, которая называлась «баккара». Кофе тетя Шура страшно любила и всегда покупала хоть немного. С тех пор и я его люблю.

Умерла тетя Шура через два года после возвращения. В своей любимой Москве.

Анатолий Зайцев
Дело Константина Дитриха, моего дяди

Буквально на следующий день после освобождения Киева дядя Котя пришел в военкомат, рассказал, как очутился в оккупации, и попросил направить на фронт. Просьбу удовлетворили…

Служил он в медсанбате (зубной техник, значит, близок к медицине). Участвовал в боевых действиях. За спасение раненых (под обстрелом выносил с поля боя) награжден медалью «За отвагу». В одном из боев, от взрыва мины или снаряда, был контужен и ранен в голову. Какое-то время лежал в госпитале. В Западной Украине (Львовская область, село Ниженковицы, под Дрогобычем) помог молодой девушке избавиться от дизентерии. Звали ее Наташа Демкович. Знакомство перешло в дружбу, а затем и взаимную любовь.

Победу встретил в Чехословакии. После демобилизации вернулся в Киев с молодой женой. Устроился работать зубным техником в эвакогоспиталь. Впереди – счастливая, мирная жизнь.

Наша семья в то время занимала четырехкомнатную квартиру на Татарской… Две комнаты были у молодых и две – у нас. Отопление печное. Вода и туалет в квартире. Запомнился запах свежей краски – Котя в своих комнатах сделал косметический ремонт. Молодые ждали прибавления семейства.

К сожалению, счастье совместной жизни было очень коротким – после демобилизации прошло меньше года, всего десять месяцев. В ночь на 17 июня 1946 года в квартиру постучали. Коте предъявили ордер на обыск и арест. Несколько часов шел обыск. Лазили даже в погреб, под веранду. Ничего компрометирующего не нашли. Разве что несколько немецких марок, польских злотых и негативы, на которых были изображены немецкие офицеры. Негативы остались от работы Коти ретушером. Котю увели на Короленко, 15 (теперь Владимирская). Именно увели, а не отвезли – не хватало, очевидно, машин для арестованных…

И в советские, и в нынешние времена в этом здании располагались «серьезные конторы» – управление госбезопасности, управление внутренних дел. Внизу, в подвале здания, были камеры. В сравнительно небольшое помещение (25 кв. м) заталкивали до пятидесяти заключенных! Лето. Жара. Об отдыхе лежа не могло быть и речи. После тяжелейших лет войны, немецкого плена у Коти началась новая «мирная» одиссея,

которая зацепила и нас. Что же произошло?

В 2003 году я получил из МВД Украины документ о том, как надлежало поступать с «фольксдойч» и членами их семей. Все в этой бумаге предусмотрено: кого, как и куда препроводить. Девять месяцев ушло у следствия на то, чтобы выявить в Котином деле факты «предательства и пособничества немецко-фашистским оккупантам». Ничего в итоге не выявили, ибо этих фактов не было, а найти, безусловно, очень хотели.

Многочисленные допросы Коти, всех родных, со-седей, знакомых. Все документы представлены на 152 листах в деле Дитриха Константина Викторовича № 55320 ФП, которое хранится в Центральном государственном архиве общественных организаций Украины (г. Киев, ул. Кутузова, 8). С этим делом вначале я сам, а затем с самим Котей знакомились в конце девяностых годов прошлого века. В этом деле и протокол допроса моего отца. Об оправдательном приговоре не могло быть и речи. Все просьбы и заявления освободить невиновного ни к чему не привели.

Помню, после ареста Коти я на листике из школьной тетради писал заявление на имя Сталина с просьбой об его освобождении. И писал это (мы были с бабушкой) в одном из коридоров на Короленко, 15…

Вместе с бабушкой ходили в Лукьяновскую тюрьму, куда Котю поместили после Короленко, 15. Передавали передачи. Еду помещали в глиняном горшке. Приспособились передавать в горшке записки на папиросной бумаге. Их (записки) приклеивали хлебным мякишем ниже горлышка. Через какое-то время этот «канал связи» разоблачили.

8 марта 1947 года Коте зачитали постановление Особого совещания при МВД СССР – 5 лет исправительно-трудового лагеря в г. Черногорске Красноярского края.

Судьба распорядилась жестоко: дед Виктор не видел родившегося без него сына Котю, и Котя не видел родившегося через четыре дня после его ареста своего сына Артура. Когда Котю отправляли по этапу в лагерь, Наташе с младенцем конвой не разрешил проститься с мужем и отцом. Увидеться им довелось лишь спустя пять лет, после освобождения Коти.

И опять наступили тяжелые времена.

Мы еще не знали, что и наша судьба уже решена, но помню, что жили в тревожном ожидании…

11 июня 1947 года маму предупредили из «органов»: «Завтра будьте дома!» – «А как же работа?» – «На работу мы сообщим!»

На следующий день подъехала «эмка». Была тогда такая легковушка, советского производства. Маме дали ознакомиться с

казенной бумагой и «выделили» на сборы два часа. Что можно успеть за два часа? Мама с бабушкой начали собирать самое-самое. Я пришел в сад и нарвал еще зеленых яблок. Бабушка дала денег, и я успел сбегать на Лукьяновский базар купить буханку черного хлеба. Набралось несколько узлов с вещами (наверняка ограничили число мест).

Запомнилось такое. Спускаемся по крутой Татарской. Слева росли высокие деревья. Подумал: «Когда я их снова увижу?» Снова увидеть их довелось спустя пятнадцать лет.

Нина Вексман
«Свой» немец

После войны ленинградским школьникам поручали собирать кирпичи и другие стройматериалы из разрушенных зданий. Мы относили их в пункты приема на стройке. А там работали военнопленные немцы. Один – немолодой, очень худой, в оборванной гимнастерке – как-то протянул мне деревянную куколку: он сам вырезал ее из дерева. У меня игрушек не было совсем – в сорок третьем мы эвакуировались в Сибирь, и дома пришлось оставить всё – даже любимую куклу Лялю, о которой я горевала все детские годы.

Игрушек вообще ни у кого не было, дети играли в те годы подручным материалом и обломками фугасов.

Я взяла у немца деревянную куколку и поблагодарила его. Потом наблюдала, как подъехала полевая кухня, как пленных кормили дымящейся баландой и как быстро они ели эту мутную жижу.

На другой день я стащила из дому хлеба, завернула его в газету (другой бумаги не было) и отнесла ему. Немец ел жадно, держа ладонь под подбородком, а потом опрокинул упавшие крошки в рот.

И так повелось: я брала из дому тайком хлеб и бежала к «своему» немцу. Как-то даже принесла ему старую папину рубашку. А он вырезал из досок и щепок игрушки – куколок, зверюшек – и однажды смастерил диковинные деревянные качели.

Но кто-то из соседей увидел, как я кормила «своего» немца, и рассказал маме. И моя добрая мама, которая всегда подавала всем нищим, и даже в окно увидит калеку – вынесет супу, кричала на меня:

– Нина, что ты делаешь? Он немец!

– Мама, он такой голодный, у него руки дрожат, когда он хлеб берет, ты бы видела!

– Нина, он враг, фашист!

– Мама, он мне фотографию показывал, у него дети – мальчик и две девочки, и рассказывал, как кого зовут, плакал и целовал фотографию.

– Ах, дети у него! А помнишь мертвого мальчика во время блокады с вырезанными ягодичками? Я еще тебе глаза закрыла, чтобы ты не смотрела. И как я тебя всегда за руку держала, боялась отпустить на минуту – у тебя щечки пухленькие даже во

время блокады были. Он во всем этом виноват! А как ты плакала, когда бабушка умерла, потому что вам, внучкам, свой хлеб отдавала, помнишь? Это все его рук дело, Нина! И то, что евреев Орши расстреляли, всю папину родню, и твоих двоюродных сестричек – таких же, как его дочки, немца этого! Да попадись ты ему в тот момент, он бы тебя вместе с ними в яму бросил! А помнишь, как ты кричала от страха, когда лошадь споткнулась на льду, на Чуйском тракте, и наша кибитка прямым ходом в Байкал с обрыва понеслась, и свалилась бы, не зацепись мы чудом за березку одинокую! Это все из-за него и таких, как он, Нина! А ты ему хлеб из дому носишь!

Я всё помнила – и мертвого мальчика, лежавшего ничком на замерзшей улице, и мертвую бабушку, и прессованный жмых на обед, и столярный клей на ужин. Но худой оборванный человек, мастерящий игрушки, в моем сознании не вязался с обликом страшного врага.

Мама не смогла меня переубедить, и, думаю, она что-то предприняла, потому что этого немца вскоре перевели на другой участок. Так ответил мне начальник стройки, когда я принесла за пазухой очередной завернутый в газету кусок хлеба. Жаль, что моя невестка не разрешает внучкам об этом рассказывать, потому что они сразу плакать начинают. Говорит, пусть лучше не знают страшного. А я думаю, надо знать, хотя бы для того, чтобы не расстраиваться из-за ерунды.

Антонина Кухтина
Землянка

Когда мне исполнилось четыре года, мы переехали из деревни Каменки в районный центр, город Боготол Красноярского края. Несколько месяцев жили на казенной квартире, пока перевезли и поставили наш деревенский домик на улице Дубровиной. В то время эту улицу только «наре́зали», то есть раздали людям участки для строительства по четной стороне. И почти все дома строились в одно время. Нечетная, противоположная сторона пустовала еще лет десять. Из окон была видна дорога, за ней – картофельные поля, а дальше – лес. Там росло очень много боярышника, и в детстве мы часто бегали туда лакомиться ягодами. Дальше, за лесом, видимо, находился военный аэродром. Потому что оттуда часто взлетали самолеты и с жутким гулом пролетали над нашими домами, казалось, еще немного – и зацепят крышу. Мы с братом (мне было четыре года, ему – два) очень боялись и, услышав надвигающийся гул, почему-то с криками «Шлем! Шлем!» со всех ног бежали домой и прятались под кроватью. Продолжалось это не очень долго. Аэродром куда-то потом перевели.

Но много лет мне вспоминается вот какая история. Вспоминается и занозой сидит в сердце. В пятидесятых годах, когда мне было уже лет шесть, напротив нашего дома, через дорогу, вдруг появилась… землянка. Я не помню, как она появилась, кто ее копал. Но в самую стужу, как нам показалось, вдруг появился заснеженный бугорок, из которого боязливо поднималась струйка дыма. Возможно, в землянке жили и раньше, но так затаенно, что мы, дети, даже и не подозревали об этом. А вот родители и соседи наверняка знали о ее жильцах побольше, но все молчали.

Однажды моя мама налила в бутылку молока, завернула в тряпочку большой кусок сала, дала все это мне, подвела к землянке и сказала, что там есть такая же девочка. Так вот, я могу пойти и поиграть с ней, а молоко и сало нужно отдать ее маме. Мне было очень боязно, но еще больше разбирало любопытство. Я решительно подошла к землянке и постучала в дверку. Кто-то открыл дверь. Вниз вели земляные ступени. Там жила семья калмыков: муж, жена и девочка моих лет. Уже не помню подробностей, но помню, что меня очень поразил их внешний вид. Ни до этого, ни после я не видела калмыков. Необычные черты лица, странный разрез глаз…

Приняв гостинец, женщина стала кланяться и что-то быстро говорить на непонятном мне языке, делая руками приглашающие жесты. По-русски все они говорили очень плохо. Девочка, худенькая и болезненная, сидела на подобии топчана, закутанная в какие-то тряпки. В землянке было почти темно, сыро, пахло дымом, черные земляные стены и пол. Игрушек тогда и у нас-то почти не водилось, а у девочки их не было совсем. Только какие-то чурбачки и тряпочки. Я провела там немного времени, но впечатление осталось самое ужасное. Я не понимала, как можно жить в таких условиях, было до слез жаль их, а особенно девочку. Будучи очень впечатлительным ребенком, придя домой, я потом долго плакала и все спрашивала маму: «Мама, почему они там живут? А мы не будем жить в землянке? Никогда, никогда?»

Больше меня туда не посылали, но всю зиму я выглядывала в окно и видела струйку дыма среди сугробов. Ближе к весне дымок пропал. И с тех пор никто из родных и соседей даже не намекнул о них, а все мои расспросы пресекались в корне, но однажды промелькнуло слово «ссыльные». Иногда мне кажется, что все это мне только приснилось. И только останки землянки подтверждали, что там жили люди. Это в Сибири-то, в лютый холод и мороз!

Александр Непомнящих (записала Анна Непомнящих)
Здесь жили победители…

Мама воспитывала нас одна. Папы я не помню, он погиб в начале войны. Кормилицей для жителей деревни была река Енисей, на берегу которой и расположена деревня наша. С шести лет я ловко управлялся с лодкой, ловил самоловом рыбу. Рыба спасала нас от голода.

Однажды мы с ребятами бегали по берегу и наблюдали за большой баржей, которая была переполнена арестантами – осужденными. Вдруг поднялся сильный ветер, и баржа стала тонуть. Арестанты пытались плыть к берегу, а конвой в упор их расстреливал. Мы, ребятишки, стали камнями кидать в конвой, не давая им стрелять в безоружных людей. Таким образом мы спасли жизнь нескольким заключенным.

А потом мы узнали, что недалеко от деревни выстроен лагерь для политических. Здесь содержались и бывшие военные, которые побывали в плену. Это был знаменитый ГУЛАГ. На подходе к лагерю были вырыты большие траншеи, обнесенные колючей проволокой. Нас не подпускали к лагерю. Но мы часто видели, как мертвых заключенных на телегах увозили хоронить за территорию лагеря.

А потом, будучи подростками (шестнадцати лет), мы с ребятами обнаруживали черепа умерших или убитых арестованных недалеко от лагеря.

Став взрослым и получив профессию летчика, я, выполняя полеты в Енисейск, несколько раз пролетал над теми местами, где находился лагерь, и отчетливо видел глубокие траншеи, поросшие травой, полуразрушенные бараки, в которых содержались арестованные, наблюдательные вышки. И здесь жили победители войны! Парадокс истории!

Я вспоминал свое голодное детство, что вкус пряника и конфеты я ощутил только будучи солдатом, в армии. И благодаря тому, что с малых лет я занимался рыбалкой и охотой, вырос физически крепким, здоровым.

Но только вот всю жизнь было обидно за тех невинных людей, которые томились в сибирском ГУЛАГе.

Евгения Дымова
Паровозик

Как-то на улицах города появились немцы. Это пленных под конвоем привели на помывку в баню. Худые, одежонка потрепана – жалкое зрелище. Что говорить, когда и мы сами хлеба вволю не ели. Днем пленные работали, а вечером, расположившись в банном скверике, выставляли для обмена на продукты разные самоделки. Конвоиры делали вид, что ничего не замечают. А для нас, детей войны, обойденных детскими играми и не имевших игрушек, это был сказочный рай, попасть в который можно было за полбуханки хлеба.

Однажды в этом раю я увидела игрушку, поразившую мое воображение настолько, что я застыла перед ней, не в силах отвести глаз. Заметив мое состояние, молодой светловолосый немец улыбнулся и протянул мне игрушку со словами «брод, брод»… Несмотря на строгий запрет матери близко подходить к немцам, я помчалась домой за хлебом. И вот я уже держу заветную вещицу в руках.

Это было настоящее чудо, диво дивное – деревянный паровозик совершенно фантастической окраски. Самые разные цвета переливались на его боках затейливыми узорами. Были у него и настоящие окошечки, они открывались и закрывались, и колесики, которые вертелись, а из трубы шел дым, который изображали тонкие металлические стружки.

Как я играла с паровозиком, трудно передать словами. Вновь и вновь разглядывала каждую детальку, катала по всей комнате, представляя, что он увозит меня в ту страну, где всегда тепло и красиво, где растут диковинные деревья, ласково плещется синее-синее море, а люди улыбаются и радуются жизни.

– Где ты это взяла? – гневный голос матери вернул меня к действительности. – Небось, у фашистов этих… Да как ты смогла? – она зарыдала и сквозь слезы, не давая мне опомниться, бросала в меня горькие слова, словно била наотмашь. – Они всю мою родню истребили, отца твоего покалечили, а ты их нашим хлебом кормишь?! Будь они прокляты!

Выхватив паровозик из моих рук, она со всего маху швырнула его на пол. Раздался негромкий жалобный треск, как будто маленький паровозик вместе со мной простонал от внезапно нахлынувшего горя.

С громким плачем я выскочила из дома и побежала по улице не разбирая дороги. Мне было обидно, больно и непонятно, как

мог немец, сделавший такую замечательную игрушку, с такими ясными глазами и светлой улыбкой, убить всех наших родных…

Домой я вернулась под вечер. Отец на кухне чинил паровозик. Мой добрый тихий отец из тех, кто, как говорится, и мухи не обидит. Почти всю войну он, солдат Красной армии, вынужден был убивать врагов и убивал до тех пор, пока шальная пуля не уложила его на госпитальную койку, где он и встретил Победу.

Собрав игрушку, он вернул ее мне, и я, радостная, убежала со своим паровозиком в комнату, откуда, играя, слышала, как отец успокаивает все еще плачущую мать.

– Ну, перестань, – приговаривал он, гладя ее по голове. – Она ведь ребенок и ни в чем не виновата. Да и не надо нашим детям напоминать обо всех этих ужасах. Нам всем надо скорее забыть эту войну…

Минуло почти шестьдесят лет. Давно нет в живых моих родителей. Затерялся где-то игрушечный самодельный паровозик. Вот только острая память о том послевоенном времени осталась. Прости меня, папа, я ничего не забыла.

Светлана Крапивина
Плен, лагерь, плен, лагерь…

Я до сих пор помню ту ненависть, которую я испытывала к фашистам, лишившим нас нормального детства. Когда однажды мы увидели колонну немецких пленных, которая тянулась под конвоем посередине Старо-Невского проспекта, мимо нашего детского сада, то буквально прилипли к ограде сквера, в котором гуляли, и молча смотрели на этих нелюдей. Ничего, кроме ненависти к ним, мы в эти минуты не испытывали. Позже, когда я уже училась в школе, немецкие пленные принимали участие в разборке завалов разбомбленных домов недалеко от нашего здания. Те дети, которые вернулись из эвакуации, не испытав на себе ужаса бомбежек и голода, бежали к пленным и протягивали им свои школьные завтраки в надежде получить какую-нибудь из поделок, изготавливаемых немцами на досуге. Я не могла заставить себя подойти к ним. В нашем автопарке тоже появились пленные немцы: их использовали на ремонтных работах. Один из них, по имени Курт, старался чем-то помочь нам. Он таскал иногда за нас бак с небольшими деревянными обрезками, которые мы собирали на помойке автопарка. Бак для нас был действительно тяжел, но мне его помощь была чрезвычайно неприятна… Тетя Тася заставляла отблагодарить его и давала пачку табака, полученную по карточкам. Я молча, не глядя ему в лицо, совала в руки эту злосчастную пачку и стремительно убегала. Как же я ненавидела и не жалела ни этого хмурого Курта, ни его товарищей по плену…

И вот теперь я хочу вернуться к судьбе наших арестованных родственников. Подробности этих событий я узнала из рассказов взрослых и воспоминаний двоюродного брата. После ареста семью «врага народа» посадили в Кресты. Через несколько дней их перевезли в тюремной машине к Дороге жизни, поместили вместе с другими заключенными в какую-то будку с решетками, которую прицепили к трактору, и повезли через Ладожское озеро. К счастью, их колонну фашисты не разбомбили.

Тогда же меня поразило еще одно обстоятельство, о котором взрослые почему-то говорили шепотом. Оказалось, что муж одной из наших деревенских родственниц во время войны попал в плен, а затем в фашистский лагерь, но после освобождения прямым ходом был препровожден не домой в деревню, а в наш, советский, лагерь, который оказался едва ли не более страшным, чем предыдущий. Я не верила своим ушам, но вот он – живой, но

очень больной дядя Коля, который прошел эти круги ада. Лишь впоследствии я узнала, что в наши лагеря были отправлены даже те, кто бежал из плена и мужественно воевал в рядах Сопротивления различных европейских стран. Именно наш любимый Вождь и Учитель в первые же дни войны назвал всех плененных немцами советских воинов изменниками Родины и потребовал к ним соответствующего отношения.

Вера Суржикова
Сбитый летчик

После освобождения города жить стало легче – бояться было некого. Но трудности с питанием были. Самое любимое лакомство того времени у нас – малюсенькие плоды сахарной свеклы. Их мы находили на большом убранном поле даже зимой, раскапывая из-под снега. Ходили туда и наши мамы: ведь надо же давать детям какие-то сладости.

Однажды утром я проснулась и услышала в соседней комнате причитания: «Ах ты, такой-сякой, может, ты моего сына убил, а я тут тебе ноги оттираю!.. От мужа уже месяц писем нет, может, его уже в живых нет, может, ты виноват в его смерти?..» и т. п… Я вышла в комнату и вижу: на полу лежит молодой солдат в немецкой форме. Брюки подняты выше колен, а ноги – все синие-синие… Мама и две соседки приносят со двора ведро снега и снегом растирают ноги… Я подошла и посмотрела на него. В глазах – слезы; превозмогая боль, он плотно закрыл рот и лишь время от времени вздрагивал всем телом… Мне стало его очень жалко. Оказалось, мама с соседками пошли за свеклой и нашли его в поле еле дышащим. Быстро сбегали домой, взяли санки и привезли домой. Ночью, вероятно, был сбит самолет, и он из него выпрыгнул. После долгого оттирания ноги у него начали краснеть, и он даже пошевелил пальцами, и слезы полились из его глаз…

Мама и соседки были рады, что спасли ему жизнь…

Зоя Шушарина
А у нас были румыны…

В годы войны я училась в седьмом классе. Жили мы с мамой и всей нашей большой семьей в городе Алапаевске Свердловской области. Муж маминой сестры работал комендантом в зоне, где содержались пленные немцы и румыны.

Он узнал от пленных их довоенные специальности, и их привлекали к работе по этому делу. Я запомнила, что один немец-портной перешил из маминого пальто красивое пальто для моей сестры Маргариты. Другой немец-плотник сделал дяде из дерева сундук-чемодан: очень гладко полированный, он блестел. С этим сундуком дядя не расставался много лет, переезжая по службе с одного места на другое. Так, после закрытия зоны, когда пленных отпустили на родину, дядя был назначен на работу в деревню Верхняя Синячиха, а через год или два – в село Коптелово, и везде вещи возил в этом сундуке.

Были среди пленных маляры и строители. Их привлекали к ремонту помещений и в зоне, и в служебных домах обслуживающего персонала. Сама я немцев не видела, а на вокзале в Алапаевске видела пленных румын перед их посадкой в теплушки, когда их отпустили на их родину в 1956 году.

Брат мой (старше меня) был подростком в годы войны, жил, как и вся наша семья, в Алапаевске, и работал на заводе. Помнит военнопленных, которые тоже работали на заводе. Подростки жалели пленных, в обед угощали своими припасами из дома.

Лилия Мельникова
«В прен сама пошра»

Напротив нашего дома через дорогу шло строительство трехэтажного общежития для рабочих. Там трудились военнопленные японцы, которых каждое утро под конвоем приводили охранники. Вечером, когда работа кончалась, их строили в колонну и уводили в лагерь.

Эти необычные люди вызывали постоянный интерес у всех ребятишек. Одни их дразнили, показывая кулаки и выкрикивая «банзай!», а другие жалели и приносили им кусочки хлеба. Пленные выглядели очень измученными. Униформа цвета хаки висела на них, как на вешалках. И все они были так малы ростом, что казались нам, детям, ровесниками.

Военнопленные часто подзывали нас, и, отдавая свои гроши, просили купить для них что-нибудь съестное или папиросы. Сами они не могли отлучаться со стройки. Мы охотно выполняли их просьбы, хотя в то время в магазинах ничего нельзя было купить, кроме черного хлеба, ржавой селедки и консервов.

Я и моя подружка Зина часто беседовали с японцами, несмотря на то что это было строго запрещено. Бдительные охранники, наводящие ужас не только на пленных, но и на нас, постоянно отгоняли всех от японцев, грозя тюрьмой за предательство Родины и шпионаж. Да мы и сами побаивались пленных, несмотря на их солнечные улыбки, ведь они были нашими врагами.

Среди всех японцев мы с подружкой выделяли двоих, самых молодых, которые постоянно нас приветствовали и пытались шутить на ломаном русском языке.

– Дети сан, смотри! – говорил один из них и показывал, как он «отрывает» себе палец, и при этом закатывал глаза и издавал мучительные стоны. Мы понимали, что парень шутит, и весело смеялись. Нам, маленьким девчонкам, льстило, что взрослые люди разговаривают с нами на равных.

Как-то раз один из японцев с таинственными видом подозвал меня и вручил спичечный коробок, в котором что-то тихонько шуршало. Я осторожно его приоткрыла и, о чудо, увидела красивую бабочку – черного махаона, которого даже в те далекие времена было очень трудно встретить. Потрясенная красотой и размерами бабочки, спросила:

– Где ты взял ее?

Он гордо ответил, что поймал махаона специально для меня.

Затем, смущаясь, робко попросил принести ему кусочек хлеба.

– Да, да, конечно! – сказала я и помчалась домой, бережно прижимая к себе коробочку с крылатой красавицей. Дома схватила кусок хлеба и собралась бежать обратно. Мама остановила меня и сказала:

– Зачем ты берешь хлеб? Лучше мой руки и садись обедать. Сегодня я приготовила очень вкусный борщ с мясом.

Я показала маме черную бабочку и ответила, что хлеб я несу пленному японцу, который подарил ее мне.

Мама вздохнула, немного подумала и сказала:

– Бедный малый! Он, наверное, очень голоден. Там, в лагере, их держат на хлебе и воде. Приведи его к нам. Пусть поест горяченького.

Я радостно побежала звать своего знакомого на обед. С ним рядом стоял его друг. И я пригласила их обоих.

Японцы переглянулись, о чем-то поговорили между собой и, воровато оглядываясь, пошли вместе со мной. Было как раз обеденное время. Охранники сидели в стороне на пустых ящиках. С увлечением ели селедку, чем-то запивая ее. Можно было отлучиться незаметно.

Мама, увидев двоих гостей вместо одного, погрозила мне пальцем, но ничего не сказала. Усадила обоих за стол. Налила им по полной глиняной миске вкусного дымящегося борща и крупными ломтями нарезала буханку черного хлеба. Японцы замерли от восхищения при виде роскошного угощения. Затем молча принялись за еду.

Если бы вы могли только видеть, как они ели! Я никогда не забуду этого зрелища. Быстро загребая ложками, почти не жуя, они глотали этот живительный борщ, закатывая от блаженства свои маленькие узкие глазки. Чтобы не уронить ни одной капельки, они подставляли под ложку кусочек хлеба, неся ее ко рту.

Когда миски опустели, гости хлебным мякишем вытерли их до блеска и отправили сочные кусочки в рот. Затем собрали со стола все хлебные крошки и съели их. Действовали одинаково и очень слаженно. Покончив с едой, японцы улыбнулись нам, встали из-за стола и, сложив руки ладошками вместе, долго кланялись, благодаря нас. Мама растрогалась и даже заплакала. Ей было очень жалко этих изголодавшихся молодых ребят.

После этого обеда японцы встречали меня как родную. Мы каждый день разговаривали. Они очень смешно произносили некоторые русские слова: «хреп» вместо «хлеб», «растуй» вместо «здравствуй». Мое имя Лиля они произносили как Риря. В японском языке нет буквы «л», и во всех русских словах они

заменяли ее на «р».

Мне удалось узнать их имена. В шутку или всерьез они назвались Тор и Ками. Причем Тор, называя себя, показывал на стол, а Ками брал в руки камень.

Тор и Ками еще много раз обедали у нас. Мама старалась приготовить для них рыбу и рис, это была их любимая еда.

Однажды мама спросила гостей, как они попали в плен. Японцы смутились и стали уверять:

– Моя русский не стреряй! В прен сама пошра. Не хотера война.

Оба очень тосковали по дому, в плену они томились уже почти три года. У Тора отец был крупным промышленником. Тор смешно изображал своего отца – надувал щеки и округлял живот руками, показывая, какой он богатый и толстый. Ками был из простой рабочей семьи.

Война стерла все сословные грани, и в плену они стали лучшими друзьями. А еще молодые японцы очень полюбили наш черный хлеб. До войны они даже не знали его вкуса. В Японии этот продукт не едят, его заменяет рис, и даже пирожные пекут из рисовой муки.

– Когда моя пошра дома, то скучай русский хреб, – говорили они.

Прошло несколько месяцев, и однажды я увидела, что вместо военнопленных на стройке трудятся наши русские рабочие. Подумала, что замена временная, но японцы больше не вернулись. Никто не знал, куда их увезли. Может быть, отправили на родину, а может, перевели в другой город.

Своих друзей Тора и Ками я больше не увидела. А черная бабочка-махаон еще много лет хранилась в моей коллекции, пока не рассыпалась от времени.

Вячеслав Кабанов
Кто исполняет приговор?

Мы играли во дворе, и вдруг кто-то с улицы вбежал и что-то крикнул. Чего он крикнул, я не разобрал или не понял, а все побежали. Я ухватил кого-то и переспросил. Мне на ходу объяснили, зачем надо бежать на Сенную. Я было кинулся, но сразу остановился. Я же был снова в доме, в семье, я был у бабы Дуни, нельзя было уйти со двора, не спросив позволения.

– Можно я побегу со всеми смотреть, как вешают полицаев?

Так задал я свой простой вопрос. Я ведь не проживал на оккупированной территории, у нас с моими новыми друзьями был разный опыт, и я не знал этих слов: *вешать, полицай*… А баба Дуня не пустила, ограничив мой опыт, и я так до сих пор и не видел, как вешают. Когда окончился Нюрнбергский процесс и по радио объявили приговор, я уже, в общем-то, знал – из книг и кино, – что такое *повесить*, и знал про полицаев и про главарей фашизма, но у меня оставался один неразрешимый вопрос:

«Это справедливо и правильно, но ведь среди наших, советских людей не может же такой найтись, кто бы этот приговор исполнил! Ведь чтобы кого-то повесить, надо самому быть фашистом!!!»

Я сказал об этом дяде Володе, но он не понял. Усмехнулся и ответил:

– Да я бы сам. И с удовольствием!

Но это было уже много позже, в Москве. А тогда, в Краснодаре, я представил себе повешение особенным образом.

До войны, кто-то помнит, была такая игрушка: целлулоидный физкультурник на проволочном блестящем турнике. Сбоку, внизу находилось пружинное заводное устройство. Игрушка заводилась ключиком, и физкультурник начинал вертеться на турнике, вися на руках. Эта игрушка была в краснодарском доме с довоенной поры, и я, не попав на Сенную, стал рассматривать гладкого розового физкультурника, повешенного на перекладину. Ничего особенно интересного в этом не было… Не мешало бы, конечно, посмотреть, как большой и настоящий полицай-физкультурник крутится на большом турнике, но почему-то баба Дуня не пустила, а ее слово никогда и никем не обсуждалось.

Про страх

Дело дошло до того, что страхи не только испытывают, но и исследуют. Установили, что страхи бывают биологические (врожденная боязнь змей и пауков, например), страхи социальные (а вдруг выгонят с работы, арестуют?) и страхи экзистенциальные (страх перед самой жизнью, страх смерти). Ученые знают, где именно в мозгу находится область, заведующая страхом, – в миндалевидном теле, в височном отделе. Сравнительно недавно открыли, что существует некий ген, который можно назвать «геном страха». Он вырабатывает белок статмин. Есть заболевание, при котором синтез этого белка прекращается, – люди с этой болезнью совершенно бесстрашны.

Бывают времена, когда страх распространяется в человеческом обществе как заразная болезнь: вирус гриппа, вибрион чумы… Природа этого страха по большей части социальная, но сюда примешиваются и многие другие виды страха: голода, боли, страх перед начальством, перед карающим за проступки и прегрешения Богом, страх смерти… Страх проникает во все поры жизни, он не отпускает человека даже во сне…

Наша страна пережила эпоху «большого страха». Начиная с времен революции 1917 года регулярно преследовалась какая-то часть населения: аристократы, дворяне, просто состоятельная часть общества (купцы, предприниматели, попадающие под общую рубрику «буржуи»), офицерство («белогвардейцы»), священники, богатые крестьяне («кулаки»), инженерно-техническая интеллигенция. Кроме преследуемых социальных групп, сталинская национальная политика обрушивала репрессии на целые народы – первыми еще в двадцатые годы выселены были терские казаки в другие области северного Кавказа, на Донбасс и на Крайний Север. За последующие тридцать лет жизни Сталина высылке и репрессиям подверглись чеченцы и ингуши, балкарцы, крымские татары, армяне, греки, поволжские немцы, месхетинские турки, множество прибалтов…

Страх искажает облик человека. Пораженный страхом человек теряет человеческое достоинство, а лишенный достоинства человек не способен сопротивляться злу. Он превращается в покорное животное.

Александр Ацкверели (прислала Ирина Синдеева) Безликие фото

Послевоенный Тбилиси. Осень. Ночь.

Комната в двухэтажном доме с «итальянским двориком» в старом тбилисском районе Сванетисубани.

На столе, отбрасывая на стены причудливые тени, горит керосиновая лампа «трехлинейка». Электричество в то время давали по вечерам всего на пару часов.

– Спи, родной. – Молодая женщина заботливо подоткнула сползавшее одеяло сыну под спину.

Мальчик повернулся на правый бок – он всегда спал на правом боку – и положил левую руку на обувную картонную коробку, которая стояла рядом на стуле.

Он не спал, прислушиваясь к звукам, доносившимся с темной улицы. Вот по булыжнику процокали лошадиные подковы – это извозчик дядя Коля возвращается домой. Из-за стенки слышно приглушенное бормотание соседа, бывшего танкиста. Потеряв в подбитом, горящем танке левую руку, он до сих пор воюет во сне.

А вот остановилась машина, старый ЗИС или «эмка», двигатель продолжает работать. И от его мерного стука мороз идет по коже. Теперь надо ждать, не раздадутся ли чьи-то гулкие шаги в подъезде.

В 1949–1950 годах в Тбилиси сотрудники НКВД, или, как его еще продолжали называть в народе, ГПУ, брали всех, кто побывал в плену или каким-то другим образом «запятнал» свою биографию. Люди потом исчезали, и не принято было спрашивать – куда. Поэтому по ночам горожане всегда с тревогой прислушивались к шуму подъезжающих машин.

Взять могли любого из любой семьи. И мужчину, и женщину. Спрашивали только фамилию.

Женщина сидела за столом у лампы и что-то шила. Теперь, пока на улице работает мотор машины, ей будет не до сна. Ведь она знала то, чего пока не следовало знать маленькому мальчику.

В их семье было достаточно причин для ночных тревог. Ее родной дядя Нико был в свое время отчаянным «маузеристом» – противником советской власти. В конце двадцатых годов он был осужден за антисоветскую деятельность и сослан в Белгород, где скончался в конце войны. Как легенду, в семье передавали строки из его заявления-отречения: «Борьбу против советской власти прекращаю, но от идей своих не отказываюсь». Дяде еще повезло

со следователем – за такие слова его запросто могли расстрелять.

Другой ее дядя, будучи заместителем наркома финансов, был репрессирован и сослан в Сибирь за то, что провожал на вокзале своего начальника, который сразу по приезде в Москву был объявлен «врагом народа». Обоих прямо на вокзальном перроне и арестовали: одного в Тбилиси, а второго через три дня в Москве.

Но это были, так сказать, полузатертые тревоги прошлых лет. А вот недавнее, фронтовое, порождало в ее душе действительно реальную тревогу. Муж ее, молодой лейтенант, вместе со своими одноклассниками добровольцем ушедший на фронт и вернувшийся инвалидом, был корректировщиком огня. Это означало, что, пробираясь на передний край или в тыл врага, он по рации передавал в свой артиллерийский дивизион координаты целей. И в декабре сорок первого, под Яхромой, его накрыло немецкой миной. Семь долгих ночей сопровождавший его солдат, Сергей Солдатов, ползком тащил на себе раненого командира, рацию и шифровальную машину в расположение советских войск. Наверное, можно было бы обернуться быстрее, но потеря рации и шифровальной машины означала расстрел. В лучшем случае штрафбат. Поэтому приходилось тащить на себе тяжеленные радиоприборы.

Эти семь суток пребывания на ничьей территории могли быть вполне достаточной причиной для ареста.

Женщина продолжала шить, прислушиваясь к любым звукам, раздающимся в ночи. Мальчик ее спал, и вроде как все было спокойно. Но она ошибалась – мальчик не спал. Он знал то, чего не знала мать. В свои пять лет из обрывков взрослых разговоров он, как из мозаики, сумел составить для себя картину жизни, разделенную на белый радостный день и черную ночь. И еще он видел странные безликие фотографии в бабушкином альбоме. Это были семейные групповые фотографии, из которых бабушка маникюрными ножницами вырезала лица своих родных и близких – тех, кого власти арестовали и объявили «врагами народа». Оставить эти фото нетронутыми означало навлечь на семью большие неприятности.

Поэтому каждый вечер мальчик собирал свои любимые игрушки в картонную коробку и перевязывал шпагатом. Если бы страшное ГПУ пришло их выселять, у него всё уже было готово для дальней дороги.

Им тогда повезло: отца не арестовали, их семью не выселили.

Мальчик с тех пор вырос и постарел, игрушки из той коробки давным-давно затерялись, но безликие фотографии из бабушкиного альбома, напоминающие кадры из фильмов ужасов, по сей день хранятся в семье, как страшные реликвии

послевоенного детства.

Роза Логвинская
(записала внучка Таша Карлюка)
Еще чуть-чуть – и новая жизнь

Война закончилась. Мы едем в переполненном душном вагоне. Вши, мухи, вонь. Старики, что ходят под себя, груднички кричат. Женщина расстегнула засаленную рубашку – кормит сына. Малыш умолк. «Показала всем свои груди и не стесняется!» – думаю я, но никому не говорю. О таком не говорят – робею. Безрукие, одноглазые солдаты играют в карты. Кто-то спит. Кое-где лежат трупы. Им повезло – хоть и звучит дико. Кто ехал один, за кого некому было заступиться, тех выносили на перрон во время остановок и оставляли их там – чтобы место не занимали. Прижимаюсь к маме, закрываю глаза. «Давайте уже приедем!» Мама говорит: «Еще немного осталось, потерпи. Еще чуть-чуть – и новая жизнь». А где можно было отыскать новую жизнь во время войны? Во сне! Во сне мы с папой и мамой катались на каруселях, ели мороженое. Во сне у меня были длинные волосы и красивое, чистое платье. Во сне я ела свежий хлеб, а не собирала завалившиеся под русскую печь крошки. А где сейчас папа? Неизвестно. Почти побритая наголо девочка в заштопанных чулках и выцветшей кофте – вот кто я.

Остановка. До нашей ехать еще более часа. Мамочка с тетей Лизой, оставив в вагоне своих стариков-родителей и нас, детей, которых четверо на двоих, вышли на улицу. Если бабушки-торгашки будут добры, они вернутся с куском хлеба. Я смотрю в щель, что между досками в вагоне, смотрю на перрон, на маму, тетю Лизу. Полная женщина в красивой косынке крутит носом, глядя на то, что предлагает ей мама с тетей. Идут к другой. На перроне много людей, я теряю маму из виду. «Розочка, ну где там наши?» – спрашивает у меня бабушка. «Бабуся, я их не вижу». Поезд тронулся в эту минуту. Я судорожно пытаюсь отыскать в толпе маму, тетю Лизу. Они пропали. Мы, дети, начинаем кричать, плакать, но их нет. Поезд с каждой секундой начинает ехать все быстрее. Двое больных стариков – дедушка почти не ходит, бабушка почти не видит – остались с детьми, самому старшему из которых двенадцать лет. Во время войны не умерли, так вот сейчас самое время… Я лихорадочно вглядываюсь в щель, через которую еще недавно видела мамочку, и что я вижу? Я вижу двух худых, замученных женщин в лохмотьях, бегущих за поездом. Это мама и тетя Лиза. Мы орем неистово, а они спотыкаются, поднимаются и вновь бегут. Небольшой кусок

хлебца, который таки удалось обменять, тетя Лиза случайно роняет на землю. Она хочет вернуться за ним, но мама резко хватает ее за руку. Две обессиленные женщины из последних сил пытаются догнать поезд, где их дети и родители, но увы…

В эти минуты я поняла, что такое война. Мне восемь лет, и самого дорогого человека – моей мамочки – больше не будет в моей жизни.

Но что это? Поезд замедляется, а вскоре и вовсе останавливается. Он никуда и не собирался уезжать – его просто переводили на другие пути. И вот в вонючем, грязном вагоне сидят, обнявшись, две женщины, их родители и дети. Слез не осталось – все выплакали. Они молчат.

«Еще немного осталось, потерпите. Еще чуть-чуть – и новая жизнь».

* * *

С Настей Зайцевой мы дружили с первого класса. Но вот мы уже заканчиваем третий, а я ни разу не была у нее дома, тогда как она бывает у нас часто. «Настя, я все стесняюсь у тебя спросить, а почему ты меня к себе не приглашаешь?» – решаюсь спросить я. Настя смущается и начинает оправдываться: «Ну, ты понимаешь, у меня бабушка болеет. Выздоровеет – приглашу». На следующий же день я встречаю Настину бабушку в магазине. Выглядит она здоровой, но я Насте ничего не рассказываю. Решаю не напрашиваться.

Прошло время, Настя приглашает меня к себе. У Насти отдельная комната, много игрушек, одежды. Куда мне до нее – где пять человек в одной комнате, одежду донашиваю за старшими, из игрушек – одна маленькая куколка. Мы с Настей дома одни. Пьем чай с конфетами и печеньем. Я молчу и любуюсь красотой их люстры, дивана, пианино, книжным шкафом. Настя улыбается и, как хорошая хозяйка, заприметив, что конфеты закончились, берет пустую вазочку и идет в кухню за добавкой. А я начинаю рассматривать фотографии, что висят на стене. Фотография, где она с бабушкой, портрет ее мамы, отец с огромным псом в ногах. А это что? Фотография нашего класса. Лица троих закрашены зеленкой – Сони Спиваковской, Эллы Берман и мое. «Настя, а зачем ты нас разрисовала?» – спрашиваю я.

Оказалось, в их семье не любят евреев. Отец приказал закрасить наши лица. После этого мы с Настей общаться стали реже. Через неделю Настя и вовсе перестала ходить в школу.

Учительница нам сказала, что у нее ветрянка. «Дети, кто из вас уже переболел ветряной оспой?..» И, не дождавшись ответа: «Резникова Роза, а ты уже переболела ветрянкой?» В детстве я не особо умела врать: «Переболела!» Учительница обрадовалась: «Вот и славно! Проведаешь сегодня после уроков Зайцеву, домашнее задание отнесешь».

Шла я неохотно. Позвонила в их звонок. Дверь отворилась. Передо мной стояла Настя. Все ее лицо было в зеленую крапинку. Из комнаты послышался мужской голос: «Настя, кому я сказал – быстро в постель! Бабушка откроет! Тоже мне, вздумала!..» А потом я увидела и само тело. Это был Настин отец. Его лицо и руки тоже были зелеными.

Михаил Лукомский
Пятерка по рисованию

Москва, декабрь 1949 года. Двадцать первого декабря – день рождения «лучшего друга детей» Иосифа Виссарионовича Сталина, ему исполняется семьдесят лет. Наш учитель рисования дает нам задание на дом: нарисовать… президиум торжественного юбилейного заседания в Большом театре. Даны четкие указания – нарисовать длинный стол под красной скатертью, красные знамена, даты: 1879–1949, а между ними оставить место для портрета именинника. Портрет было рекомендовано аккуратно вырезать и наклеить.

Об особо важном задании я рассказал соседке по коммунальной квартире Елизавете Федоровне. Она приняла самое активное участие в поисках портрета вождя, принесла на кухню стопку старых номеров журнала «Огонек», и мы начали выбирать. Вскоре на развороте одного из «Огоньков» нашли картину под названием «Утро нашей Родины»: в центре юбиляр, а у него за спиной – бескрайние колхозные поля и огромные заводские корпуса. Баба Лиза бережно вырезала портрет, а оставшуюся часть картины сожгла на газовой плите. На удивленный вопрос «зачем?» прямого ответа я не получил. Запомнилась только фраза, что «коварный враг может найти порезанную картину, и у нас с тобой будут большие неприятности».

А через несколько дней мое яркое полотно было украшено пятеркой, первой (и единственной) моей пятеркой по рисованию.

Анатолий Компаниец
Скверный анекдот

Развлечения мальчишек в первые послевоенные годы были весьма разнообразны, а их особенность строго зависела от поры года. Зимой – санки, коньки и крюк для того, чтобы зацепиться за задний борт машины, снежки, скользанки, снежные бабы и крепости, редко – лыжи. Летом – игра в пуговицы, биток (на монеты), лапта, футбол, волейбол, жмурки, жесточки. Но в любую пору года – треп: пересказы прочитанного, рассказы «про страшное» и анекдоты.

Про один такой анекдот и пойдет речь.

Действо происходило в пору, когда еще был жив усатый вурдалак. Недавно вся страна и «всё прогрессивное человечество» отметили его семидесятилетие, а все газеты несколько месяцев начинались со слов «Поток приветствий и поздравлений И.С. Сталину продолжается». И приводился перечень стран, деятелей, партий, преклоняющих колена. Вот в эти счастливые дни мы и собрались. И пошла беседа про всякое. Всем собеседникам десять-одиннадцать лет, не больше. И стал один шкет рассказывать анекдот. А суть анекдота такова.

Приехали к Сталину гости Ф. Рузвельт и У. Черчилль. (Не стану обижать младого читателя объяснением, кто это такие.) А им какой-то халдей и говорит, что т. Сталин принять их не может,

потому как спит он. Смутились гости, да делать нечего, издалека ехали, не вертаться ж. Погодили часок, обговорили заботы свои тяжкие да и приступили к халдею заново. А тот всё свое торочит: спят, пущать не могем. Рузвельт обратил внимание на свое инвалидное состояние, Черчилль пожалился, что у него сигары на исходе. Не помогло. И тогда кто-то из них предложил разбудить Сталина, а для того погромче спеть песню. Перебрал этот дуэт свой репертуар, пошептавшись и хихикая, да грянул во всю мочь: «Вставай, проклятьем заклейменный».

Пауза была не театральная, а короткая и наполненная нарастающей жутью. Мальцы малознающие, чьи первые годы были осенены всем ужасом войны, с вечно ищущим взглядом, чего бы съедобного стырить, от страха оторопели. А потом, не глядя друг на друга, почти бегом разошлись.

Валентина Гойденко
«Черный ворон» заберет

Самые ранние воспоминания мои связаны с первой встречей со смертью. Мне было годика три. Помню комнату, гроб на табуретках, рядом с ним люди, я сижу на краю лежанки русской печи, покачивая ножками у печурок, внизу ходит и мяукает кошка… И вдруг – прыжок кошки прямо мне на грудь, я опрокидываюсь вместе с ней на спину внутрь лежанки. Ужас! Истерика!

Как мне, уже взрослой, рассказала моя бабушка, в гробу лежала мамина близкая подруга, кошка искала ее по комнате и не находила, увидела меня и от радости прыгнула (мы с тетей Зоей часто играли с ее любимой кошкой). С тех пор детский страх этот преследует меня всю жизнь: боюсь гробов, и к кошкам у меня нет умиления.

Хорошо помню я и как через три дня после моего дня рождения на здании детского сада был укреплен красный флаг с черной лентой. Взрослые плакали и говорили: «Как теперь жить?» *Умер товарищ Сталин!* И хотя в это время многим жилось несладко, даже непослушных ребятишек пугали «черным вороном», который приедет и их заберет, – народ сокрушался: что будет дальше? Это был страх перед будущим!

Светлана Беленкова
Семья глухих в дороге

На вокзале должна была собраться группа эвакуируемых глухих. Народу было невероятно много, и было непросто найти своих. К платформе подошел товарный поезд. И тут объявили воздушную тревогу. В создавшейся панике и с испугу я не сумела объяснить родителям, что нужно бежать в бомбоубежище, еще мне самой непонятное! Мы успели только прижаться к стене вокзального здания, когда немецкий самолет низко-низко пролетел над вокзалом, сделал вираж и улетел. Тут мы и обнаружили, что с нами нет Лени. Отец побежал его разыскивать. Оказалось, что толпа увлекла его в бомбоубежище, и Леня там отсиделся до отбоя.

С облегчением вздохнули мы, когда наконец все вместе вошли в вагон. Там уже расположились на нарах люди, все почти знакомые друг с другом. Это были в основном молодые женщины, девушки, организованные к эвакуации председателем городского общества глухих Пскова товарищем Ковалевой (именно так ее и называли). Возможно, они были с какого-нибудь завода или фабрики.

Мы покидали город, в котором уже горели многие дома или кварталы. Чем дальше мы отъезжали, тем более странными казались мне огромные костры, полыхавшие средь бела дня. Я с удивлением смотрела на это необычайное, даже завораживающее зрелище. Никакого страха я не испытывала и не понимала, отчего некоторые плачут.

Эшелон шел медленно. Жарко, душно. Я стояла у открытой двери рядом с женщиной, у которой в руках был бинокль. Она время от времени спрашивала меня: «Не слышно ли шума самолета?!» – «Нет, не слышно», – отвечала я. А она снова и снова прикладывала бинокль к глазам и с беспокойством вглядывалась в чистое голубое небо. К счастью, бомбежек не было, и мы благополучно двигались в сторону от линии фронта.

На остановках нас, беженцев, иногда кормили в столовых или выдавали буханку хлеба. Мы ее съедали до следующей остановки. Не у всех были деньги при себе. Выдавали специальные талоны на питание.

Когда поезд стоял долго, люди выходили, бродили по путям между поездами. Поездов иной раз было много. И вот произошел первый печальный случай. Завидев тронувшийся состав и приняв его за свой, несколько глухих из нашего вагона попали на другой

поезд и уехали в неизвестном направлении. Да ведь и мы сами не знали, куда нас везут.

В пути мы находились уже не одни сутки. Поезд сделал очередную остановку и долго не трогался с места. Стоял знойный полдень. Из нашего вагона проворно выскочили две молоденькие девушки в маечках и легких юбочках, совсем босиком. Они побежали к железнодорожной колонке и радостно стали плескаться возле нее. Они так увлеклись этим занятием, что не увидели, как поезд стал медленно отходить. Наш вагон был последним. Им кричали, махали руками – всё напрасно. Поезд удалялся, оставив позади изо всех сил бегущие две фигурки. Девушки отстали от поезда – без вещей, без документов, без всего…

Опять дорога, дорога. Ни дождя, ни облачка. Жара нас донимала. Не помню, как мама стирала или меняла пеленки. Не помню, чтобы ребенок капризничал, кричал. Запомнилась мама, всё время державшая его на руках.

На одной из остановок представилась нам всем возможность помыться. Вероятно, об этом сообщили по репродуктору или как-то еще. Одним словом, многие стали выходить и куда-то направляться. Отец и несколько глухих тоже пошли узнать, в чем дело. Вернулся отец с вестью: «Есть баня!» – и забрал меня и Леню с собой. Мама с малышом оставалась в вагоне. То, что отец назвал баней, на самом деле представляло наскоро сооруженный помывочный пункт (санпропускник). Под открытым небом матерчатые перегородки отделяли мужское отделение от женского. Отец спешил нас вымыть, откуда-то таскал таз с горячей водой, намыливал по очереди то меня, то Леню. И вдруг совсем неожиданно он заметался, схватил простыню и едва замотавшись, ринулся к выходу. Нас он крепко держал за руки. Было непонятно, зачем мы бежим? Совсем голенькие. Что случилось? На улице отец стал кричать дико, нечеловечески, как могут, наверное, кричать глухие. Вот когда я по-настоящему испугалась. Люди пытались остановить отца. А поняв, что он глухой, кричали ему в ухо, объясняли как могли, «на руках», что поезд не отъезжает совсем, он вернется, только на другой путь. Тут и я как могла стала ему показывать руками: «Поезд не ушел. Он вернется». Отец понял, и мы вернулись в баню и закончили так нелепо прерванное мытье.

Благополучно возвратились мы в свой вагон. Родители и окружавшие нас люди, бурно жестикулируя, стали обсуждать происшествие. Отец рассказал, как страшно испугался потерять маму с ребенком, а она тоже, в свою очередь, не могла понять, почему отъезжает одна в пустом вагоне. И тот же страх – мы

растерялись.

Будучи уже взрослой, я расспросила маму: «Каким же это шестым чувством отец понял, что поезд тронулся, что он отъезжает?» Оказалось, кто-то из наших при эвакуации прихватил с собой велосипед и водрузил его на крышу. Уж как ему удалось закрепить его там? Вот этот велосипед на крыше и был тем ориентиром, который выделял наш товарный состав среди других похожих, и отец увидел его поверх ширмы в бане. Он увидел удаляющийся велосипед, значит, состав тронулся. Этим и объяснилась его молниеносная реакция – «Поезд уходит!»

Наконец мы прибыли в Казань…

Елена Волленвебер
Пол-улицы в подарок

Год 1948. Мой отец, шестилетний пацан, жил со своей матерью где придется. Современная аббревиатура *бомж* наиболее соответствовала описанию их жилищного, но не социального статуса. В то послевоенное время отсутствие жилья вовсе не означало, что человек является отщепенцем. Разруха и нищета царили повсеместно, а семьи репрессированных по социальному положению находились на самом дне общества.

Деда моего отца по материнской линии забрали в 1937 году, после чего его уже никто не видел. Был он скорняком, дело свое знал и работал денно и нощно в своем сарае, выделывая шкуры, занимаясь пошивом хомутов, шапок, других меховых изделий, столь необходимых суровой сибирской зимой. Заработал своим трудом право поселиться в той части поселка, где жили по преимуществу негласные правители – местные казаки. Они селились главным образом на трех центральных улицах, пришлым же разрешалось жить только на окраине Черлака, поселка в Омской области. Дед папы и мой прадед Бычков был не местным, а приехал из Рязанской губернии в 1919 году в Сибирь за лучшей жизнью. И позволение поселиться в «элитной» части поселка было доказательством его высокого мастерства. Но кому-то, видимо, это мастерство стояло как кость в горле, и в суровые годы сталинских репрессий мой прадед исчез навсегда в неизвестном направлении.

Дочь его, моя бабушка, встретила и полюбила своего будущего мужа, моего деда, незадолго до войны. Он пришел с финской войны, на которой служил далеко не рядовым (документы отсутствуют, а определить звание по петлицам нам не удалось), и был видным женихом. Вспыхнувшая любовь не оставляла времени на долгие раздумья, и мой папа, плод этой любви, появился раньше положенных девяти месяцев, которые должны были пройти со дня свадьбы до момента появления на свет. Этого семья моего деда, напоминавшая и по укладу жизни, и по затянутости платков на черно-белых фотографиях старообрядческую, бабушке не простила, что и отразилось на последовавших скитаниях моей бабушки и папы.

Папин отец погиб в марте 1942-го, даже не увидев своего сына. Мать же, не признанная семьей мужа, была вынуждена скитаться по углам на чужих квартирах. Работала она в больнице старшей медицинской сестрой. Сын же был предоставлен сам

себе. После войны ее взял замуж тракторист, покорив перед тем сердце будущего пасынка невиданной щедростью. В первый свой приход он подарил ему 5 рублей, дав, таким образом, возможность приобрести мечту пацанов того времени – колесо, которое можно было катить на палке, – «Мерседес» для мальчишек, выросших в послевоенную пору. А через год, в 1949-м, его жену, беременную близнецами, отдают под суд.

В послевоенные годы аборты были запрещены, нарушения строго карались. К матери моего отца и моей бабушке, которая работала медсестрой в гинекологическом отделении, обратилась деревенская жительница и стала умолять сделать аборт ее умственно отсталой дочери, забеременевшей из-за своей недалекости. Бабушка пошла знакомой навстречу. Но вскоре сама же пациентка разболтала по причине слабоумия страшную тайну, и над бабушкой состоялся суд. Приговор был суров – тюрьма, и никого не смутило то, что подсудимая была беременная, а на свободе у нее оставался малолетний сын.

И вот суд закончен, подсудимую, скованную наручниками, уводят. Папа, которому исполнилось семь лет, пытается прорваться к матери, но его останавливает какая-то тетка – «не положено!». Присутствующие постепенно расходятся, и папа остается один.

Ну а что же наше общество, пекущееся о благе детей? Или детство – тоже понятие идеологическое? Если у тебя родители – образцово-показательные граждане, пусть даже стукачи и доносчики, но действующие согласно придуманным в этом жутком государстве правилам, ты – ребенок. Если же родителям вздумалось, пусть даже из добрых побуждений, «нарушить устав», быть ребенком тебе уже отказано? Бесчеловечность системы достигла в середине XX века своего апогея. И судьба моего папы – тому подтверждение.

Но мир не без добрых людей. И добрый человек, появившийся в этот трагический момент в жизни папы, был не намного старше его. Подошедший к нему пацан приободрил брошенного на произвол судьбы мальца и сказал: «Не переживай, я отдам тебе пол-улицы». Что значило это в те послевоенные годы, знает далеко не каждый. Множество детей остались в те годы без родителей, и единственным способом заработать на жизнь было собирание милостыни. Так как беспризорников было немало, поселок был поделен на участки. Подарок длиной в пол-улицы был воистину царским. И если учесть, что государство не позаботилось о мальчишке, отец которого отдал за это государство свою жизнь, то ценность подарка от почти ничего не имеющего оборванца переоценить трудно.

Затем были скитания, досрочное возвращение матери с одним только выжившим близнецом и скорая ее смерть от туберкулеза, опять скитания и затем тяжба родни, которая наконец (!) поняла «ценность» сироты: ведь ему полагалась пенсия! Но из всех рассказов папы о его трагическом детстве мне почему-то ярче всего запомнился этот – об аресте матери. И видится мне сцена, где в опустевшем зале суда стоят два пацана, брошенные обществом на произвол судьбы. И один из них предлагает другому пол-улицы в подарок.

Людмила Шевелева
Страшный сон

Я в гостях у Гриши и Зины. У них собрались диссиденты – друзья по лагерю, ученые. Обсуждают послеперестроечный террор и заказные убийства. Присутствуют живые и умершие – Коля Жегалов со своими коммунистическими идеями, Зинка Герсон – приехала из Америки, Ира Муравьева, Гришин учитель из ИФЛИ, Леонид Ефимович Пинский; Ира Бунина, Юра Лескис, Коля Котрелев с Чудой, а так же С.П. Капица и Л.Д. Ландау, которых я видела только на фотографиях.

Засиделись, зажгли свет, а занавески задернуть забыли. Подъехал фургон – «черный ворон», вышли четверо мужчин, ворвались в комнату, учинили обыск, сбросили книги с полки. От предчувствия, что сейчас всех увезут на Лубянку, проснулась.

Все умрут… и Сталин тоже?

Каждый ребенок проходит через этот опыт – первого соприкосновения со смертью. Для одного это – мертвый воробей, раздавленная машиной собака, для другого – умерший отец. Человеку надо время, особое душевное усилие, чтобы осмыслить этот факт, пережить это потрясение. Тогда возникает и ужасная догадка – и я тоже умру… Страх смерти – одно из самых мощных и глубоких переживаний, очень личное, интимное, трудно передаваемое словами. Этот страх переживается большинством живущих людей, во все времена, и он мало зависит и от культурного уровня человека, и от воспитания, и от социальных обстоятельств. С древнейших времен до наших дней на эту тему написано множество томов.

Смерть уравнивает всех людей. Все люди теряют своих родителей. Иногда дети уходят прежде, и это горе всегда переживается особенно остро. Уходят друзья, учителя, близкие… Однако в жизни нашей страны в середине двадцатого века умер человек, чья смерть никого не оставила равнодушным.

Смерть Сталина – исторический рубеж, грубый шов в самом течении жизни. Полстраны рыдает, полстраны ликует. И все ждут перемен. Одни озабочены тем, как жить без Сталина? Другие уверены, что хуже не будет. Последние молчат. Страх овладел обществом, правительство в растерянности – три дня совещаются руководители страны, прежде чем объявить о происшедшей уже смерти. Так кто же умер: светоч всего прогрессивного человечества или жестокий тиран? Великий полководец или великий преступник? Шестьдесят лет уже прошло, а народ всё не может решить эту сфинксову загадку…

Валентина Никитина
Не вернется папа

Я, брат и сестра накрепко заперли дверь от воров, открыли окно и стали ждать маму. Она работала сторожем на вокзале. Шел 1951 год. Мама охраняла «бомбы» (неразорвавшиеся снаряды), чтобы не растащили дети и взрослые. В ночные дежурства мы оставались одни дома и ждали утра. Вова и Юля, младшие брат и сестра, четырех и двух лет, уснули на кровати возле окна, а я сидела на подоконнике, ждала маму и слушала ночь. Отец наш болел, лежал в больнице. Осенние звезды молчаливо подмигивали мне, скрываясь за отдельными облаками, а затем, выныривая из-за них, становились еще ярче. Цикады, с вечера оглушительно, а затем все тише и напевнее убаюкивали меня. Какое-то томление, беспокойство не позволяло мне уснуть. Вот мелькнула белесая тень, тявкнула собака, сердце сжалось от страха и забилось, затрепыхалось в ожидании чего-то неотвратимого.

Возле окна появилась тетя в белом – медсестра из больницы. Спросила: где мама?

– На дежурстве.

– А когда придет?

– Утром.

– Тогда скажи ей, пусть придет в больницу сразу утром.

Медсестра ушла, а я начала хаотично собираться, разбудила Вову, наказала, чтоб стерег окно и в дом никого не впускал, подхватила сонную Юлю на руки. Юля спросонья захныкала.

– Не плачь, мы идем к маме.

Крепко прижав сестру к себе и еще раз наказав брату не оставлять квартиру и никого не бояться, я быстрым шагом отправилась на вокзал. Пробежала Покровскую, завернула на улицу Вокзальную, запыхавшись, вошла в открытые двери вокзала, вышла на перрон.

На путях чернели составы с углем, где-то шипел паровоз, перекликались перегонщики вагонов, звезды поблекли, утренний ветерок холодил вспотевший лоб, от усталости мелко дрожали руки и ноги.

На привокзальной площади никого, чуть дымилась куча присыпанных песком, неразорвавшихся в свое время снарядов. Рядом в кабине грузовика слышался неторопливый тихий разговор. «Там мама, наша мама», – забилось в висках, страх отступил. Юля вдруг стала легкой. Я постучала в дверь кабины.

– Хто там? – раздался голос мамы.

– Мама, это я с Юлей, открой. Приходила тетя в белом халате, сказала, чтобы ты утром пошла к папе в больницу.

Мама тихо охнула, быстро спустилась на землю, следом спустился Рывкин, мамин начальник. Мама заплакала тихо, а потом навзрыд, безнадежным воющим плачем. Заревела Юля; ничего не понимая, заплакала и я.

– Ну, всэ, Иван Кыриловыч, помер мий чоловик. Я пишла.

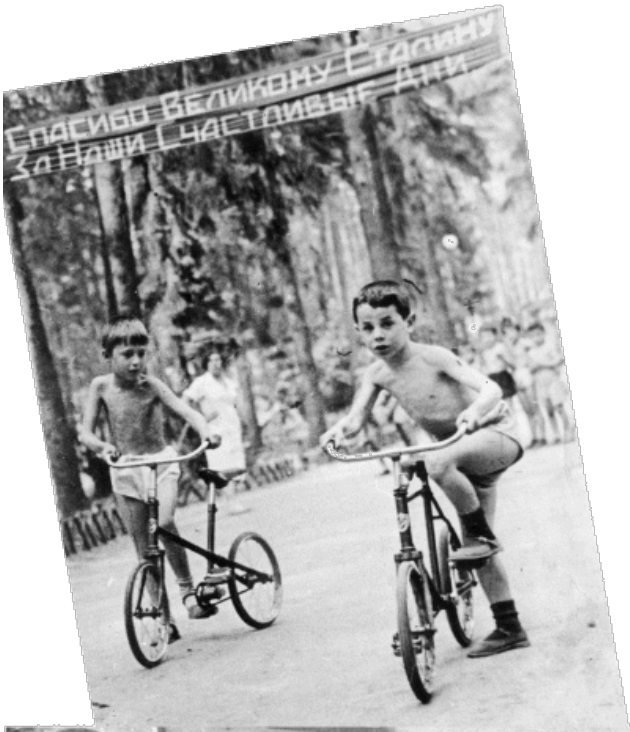
Я бежала следом за быстроидущей мамой, и в душе моей поднималось ликование – вот и у нас будут похороны. А то у всех есть, а я только кукол хороню.

Я не могла понять, почему же мама так плачет – боится, что нам позавидуют, или это что-то другое? Как же она не может понять: у нас похороны, как и у всех соседей, и нам теперь не придется им завидовать. Ну почему она так горько, так безнадежно плачет?

Утром приехали родственники. Мама с тетей Машей, нашей крестной мамой, куда-то ушли, а потом на носилках принесли папу. Положили его в комнате на лайцу (длинную скамью) под окном. Все как положено. Я с гордостью сопровождала своих друзей, соседей, разную уличную малышню в комнату, где лежал на лайце папа. Пусть и они увидят – у нас тоже похороны, как у всех, и папа лежит на лайце под окном, такой добрый, вот только все почему-то плачут, и каждый старается нас прижать к себе, погладить по голов-ке. Сладко замирает сердце от ласки и внимания. Бегу сказать папе, как у нас хорошо, как много гостей.

Поздно вечером, когда отключили свет и в комнате, где лежал папа, горела лишь лампадка, я принесла свои тетради, дневник. Разложила всё возле себя и стала рассказывать папе, как хорошо я учусь, у меня в дневнике одни пятерки, вот когда он вернется после похорон и пойдет в мою школу, ему про меня больше ничего плохого не скажут. Из второй комнаты раздался надрывный плач, вбежала мама, схватила меня за плечи, стала трясти, повторяя:

– Вин нэ прыйдэ, вин бильше нэ прыйдэ, як ты нэ пиймэшь цього, дурна ты дытына, вин помэр, вин геть помэр, и мы осталыся одни.


Спасибо Великому Сталину
За наши счастливые дни

Родному Сталину
новгородцы привет!

Фото «РИА Новости»

Мы везли папу на кладбище. Я сидела на машине, отгоняла мух от его лица зеленой веточкой и со скрытой гордостью сверху посматривала на людей внизу. На улице было непривычно много

людей. Звенели празднично колокола в церкви на нашей улице (сейчас на этом месте расположена городская библиотека). Был Яблочный Спас. Воздух напоен яблоками, медом, улыбками. Это же праздник. Как наши гости не поймут этого, почему мама все время падает и ей дают что-то противное нюхать и колят «болючие» уколы в руку.

На кладбище стоял разноголосый крик, причитания, маленькая Юля (ей было два годика), увидев, что папу забили в ящик и спрятали в яму, страшно закричала и умолкла, уже до четырех лет не произнеся ни слова.

– Онемела, – говорили соседи.

Мама после уколов стала спокойной и безразличной. Наконец-то она поняла, что у нас праздник, а в праздник нельзя кричать и плакать.

В тот год люди не понимали меня, а я их. Я всем хвасталась, что и у нас были похороны. Они уже закончились, и скоро папа будет дома. Он обязательно меня отлупит ремнем, как перед смертью отлупил моего брата за то, что на всю пенсию умудрился купить два мороженых, как наши соседи лупят своих детей и даже сажают их на цепь за ослушание, как моего маленького друга Витю. Я так хотела, чтобы папа меня наказал, что однажды специально отобрала у Галки, своей соседки, мячик и ее маме на предложение вернуть мячик законной хозяйке надавала «дули на четыре кулака». Рассерженная соседка прибежала к нам во двор, вызвала на улицу папу. Он вышел в кальсонах и нижней белой рубахе, высокий, костистый, какой-то очень бледный и тихий. Соседка все кричала ему, что у него растет бандитка и ее мало убить. С замиранием сердца, низко наклонив голову, чтобы папа не увидел моей торжествующей улыбки, дрожа мелкой дрожью, я ждала, что вот-вот папа возьмет ремень и отлупит меня. И я смогу с гордостью показать синяки своему другу Вите и похвастаться, что и меня отец бьет, а значит, очень сильно любит, сильнее, чем брата Вовку. Но папа, выслушав соседку, вернул ей мячик. Когда та ушла, поднял мой подбородок и, участливо глядя в глаза, сказал:

– Ты больше так не делай, это некрасиво, – и ушел в дом.

Я стояла обескураженная: как же так, я все сделала, а он меня не наказал. Со всхлипом вздохнув, побежала искать Витю, чтобы пожаловаться: Вову он наказал, значит любит, а меня не наказал, значит не любит. А теперь он умер, и пока не вернется, я так и буду ходить нелупленная, а значит и нелюбимая.

Только через год я поняла свою первую страшную, самую страшную в моей коротенькой жизни потерю. Никогда, уже никогда не вернется мой папа, не погладит меня по головке, не

назовет своим одуванчиком, своею кицею (кошечкой), никогда, никогда.

Альбина Огородникова-Ястребова
Кладбищенская история

Мой отец был из большой семьи: шесть братьев, две сестры, все жили в нашем городе. Нас, двоюродных братьев и сестер, было восемнадцать. Мой отец был старшим, его младший брат Петя был моложе его на двадцать лет. Поэтому возраст нас, двоюродных, был самый разный. Старшая, Вера, была мне как мать, а самые младшие – ровесники моей дочери. Все мы были очень дружны, особенно близкие по возрасту. Годы были тяжелые – послевоенные, не хватало буквально всего: еды, одежды. Дети были как чайки, всегда голодные, готовые к еде в любое время. Когда приходили к нам в гости мои двоюродные, мама кормила нас всех «чем Бог послал», главное было – побольше хлеба. Качество пищи, вкусовые ощущения не имели значения – все нам было вкусно.

Часто мы навещали наших дядей и тетей. На школьных каникулах мы так и кочевали из дома в дом, ночуя друг у друга и пасясь в огородах. Особенно мы любили бывать у младшей сестры отца, Маруси Соколовской. В то время у нее самой уже было две дочери…

Их дом был на окраине города: с одной стороны березняк, с другой, через улицу, – городское кладбище. Оно было окружено тайнами, страхом, как и все русские погосты. Обычно кладбища бывают на пустырях, на пригорках, какие-то неприютные; наше же, расположенное в лесу, цвело и благоухало – ландыши, саранки, жарки, лилии, колокольчики – синие, крупные; а еще ягоды – земляника, костяника, черемуха, боярка. Нигде больше я не встречала таких кладбищ. Наверное, почва благоприятствовала этому изобилию. Напротив кладбища, через дорогу, лес стоял довольно-таки хилый.

Когда мы приходили к Марусе, то всегда убегали на кладбище. Днем нам было не страшно; с первой похоронной процессией, услышав звуки траурной музыки, мы – уже там. Много слез и причитаний было при похоронах; нас, детей, это захватывало, мы плакали вместе с родственниками покойника. В то время (не знаю, как сейчас) похоронные процессии шли через весь город. Гроб везли на открытой машине, впереди шли по двое люди с венками, за ними несли крышку гроба. Недалеко от кладбищенских ворот гроб брали на плечи три пары мужчин и несли его до могилы. Душераздирающе гремел оркестр, люди рыдали. Когда могилу закапывали, начинались поминки, прямо

тут же вынимали еду, водку. Кутью, блины, стаканчики водки передавали из рук в руки. Нам, ребятишкам, тоже давали по блину, кусок пирога.

После похорон все расходились, но в это время слышались звуки другого оркестра, и мы сломя голову бросались туда. Так мы хоронили иногда троих, четверых. Тут же между могилами рвали ягоды клубники, земляники, несмотря на запрет родителей; собирали красивые цветы и с букетами возвращались к Марусе. Что тут было! Она отбирала эти букеты: «Почему вы такие бестолковые? Нельзя рвать ничего на кладбище!» Мы обещали больше не делать этого. А про то, что мы ели на кладбище ягоды, молчали. Маруся велела нам мыть руки с мылом и садиться за стол. И снова мы были готовы к приему пищи.

Елена Косякина
Такая судьба

Летом 1952 года наш 9 «А» класс пережил настоящую трагедию. Прошло уже столько лет, а забыть те дни невозможно. Сидели за одной партой две девочки-подружки, Марина Шишкина и Рина Самсонова. Обе высокие, симпатичные. Рина была особенно хороша: стройная, с чудесными косами. Я знала, что Марина живет вдвоем с мамой, а у Рины есть еще бабушка и старший брат. В тот год он служил в армии. Жила Рина Самсонова в одной квартире с Юлечкой Маликовой из нашего же класса, и я часто ходила в гости то к одной, то к другой. Вообще класс был очень дружный. В день окончания восьмого класса несколько моих подружек решили собраться у меня вечерком и отметить это событие. Бабушка испекла пироги, мы пили чай, по-моему, даже танцевали под патефон. Потом все пошли на улицу и долго провожали друг друга. «Подумайте, девочки, мы уже девятиклассницы, – сказала вдруг Рина. – Интересно, как сложится у каждого из нас жизнь?» И мы предались мечтам. Рина подарила мне на память деревянную шкатулочку для мулине.

На другой день наша семья уехала на дачу в Кратово. Мы каждый год снимали дачу в Кратово у разных хозяев, потому что любили именно этот уголок Подмосковья. Сосны, песок… Мы все были некрепкого здоровья и после сырой московской комнаты оживали на даче, набирались сил на следующий год. 8 августа мы с братом встречали маму, возвращающуюся с работы. Мама сошла с электрички, и я сразу же по ее лицу поняла: случилось что-то ужасное. «Лена, – сказала мама, – у вас в классе большое горе. Утонула Рина Самсонова. Завтра мы поедем на похороны». У меня подкосились ноги.

Пока шли со станции домой, километра три, мама успела все рассказать. Оказывается, у Рины нашелся отец, то есть он и не терялся, просто в тридцать седьмом году был арестован, как многие. Старший брат Рины его еще помнил, а Рина и не видела ни разу – ведь она родилась в тридцать седьмом году. И вдруг через пятнадцать лет получает Ринина мама весточку от мужа – что жив, живет где-то в Средней Азии на поселении. В Москву приехать ему нельзя, но разрешили свидание с семьей там, у него. Трудно описать счастье Самсоновых. Брат не мог поехать к отцу, так как служил в армии, а Рина с мамой все лето оформляли документы и в середине августа должны были поехать на свидание с отцом. Уже и билеты купили. И тут 7 августа

пришли к ним Марина Шишкина с мамой и уговорили Рину поехать с ними на три дня на дачу, которую Шишкины сняли на берегу реки где-то у санатория «Мцыри».

В тот год стояла сильная жара, Рина все лето провела в городе. Поэтому мама с бабушкой скрепя сердце и отпустили Рину на дачу. День действительно выдался очень жарким, поэтому прямо с электрички они побежали на пляж, и девочки тут же бросились в реку. «Никогда нельзя делать этого, – говорила мне мама. – Прежде чем окунуться в холодную воду, им надо было на пляже полежать, от дороги отдохнуть. А они, потные, разгоряченные, бултых в воду». У Рины случился разрыв легкого. Это уже потом, на вскрытии, врачи определили. Она умерла сразу и стала тонуть. Марина увидела это, схватила подружку, пытаясь вытащить ее из воды, да Рина предсмертным движением, как тисками, сжала Марину, и они обе пошли на дно. С криком бросилась к ним Маринина мама, но и ее девочки утащили на дно. В этот день пляж был полон отдыхающих из санатория «Мцыри». Всех троих быстро вытащили. Маму Марины и саму девочку откачали. А Рина умерла. Вот какая оказалась ее судьба! И в девятом классе не успела поучиться, а так этому радовалась, и отца так и не увидела, а он ее.

Не могу забыть эти похороны 9 августа 1952 года. Никогда не забуду мертвое лицо Рины, убитых горем ее бабушку, маму и брата, которого отпустили из армии на похороны сестры. Не забуду трагических фигур несчастных Шишкиных, Марину и ее маму. Помню, меня поразила тогда тонкая седая прядь в Марининых волосах. Грустно было нам, ученицам девятого класса «А», первого сентября 1952 года.

Алексей Крестьянинов
Умру и я?

Трудно сказать, наблюдал ли я из окна за отцом, бредущим со станции, в тот памятный мартовский день 1953 года. Скорее всего, нет, и он вошел в дом неожиданно. Может, еще и поэтому все произошедшее потом произвело на меня столь жуткое впечатление…

Знал ли я до этого что-нибудь о смерти? Нет, поставим вопрос по-другому: знал ли я, четырех с небольшим лет от роду, что человек смертен? Сейчас мне трудно припомнить, до того дня или после мне стала известна эта печальная истина: все люди рано или поздно умирают. Но хорошо помню, сообщила о ней мне моя мама. Как сейчас вижу нашу единственную комнатку, старый скрипучий квадратный стол с точеными ножками, стоящий посередине, себя, взгромоздившегося на него, и маму, которая гладит на этом столе белье. За отсутствием других развлечений я наблюдаю за утюгом, как он, шипя и образуя облачки пара, повинуясь материнским рукам, разглаживает полотенца, рубашки, штаны, носовые платки. Наверное, мы беседовали о чем-то интересном, но память не сохранила ничего, кроме поразившего меня откровения: все люди, живущие на земле, в конце концов умирают! Оказывается, когда-то умру и я! Это было столь неожиданно, страшно и несправедливо, что я даже расплакался. Скорее всего, мама пожалела о сказанном и как смогла постаралась исправить свою оплошность. Прекрасно помню, что она завела речь о каком-то чудодейственном порошке, который я изобрету, когда вырасту. И все люди на земле будут мне благодарны, ибо это будет порошок бессмертия. Ну, и далее в том же роде. Такое предполагаемое развитие событий меня несколько успокоило.

…Итак, дверь отворилась, и вошел мой папа. Не раздеваясь, как был в своей неизменной шинели, он бросился на нашу железную койку и зарыдал. Я видел, как сотрясались его плечи, слышал его глухие всхлипы и не мог от ужаса проронить ни слова. Я видел, как плачут люди, например, моя сестра Лида или мой лучший друг Вася Ильиных, когда его бьет старший брат Сергей или треплет за уши за какую-то очередную провинность отец, Терентий Львович. Частенько приходилось плакать и мне самому – я рос обидчивым ребенком и слезы порой являлись единственным способом продемонстрировать свои обиды. Наконец, я видел, как тихо плакала по какому-то поводу мама,

вытирая пальцами слезы, стараясь, чтобы их не заметили мы с сестрой. Но чтобы рыдал отец! Это было выше моих слабых сил, и вынести этого я не мог. Я стоял в оцепенении и с ужасом смотрел на отца. Он сумел взять себя в руки, поднялся и, сгорбившись на кровати, произнес незнакомым голосом: «Умер Сталин». Таким я запомнил этот день на всю оставшуюся жизнь.

Мой отец, конечно же, не был сталинистом. Думаю, как и все окружающие нас в те годы люди, он вообще мало размышлял о политике. Заботы были иные: как прокормить семью, как построить новый дом, как выдержать очередную переэкзаменовку на право вождения электровоза, и так далее. Но он никогда не был и серым, задавленным трудностями быта человеком. Не зря ведь его считали в нашем поселке интеллигентом. И не только потому, что отец принадлежал к рабочей аристократии, которой всегда являлись машинисты локомотивов…

Вера Верхогляд-Троянова
Сталин расстроился… и умер

Раннее утро. Еще темно. Слушаем по радио сообщение о смерти Сталина. Я начинаю горько рыдать и все повторяю: «Как же мы будем жить без него?» Вся жизнь наша была пронизана любовью к Сталину. Учебники, художественные книги, радио – везде говорилось о том, какой он великий, какой хороший.

Иду в школу. Многие плачут на улицах и в школе тоже. Уроки проходят кое-как. Затем нас собирают в актовом зале на линейку. Выстроены все классы. Перед нами стоят директор, завуч и старшая пионервожатая. Старшая вожатая пытается открыть линейку, начинает говорить и не может, рыдает в голос. Затем пытается говорить завуч, но голос ее срывается, и она замолкает, давясь слезами. Наконец директор школы со слезами на глазах измененным от напряжения голосом говорит краткую речь.

Вся эта сцена действует на девочек. Почти все плачут. Плачут, хотя у многих из них (как я позже узнала) родители были репрессированы. Я тоже плачу, хотя росла без отца, так как мой отец тоже репрессирован. Но об этом не принято было говорить. В нашей семье мама не говорила мне много об отце и тем более не связывала его судьбу со Сталиным.

Я так верила в Сталина и любила его, что когда позже стало известно о преступлениях Берии, то я решила, что Сталин, наверное, узнал о делах Берии и так расстроился, что умер из-за этого.

Антонина Кухтина
«Да лучше б наш сережка умер!»

Это была довольно своеобразная семья. Отец семейства работал в железнодорожном депо и получал по меркам того времени совсем неплохо. В день, когда он приносил получку или аванс, все члены семейства сначала с нетерпением ждали, выглядывали, когда же он придет и принесет деньги, потом жена Лина торжественно раздавала долги и… бежала в магазин, без разбору покупая все, что под руку подвернется, и обязательно (!) спиртное. Ну а потом начиналась гулянка и бесконечно повторяемое: «Ой, мороз, мороз, не морозь меня…» Заканчивалось это бесшабашное веселье почти всегда одинаково. Отец начинал гонять жену и детей, жена громко голосила и пряталась по соседям с детьми. Пьяный хозяин хватал что под руку попадется и бегал, угрожая всем и вся. Шум, гам, крики…

Как ни странно, ни жена, ни соседи никогда не вызывали милицию. Жена всегда защищала мужа, который потом полмесяца был тише воды, ниже травы, объясняла такое буйство тем, что мужа контузило на войне и ему совсем нельзя пить. А потом ждали следующей зарплаты или аванса, занимая везде, где можно, и… все повторялось сначала.

Старшая девочка, Люда, воспитывалась в деревне у бабушки, так как являлась падчерицей дяди Миши. В город она приезжала один раз и очень удивила соседских детей тем, что своих дедушку и бабушку называла только мамашкой и папашкой, а родную мать – тетей Линой.

После Люды шла Надя, потом в начале года родилась Зоя, но родители очень уж хотели сына, и в конце этого же года родился Сергей. Вот уж где был праздник, о котором потом много лет вспоминала вся улица! Счастливый папаша не поскупился!

Однажды, когда Сергею было месяцев десять (не в день аванса и получки!), соседи вдруг услышали громкие крики и плач с их двора. Лина, растрепанная, опухшая от слез, голосила, как по мертвому, истерически выкрикивая что-то. Перепуганные ребятишки громким ревом поддерживали ее, Михаил тоже размазывал по щекам слезы и что-то бубнил себе под нос.

Насилу люди поняли, что голосила она по… Сталину. «Ой, как же мы теперь без тебя жить-то будем, отец наш родной!..» – и все в том же духе. О смерти Сталина уже сообщили по радио, но хорошо помню, что другие соседи и окружающие отнеслись к этому очень сдержанно. Люди, конечно, были обеспокоены, но

предпочитали молчать и ждать. И вдруг такая бурная реакция! Но больше всего поразило людей то, что она вдруг стала кричать: «Да лучше бы наш Сережка умер, чем ты!» И муж, весь в слезах, тоже поддакивал ей. Вот тут уж никто не стал им сочувствовать, и, видимо, поняв это, убитые горем папаша и мамаша ушли рыдать в дом.

Лет через десять Михаил окончательно спился, а сын их вырос, женился и однажды… погиб в пьяной драке.

Ольга Наумова
А Берия все же шпион!

1953 год. Болезнь и смерть Сталина. Давались подробные отчеты о его самочувствии, потом о похоронах. И вот мне попалась на глаза фотография Берии у гроба вождя. Очень-очень мне не понравилось выражение бериевского лица. Показалось даже, что он тайно ухмыляется. «Шпион!» – догадалась я и побежала к родителям рассказать об открытии. Однако родителям моя догадка совсем не понравилась. Они стали меня разубеждать, а я все стояла на своем. Они мне пригрозили (не подействовало), а потом доверительно попросили никому и никогда об этом не говорить. Я слово сдержала, но уверенность от этого не проходила, и только было странно, что такого очевидного факта никто не видит. И вдруг летом, на даче, когда я была на прогулке, меня, запыхавшись, догнала мама: «Ты знаешь, только что по радио объявили: Берия – шпион!»

Борис Наумов
«Дети! Сталин – враг народа!»

Школа… Она и сейчас на улице Журова. Деревянная, скрипучая, милая. Знакомая по сучкам на дереве чердака. Знакомая запахом чего-то казенного и человеческого, нечистого. Двухэтажное здание. Туалет – засыпанные хлоркой длинные доски с отверстиями «очков». Это место было клубом детей. Здесь мы соревновались, кто выше сикнет, здесь дрались, курили, здесь показывали запретное.

Наша правильная первая учительница Анастасия Матвеевна, с пучком на затылке, с портфелем…

И вдруг!!! Она вошла в класс и сказала: «Дети! Сталин – враг народа!»

Конечно, все мы знали товарища Сталина. Я мечтал о трехколесном велосипеде, но родители не могли купить (а может, не считали нужным это сделать). Помню снижение цен в апреле, и я, ребенок, чувствовал: вот! вот! Еще немного, и у меня будет велосипед! И за этим, я знал, стоит товарищ Сталин!

Когда учительница сказала про врага и добавила что-то (не помню что), я (и не я один) открыл «Родную речь», где был потрет Сталина анфас – такой красивый, в мундире, с орденом Победы и Звездой Героя.

Конечно, мы любили дедушку Ленина, но это был дедушка такой, ну, просто хотелось сесть на колени. Пусть поругает, но это же дедушка…

Товарищ Сталин для меня, для ребенка, для всех (я это видел) больше, чем папа, больше, чем дядя Степа… Это – Товарищ Сталин!

Тем не менее, открыв страницу, я начал методически тыкать пером в портрет, стараясь попасть в глаза вождю. Может быть, я идиот? Нет (подтверждаю), все делали подобное. Кто-то обливал чернилами из «непроливашки», кто-то рвал книгу…

Звонок. Перемена. Как всегда, все в коридор – бегать. Но в этот раз все бегали в сторону метрового бюста. Бюст находился в конце коридора, и когда проводились линейки, то около него стояла старшая пионервожатая и пионеры (я еще им не был), отдавали ей и бюсту «салют», то есть это место было святое.

Кто-то плюнул первый, и мы, бегая, походя, тоже плевали.

Со мной учился Шурик Боков. Его брат (старше года на два) пошел дальше. Он стащил бюст в туалет, отбил голову и вставил ее в «очко». Голова не проходила, и так как она была пустая

внутри, то видно было, как в моче плавали фекалии. Каждый ребенок безо всякого зла считал, что надо сикнуть.

Я явился домой и радостно (откуда радость – не знаю) сообщил отцу, что Сталин – враг народа!

Отец переменился в лице. Гнев, неприятие, страх (дедушка был репрессирован) – я не могу точно сказать, что двигало им. Он отобрал и спрятал «Родную речь» и запретил мне говорить.

Интересно, что отец был учителем по труду в этой же школе, и как до учителей доводились директивы партии – непонятно.

Это был урок любви к «отеческим гробам». Жестокий урок со стороны взрослых, но так переписывалась страшная история.

Зинаида Вайнштейн
Записать на шестое!

В феврале пятьдесят третьего года мы с бабушкой поехали к маме и папе в Караганду, потому что должен был родиться мой брат. Мы ехали медленным поездом пять суток, денег на быстрый поезд не было. Я просилась на верхнюю полку, но бабушка не пускала, боялась, что упаду. В этом поезде я впервые сама прочла книжку, сборник «Персидские сказки». Хорошо помню: зеленая тисненая обложка, большая толстая книжка, ее было неудобно держать, я ее пристраивала то на стол, то на полку. Одна сказка была про девушку по имени Фатима – она колдовала на куколке и говорила: «Куколка-куколка, помоги мне вернуть жениха». Книжку я забыла в поезде и никогда ее больше не видела.

Мама должна была родить в конце марта, но пятого марта умер Сталин, и родители пошли на демонстрацию. Была давка, как папа ни охранял маму, в толпе ее все же прижали, начались схватки, ее отвезли в больницу. Мой брат родился пятого марта в полдвенадцатого ночи. Я помню, как бабушка плакала и кричала моему отцу Зиновию:

– Зюнечка, родненький, попроси врачей, чтобы записали шестого, у ребенка же всю жизнь не будет дня рождения! Кормилец умер, нам же кусок в горло не полезет в этот день!

Я не знаю, как папа сумел уговорить врачей, но день рождения моего брата по бумагам шестого марта. Теперь уже можно праздновать по-настоящему, на день раньше, но мы привыкли за шестьдесят лет.

Биографии в письмах

Когда был задуман этот сборник, решено было поставить некоторые ограничительные условия: нас интересуют воспоминания, связанные с первым послевоенным десятилетием, точнее, с 1945 года по 1953-й, размер текста не должен превышать пяти страниц, срок окончания приема писем – 1 октября 2012 года.

Надо признаться, что ни одно из этих условий не было выполнено, причем с обеих сторон – и со стороны издательства, и со стороны наших корреспондентов, – люди присылали не только пятистраничные воспоминания, но целые книги, самиздатского вида и даже типографские; некоторые начинали свои воспоминания с начала XX века, что тоже никак не укладывалось в заданные рамки; наконец, уже после окончания срока конкурса приходило множество писем, и мы их тоже рассматривали…

Наконец задача наша была выполнена, сборник составлен, и тогда мы отобрали несколько больших биографических воспоминаний, чтобы их тоже представить читателям. Можно рассматривать эту часть книги как приложение. В сущности, эти биографические записки представляют собой образцы разговора с потомками – лучший способ передать детям память и опыт их родителей и более далеких предков.

Каринэ Геворкян
Мальчики Победы

Несмотря на мое имя, Геворкян Каринэ Гургеновна, я москвичка в третьем поколении, считаю себя коренной. Всю жизнь живу на Старой Басманной улице, в Басманной слободе! Мне очень нравится это название, я очень люблю это место. В двух шагах Разгуляй, рукой подать до Лефортово, Покровки, Сыромятников, совсем рядом Сокольники и Чистые пруды.

Семья моего отца въехала в две комнаты коммунальной квартиры в 1935 году. Когда я собралась приватизировать квартиру, которая уже давно вся стала нашей, понадобилось поднять архивы. Кто только не прошел через нее! Все, кто был реабилитирован в пятидесятые и сумел вернуться в Москву. Здесь сидел в 1938 году практически под домашним арестом и ждал, когда за ним придут, мой красавец-дядька Николай Геворкян. Молодым не понять, зачем они возвращались из загранпоездок и сидели ждали, когда за ними придут. А ведь в заложниках была вся семья – старики родители, братишка (мой отец – подросток), племянник, у которого родители уже попали в тот молох, и улыбка навсегда пропала с лица мальчика. Отсюда Николай ушел в никуда, шагнул в вечность. Осталась только память о нем да общая символическая могила № 1 на Донском кладбище с прахом репрессированных. Коля был намного старше младшего братишки, моего отца, который был ровесником с племянником, Володей Осепяном. Характеры у нас были совершенно разные: печальный молчаливый Вова и веселый неугомонный сорванец Генька – так звали моего отца дома (на самом деле Геворкян Гурген Татевосович, или Геннадий Фадеевич в неофициальном обращении) и во дворе.

А двор был замечательный! Я его застала почти таким же, каким он был до войны. Многокорпусной, с новыми домами, а рядом – бараки, сараи, голубятни, после войны – гаражи. Каждый мало-мальски уважающий себя парниша должен был иметь голубей. До войны особенно. Надо сказать, что все почтари были на учете на Лубянке! Не в местном отделении милиции, а именно там. И хозяин лично приносил и регистрировал свое сокровище и отвечал за него по всей строгости закона. Папа оставил мне записки о своем детстве и там об этом написал, так что это не мои глупые фантазии. В то время двор ходил на двор, и чтобы войти в доверие к соседям, надо было очень постараться и зарекомендовать себя.

Удивительным был уклад в доме. Каждый имел дело, за которое отвечал перед семьей. Один отвечал за керосин и мусор, другой – за хлеб и аптеку. И никто никогда не напоминал ребятам о том, что что-то не сделано. Сами мальчишки проверяли состояние порученных им обязанностей.

А как они учились, сколько всего знали, как много читали, какими грамотными аналитиками были! Так с начала войны мальчишки следили за продвижением врага, отмечая флажками захваченные города. И как разбирались в настоящем моменте. На стене в нашем доме висела карта, и папа на ходу мог между прочим задать вопрос по географии. И попробуй не ответить! Три наряда вне очереди!

Я счастлива, что моим детям досталось – одному больше, другому, к сожалению, поменьше – внимания деда. Был такой случай со старшим сыном. Он учился во втором или третьем классе. В воскресенье, перед сном, когда родители пришли на вечерний прощальный поцелуй (самым большим и горьким наказанием было лишение этого ритуала), сын вдруг вспомнил, что на завтра по природоведению был задан рассказ о реках Сибири. Конечно, и я и муж завопили, что, мол, какие сейчас могут быть реки Сибири? Пойдешь завтра за заслуженной двойкой! Но дед сказал: «Спокойно. Сейчас мы быстренько все сделаем». А ведь тогда Интернета не было, но в нашем доме всегда были книги! Быстренько прочитали одну энциклопедию, заглянули в справочник, что-то начирикали, посмотрели на карту в географическом атласе, настольной книге деда, утром встали на полчаса раньше – днем принесли заслуженную (дедом!) пятерку. Наш сын оказался единственным, кто выполнил домашнее задание. А если бы не наш Геннадий Фадеевич, был бы такой же, как все, обормот.

Но это было потом, совсем потом! Была еще страшная война, на которую с Чистых прудов, от кинотеатра «Колизей» (теперь это театр «Современник»), ушли в 1942 году на фронт наши мальчики, приписав себе года. И Вовка (он был чуть старше) и Генька (он ну никак не мог отстать от брата). И был еще третий мальчик, Карэн, который удрал вслед за ними. Вернулся с войны только мой отец. Вовка умер в госпитале во Владикавказе и был похоронен в общей солдатской могиле. Место это мы не знаем. Карэн пропал без вести после первого же боя. У меня хранятся его треугольнички, двадцать пять наивных мальчишеских писем. Почему не сохранились другие? Вовкины? Генькины? Не знаю.

И во всех этих треугольничках – абсолютная вера в грядущую Победу, непременную, обязательную, неизбежную.

Отец прошел войну до победного конца! Был танкистом,

механиком-водителем Т-34. Закончил войну в Германии, в небольшом немецком городке. Попал в концертную бригаду, думаю, армейской самодеятельности: пел, танцевал. И неизвестно, как бы сложилась его дальнейшая судьба, но в 1947 году соседка по квартире прислала телеграмму о смерти отца. Его мама оставалась одна. Уже пожилая, неграмотная армянка. И сын, конечно, ни минуты не размышляя, сделал все, чтобы вернуться домой.

Это документ, выданный моему отцу где-то на станции пересадки. Комментарии не нужны.

И вот папа вернулся на гражданку. Пошел работать на завод, вскоре женился, родились дети – дочери. Меня, первую, назвали в честь пропавшего Карэна. Ведь это имя носят и мальчики, и девочки. Потом родилась сестра – Лена. А Володи у нас так и не случилось. Но так зовут моего двоюродного брата, и я очень верю, что он назван в честь нашего погибшего Вовочки.

В память о братьях отец сделал военный уголок. Так как семейный архив хранится у меня, то и этот уголок – в одной из комнат нашего дома, того самого, из которого уходили на фронт ребята. И тема войны в нашем доме святая. Навечно. Навсегда.

Ольга Рыженкова
Мозаика

Моей бабушке Вале в этом году исполнилось шестьдесят шесть лет. Она родилась через год после победы, 31 мая 1946 года, в глубокой провинции – селе Погромец Волоконовского района Белгородской области. В памяти маленькой Вали сохранились низенькие домики, некоторые – крытые соломой, с земляным полом. Здесь родился и вырос ее отец, мой прадед Алексей Игнатьевич.

Маму ее, мою прабабушку Александру Александровну, сельская жизнь не радовала. До этого она жила в городе Новозыбкове, что на Брянщине, всю войну работала операционной сестрой в эвакогоспитале под Курском. Там и познакомилась с раненым Алексеем, которому ампутировали ногу. Но это не испугало Шурочку, они поженились и сразу после 9 Мая и уехали на родину мужа. Там и поселились в доме родителей Алексея вместе с его сестрой и ее семьей. У Шуры не было альтернативы – на ее дом в Новозыбкове упала бомба, мать и отец умерли еще до войны.

В доме Алексея и его родни было тесно, не очень чисто и небогато. Малышка Валечка сначала качалась в люльке, подвешенной под потолком, а потом дед Игнат сколотил ей кроватку. Мама Шура очень скоро после родов пошла на работу, тогда ведь декретный отпуск длился всего три месяца. Дипломированных медработников в селе не хватало, и Шуру сразу пригласили работать фельдшером в участковой больнице. Уходила на работу мама на целый день, а Валя оставалась с бабой Марией. У Шуры быстро пропало молоко, кормить ребенка пришлось коровьим, но часто и его не хватало. Однажды в крынку с молоком, что стояла в печке, упала мышь, и вся еда Вали была испорчена. Баба Мария разжевывала хлеб, заворачивала его в марлю и эту тряпицу давала Вале вместо соски. Мама Шура была в ужасе от такой антисанитарии, но выхода не было – приглядывать за малышкой больше было некому.

Валечка подрастала и, к счастью, даже почти не болела в отличие от Тани, двоюродной сестренки, дочери тети Светы. У Татьяны вечно соплюхи под носом были. Но что было взять с матери-доярки, которая целыми днями пропадала на ферме. За Валечкой мама Шура смотрела в оба. Одевала ее покрасивее – воротнички, шапочки крючком вязала, вышивала платьица.

Маленькой Вале в Погромце жилось весело: баба Мария пела

потешки, дед Игнат тоже не оставлял без внимания, мама Шура читала ей книжки. А зимой было совсем здорово – в сильные холода в дом приносили маленьких козлят, и они скакали по всей комнате, запрыгивали на лежанку. Валечка прыгала вме-сте с ними.

Вале исполнилось три года. Ее отец Алексей трудился в сельской избе-читальне, и хотя должного образования у него не было, он справлялся с обязанностями библиотекаря. Но учиться дальше не хотел. И вот в Погромец приехала молодая библиотекарша, с образованием. Алексея попросили уволиться. А куда инвалиду деваться в селе? Где устроиться? И мама Шура принимает судьбоносное решение – нужно уезжать из этого медвежьего угла. И семья отбывает на родную для Шуры Брянщину.

И вот они уже в селе Митьковка. Шура несказанно рада – ведь здесь живет ее родная сестра Муся. Муся работает учителем русского языка и литературы в школе, на селе ее очень уважают. Шура без дела тоже долго не сидит – устраивается работать в детский дом медсестрой, а Алексей там же – воспитателем. Семье дают дом от сельсовета.

Митьковка живет тоже небогато – только в сорок третьем избавились от оккупантов. Поэтому Шура и Алексей считаются обеспеченной семьей – они привезли с собой из Погромца чугунки с топленым бараньим жиром, козьи шкуры и серебряные ложки – фамильные раритеты Шуры, которые она умудрилась сохранить во время войны. Чайных ложек было шесть, а одна – столовая – с гравировкой. (Эта ложка цела и поныне, перешла по наследству ко мне. Она вся съедена, но гравировка до сих пор не стерлась.) Одна чайная ложка упала между половицами в доме, там и осталась…

Валечке в Митьковке очень понравилось. Баловали ее тетя Муся и старшие братья Юра и Женя – почти на десять лет старше Вали. Тетя Муся воспитывала их одна, поэтому каждая копейка в семье была на счету. Валя на всю жизнь запомнила такой случай: Жене купили в городе новые кожаные ботинки, он относил их буквально неделю, а потом после школы пошел с друзьями на речку и, чтобы не испортить обновку, снял ботинки и спрятал под мостом. Их украли. Валю поразило, как всегда спокойная и рассудительная тетя впала в ярость, ругалась на Женю, отлупила его ремнем, а потом долго плакала…

У Шуры и Алексея лишних денег тоже не было. Самым большим лакомством для Вали была горбушка хлеба с маслом и сахаром. Но такое бывало лишь по праздникам. Сахарницу хранили в буфете под замком. А хлеб в Митьковке славился на

всю округу – в селе была своя пекарня. Покупать хлеб иногда доверяли Вале, и пока она шла с буханкой домой, потихоньку отщипывала ароматную корочку. Домой хлеб прибывал обглоданный с обеих сторон. А еще было здорово ходить с бидончиком за молоком к соседке – она была доброй женщиной и наливала бидончик под завязку. Валечка всегда отпивала эту добавку – молоко было жирное, с пенкой, самое вкусное. Словом, детство было замечательным! И хотя игрушек было мало, находили другие развлечения – прятки, догонялки, классики. Бабушка Валя сохранила до сих пор куклу, маленького пупса из какого-то интересного материала, похожего на пластик, которую ей привез брат Юра, когда поехал учиться. Сейчас эта кукла наполовину облезла и стала зеленого цвета.

По вечерам женщины собирались у кого-нибудь в доме и занимались рукоделием. Валя уже в пять лет научилась вышивать крестиком и гладью. У нас дома лежат вышитые и связанные крючком изделия. И чего только среди них нет – салфетки, газетницы, покрывала, абажуры!

А еще в Митьковке у Вали появилось много друзей, с которыми она общается и поныне. Среди этих друзей был и Женя Мацуев, которого Валя, если была с ним в ссоре, дразнила «Мацуй-потанцуй!» Она, конечно же, не знала, что через двадцать лет этот мальчик станет ее мужем, моим дедушкой…

Но в Митьковке семья прожила недолго – Шуру пригласили работать в районную больницу, и они в 1955-м перебрались в районный центр Климово. Тут квартиру предоставили не сразу. До начала шестидесятых Шура, Валя и Алексей жили на квартире у хозяйки. Можно сказать, что не жили, а ютились, так как сдавала хозяйка лишь одну комнату. А в другой обитала сама с мужем и сыном. Но жили очень дружно, одной семьей, надолго сохранив добрые отношения. Ни о каких скандалах и ссорах не было и речи – всегда помогали друг другу, выручали. Хозяйка, тетя Сима, держала коз и поила худенькую Валю козьим молоком, отказавшись от какой-либо платы за это.

На климовском рынке Шура купила швейную машинку Zinger и стала обшивать всю семью. Валю к машинке не подпускали. Но, пока мама Шура была на работе, Валя тайком доставала машинку, заправляла и шила куклам обновки. Шура узнала, собралась ругаться, но, увидев творения Вали, передумала и похвалила – у Вали открылся маленький талант портнихи. С тех пор Валя шила уже не только себе, но и другим помогала. Даже костюмы снежинок подружкам шила из марли. А себе как-то на Новый год смастерила костюм сказочницы – на старое мамино платье нашила открытки с иллюстрациями к разным сказкам и

получила главный приз.

В Климове Валя пошла в третий класс. Школьной формы вначале не было, появилась она уже позже, ходили в чем придется. Обуты были в валенки и войлочные ботики. Лучше всего были одеты дети военных – и форменные платья у них были, и кожаные сапоги или ботинки, и атласные ленточки у девчонок. Но никто не пытался выделиться этим, зависти, как сейчас, у детей не было. Да и учителя бедно одевались. Ходили в одном и том же костюме, даже заплатки были на локтях. Не на что было покупать, да и особо негде. На рынке торговали только продуктами – колхозники привозили. И даже сливочное масло продавали не в бумажных упаковках, а в капустных листьях.

Училась Валя неплохо, была общественницей. Однажды ей поручили даже приветствовать на 1 Мая районное начальство от имени пионерской организации школы. Бабушка вспоминала, как шли колонны демонстрантов, а она, гордая, стояла на трибуне. Еще хорошо помнится ей, как весело люди в то время отмечали все праздники – гуляньями, танцами, песнями. Никто дома не сидел – все шли на улицу, в гости друг к другу.

А в 1956-м Вале посчастливилось побывать на главной Ёлке в Доме Советов. У нее и по сей день хранится приглашение на это торжество. Больше всего поразило Валю то, как на сцене в конце представления оказался огромный орех, который раскрылся, и из него выпрыгнул мальчик в костюме Нового года. Это было замечательно!

Школьницей Валя посещала кружки в Доме пионеров – кройки и шитья, танцевальный. На лето от школы всем ученикам давалось задание – вырастить кролика. Валя с подружкой Ларисой три месяца растили серого и белого кроляшек, а потом навзрыд плакали, когда пришлось сдавать зверюшек государству…

А в это время в Митьковке рос будущий Валин муж – Женя. Он был сыном школьного учителя истории Александра Васильевича, о судьбе которого можно написать книгу. Стоит только упомянуть, что был он ученый-энтузиаст и бессребреник. Инвалид, без левой руки, организовал при сельской школе археологический кружок и нашел на территории села уникальные старообрядческие серебряники, которые безвозмездно передал Историческому музею в Москве.

Женя родился в войну, в 1943-м, когда Митьковка была оккупирована. Повезло жителям лишь в том, что стояли в селе не немцы, а итальянцы, которые сами были насильно вовлечены в войну, поэтому относились к селянам более-менее лояльно, даже помогали в сельхозработах. Так вот, при рождении Жени

присутствовал доктор-итальянец. А вот отца дома не было – воевал он в ту пору на Украине. И вернулся после демобилизации лишь в 1944-м.

Дедушки Жени уже девять лет нет в живых. Но он успел рассказать о своем детстве и моей маме, и мне. Вот что мы запомнили.

– Нас, детей, в семье было двое – я и старшая сестра Ася, которая таскала меня всюду за собой «на погоршках». За это и не очень любила поначалу – я был пухлым, тяжелым и мешал своим ревом ей играть с подружками. А выхода не было – мать трудилась целый день в колхозе (не за зарплату, а за трудодни), отец – в школе, а бабка – в огороде. Вот и получается, что вынянчила меня старшая сестра. Поэтому я дочку назвал в честь сестры…

Я был ужасно дотошным в детстве. До всего было мне дело. В селе в то время была мода – все подушки (символ достатка в семье) укладывать на кровать, а уголки заправлять вовнутрь. Вот я и решил «помочь» маме и бабке – зачем каждый день заправлять эти уголки – можно ведь вообще подушку без уголков сделать. Я взял ножницы и обрезал во всех подушках уголки. Пух и перья летали по всей комнате. А я сидел среди них очень довольный – помощник!

Годы были голодные, а организм растущий. Покушать я любил. Бабушка и мама растили весь год свинью. Забивали обычно ее к Пасхе (хоть и не праздновали этот праздник, но постились тайком и к нему готовились). И в чулане к Пасхе появлялись кольца колбасы, привязанные к потолку. Приправленные чесноком, пахли они на весь дом. И вот однажды я не выдержал – стащил одно колбасное кольцо и побежал к другу Вовке. Мы спрятались в кустах за огородом и стали лопать, именно лопать колбасу. А она большая, жирная, а хлеба мы не догадались взять. После пяти-шести кусков поняли, что больше не съедим. А куда девать остатки? Словом, в тот день праздник живота был и у дворового Дружка, который прибежал на запах. Потом весь вечер меня тошнило, и животом я промаялся еще день. Бабка и мать жалели, лечили, но когда обнаружили пропажу, всыпали хорошенько. Я потом долго на колбасу смотреть не мог…

Отец был учителем, поэтому у него был паспорт, в отличие от колхозников, которые этого паспорта не имели. Он мог поехать в другой город и что-нибудь оттуда привезти. И вот как-то привез нам с сестрой тетрадки, на которых сзади был нарисован странный жук – полосатый – и было написано, что этого жука обязательно нужно уничтожать. (Эти тетрадки, кстати, потом

мама нашла у бабушки в чулане.) Мы такого жука никогда не видели и очень удивились, а отец объяснил, что это колорадский жук, который поедает картошку. Вскоре мы нашли на огороде такого жука, запихнули его в коробку и носили – всем показывали. А чуть позже не знали, как от него избавиться – заполонил он все огороды. Отец сказал, что это была американская диверсия…

В то время письменные принадлежности были на вес золота. Особенно карандаши, тем более цветные. Писали чернильными ручками, носили с собой в портфеле чернильницу-непроливайку. Поэтому и почерк у большинства детей и взрослых в то время был хорошим. Красным карандашом отец проверял тетради. Однажды мы с сестрой взяли тайком у него этот карандаш порисовать и сломали. Отец нам так всыпал за это! Ведь проверять тетради было больше нечем!

Когда перешли в среднюю школу, то каждый год сдавали экзамены. Если ученик их не сдавал, то мог остаться на второй год. Это был позор. Я учился хорошо, но отличником не был. А отец, будучи учителем, конечно, хотел, чтобы я все экзамены сдал на пятерки. Поэтому заставлял корпеть над книгами. А ведь почти лето на дворе! И вот в конце седьмого класса эти экзамены отменили! У всех было столько радости! Я свои тетрадки разбросал по всему огороду. Правда, потом отец заставил их собрать. Но это было уже неважно…

…Может быть, многим покажутся неинтересными, но мне кажется, они, все эти мелочи, подробности из детства моих родных, составляют мозаику жизни нашей страны. Я уверена, что дети сороковых-пятидесятых годов прошлого века были счастливыми, несмотря на недостаток многого. Но хватало вполне и того, что было – чистоты помыслов, уверенности в завтрашнем дне, любви и уважения к своей стране, победившей фашизм. И как знать, кому можно позавидовать – нам, детям информационных технологий XXI века, или им, нашим бабушкам и дедушкам, не знавшим телефонов и телевизоров, но имевшим гораздо большее, что мы и наши родители так быстро утратили…

Валентина Лис
Семейная география

Все еще шла война. Уже не на нашей земле. Бои «нависли на ордере» – так я произносила последние известия, но мамочка поправляла: «На Одере». А я упрямо говорила «на ордере», потому что слова «ордер» и «орднунг» стали такими привычными и понятными за два с половиной года оккупации Симферополя. (Кстати, я никогда не понимала в бабушкиной песне про ямщика, что такое «дарвалдая», пока своими глазами не увидела строчку: «…и колокольчик, дар Валдая, звенел уныло под дугой».)

Крым освободили в апреле сорок четвертого. Летом пришло первое письмо от папы. Содержания письма дословно не помню, так как еще не умела читать и писать «по-взрослому», а только печатными буквами. Но письмо папочки состояло сплошь из вопросов: живы? где? кто? (кто у нас родился в феврале сорок второго года?). И главный вопрос: ждем ли? На отдельном листке в клеточку из записной «довоенной» книжки четким папиным почерком было написано стихотворение К. Симонова «Жди меня». (Записные книжки папы и мамы хранит наша младшая сестра, родившаяся в 1946 году, – Верочка, которой довелось досматривать наших родителей.) По стихам, песням, афоризмам из записных книжек родителей вырисовывается жизнелюбивый характер строителей общества: до войны папа по комсомольской путевке строил ЛЭП в Улан-Удэ, потом мама – единственная девушка студентка электротехнического факультета, старший государственный поверитель от комитета мер, весов и приборов при Совете Министров СССР в лаборатории Крымэнерго. Оба родителя – спортсмены первой величины на Всекрымских соревнованиях: папа – по классической борьбе, мама – по спортивной гимнастике.

Кроме известных довоенных песен, таких, как «Наш паровоз, вперед лети – в коммуне остановка», «Песня о встречном», «Дан приказ ему на запад», в записной книжке у папы была «Песня военных корреспондентов», утверждающая, что «помирать нам рановато: есть у нас еще дома дела», «Эх, дороги», «В лесу прифронтовом» и, конечно, песни из репертуара Клавдии Шульженко, стихотворения Симонова, Светлова, Твардовского.

В конце папиного письма было обращение к знакомым и незнакомым людям, если… в любом случае… Это был очень убедительный и отчаянный зов надежды и (если…) сострадания.

…Наша многочисленная интернациональная семья прошла

войну с потерями, но меньшими, чем другие семьи: муж старшей тети пропал без вести на оборонных работах; старший дядя, единственный сын бабушки, ушел с женой-еврейкой на «регистрацию смешанных браков» и не вернулся; через три месяца по доносу нас, тринадцать человек, забрали в гестапо, но выпустили, оставив только семилетнюю Светочку – дочку дяди. В октябре сорок второго года умерла от горя бабушка Вера.

Нас, караимов, не тронули ни гитлеровская, ни сталинская «переселенческая» комиссии, решавшие вопрос, к кому мы ближе по происхождению: к евреям или к крымским татарам…

…На семейном совете решили: всей ордой встречать папу дома – на вокзал пойдет мама с детьми.

До конца дней родители часто смеялись, вспоминая эту встречу на вокзале. Первые слова приветствия у мамы: «Где же твоя шея?» У папы: «Какая же ты худая!». А я смотрела на своего папочку и плохо узнавала его: волосы, кудрявые и пышные, были короткими и от висков с белыми полосами, а треугольная шея спортсмена – классического борца длинно выглядывала из воротничка гимнастерки. Сестричка Светочка, названная так в честь погибшей в гестапо двоюродной сестры, плакала и не хотела идти на руки к незнакомому дядьке в военной форме, она еще в свои два с половиной года не умела отождествлять появившегося в нашем доме мужчину с довоенной фотографией папы, которая при немцах была глубоко запрятана под старинный диван: «Яшка Лис эвакуировался под диван…»

В отъезд собирались долго и беспорядочно: все давали советы, что взять с собой в Самарканд, где летом жарче, чем в Крыму, а зимой холоднее, чем в Сибири. Пока оформлялись и собирали документы, маршрут немного изменился: пункт прибытия – Ташкент.

Самих происшествий в дороге я не помню, но в Ташкенте перед зданием комендатуры мамочка вдруг потеряла сознание. Потом это падение она объяснит так: гадая в один из праздников перед зеркалом со свечами и обручальным кольцом, мама увидела угол серого здания, из которого вышел мужчина в военной офицерской фуражке (папа ушел на фронт 23 июня 1941 года рядовым). Именно это здание комендатуры привиделось маме в зеркале при гадании за год до приезда папы. (Вообще женщины в войну часто гадали: то жгли бумагу и рассматривали пепел, то плавили воск, бросали в холодную воду, разглядывая тени-очертания на стене. В карты не играли – они были только для гадания. В записной книжке мамы – значение каждой карты и порядок их расклада при гадании. Но никогда не ставился вопрос: кто победит? Все были твердо уверены: победа будет за

нами, фашисты будут разбиты. Гадали только на родных…)

В мае сорок четвертого года мне исполнилось семь лет. В школу мы опоздали на два месяца, но меня приняли. Своей первой учительницы я не помню. Класс был похож на караван-сарай где-то на перекрестке древних торговых путей: дети разных возрастов, разных народов и, главное, разноязычные, а учительница-узбечка плохо говорила по-русски. Сидели на полу – кто на корточках, кто по-турецки: скамеек на всех не хватало. Тетрадей тоже не было. У мамочки сохранились листки миллиметровки и логарифмическая линейка. Цифры я писала на миллиметровке, а русский язык учила по заголовкам газеты «Красная Звезда», широкие поля которой мама разлиновывала. Мне завидовали: у меня было два карандаша – простой и чернильный…

Зима сорок пятого года выдалась многоснежной, но никаких зимних игр с детьми я не помню. Наверное, потому, что я, по возрасту ровесница, после оккупации воспринимала жизнь по-другому: во мне еще был жив животный страх перед гестапо, и даже гром я принимала за отдаленную канонаду.

Радость пришла с цветением садов, журчанием арыка, со знакомыми и каждый раз новыми ароматами проснувшейся земли…

Ни один документальный кадр, ни одно кружевное словесное творение не могут передать того сумбурного ликования и глубинной скорби, которые, как цунами, захлестнули и вздыбили народы: люди бросались друг другу в объятья, плакали на чужом плече, кричали на разных языках – и все-таки понимали друг друга. Коренные жители на подносах и в решетах выносили припасы, припрятанные «на черный день», одаривали встречных и поперечных курагой и изюмом. У чайханы спонтанно образовывались компании, центром которых обязательно становились люди в гимнастерках.

В этом человеческом муравейнике не было ни узбеков, ни евреев, ни русских, ни людей других национальностей – это был единый великий народ, народ-победитель…

Несколько дней прошли в общей эйфории, а затем земляки эвакуанты стали собираться группами и решать свои судьбы уже отдельно: некоторым хотелось хотя бы поклониться своим печным трубам; другие ждали писем от родственников и сомневались, стоит ли трогаться из гостеприимной, обильной земли, которая спасла, в разор средней полосы России.

Нам раздумывать было не о чем: мы не могли теперь расстаться с папой и подчинялись приказу: вестовой известил, что часть поднята по тревоге, поданы бортовые машины для погрузки

в эшелон. Конечный пункт пути держался в секрете.

Семнадцать суток наша часть в вагонах-теплушках двигалась сначала на север, потом на северо-запад и, наконец, четко на запад. Вот тогда-то по-настоящему раскрылся мне смысл слов песни «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек». Товарные вагоны были оборудованы просторными нарами, а двери для доступа воздуха – поставленными поперек кроватными панцирными сетками. Импровизированные двери давали широкий обзор, и сквозь звенья сетки мы видели и верблюдов, и солончаки, потрескавшиеся от июльского зноя, и огромные колючие шары перекати-поля. На полустанках («зеленых остановках») мы набирали воду и для поддержания элементарной гигиены лезли в любую лужу или под струю водокачки, когда паровоз заправлялся. Это было так весело, если поток их пожарного крана водокачки обрушивался на головы ребятишек и самых маленьких просто сбивал с ног.

На остановках мы ничего не покупали: денег не было, на папин аттестат приходилось четыре рта. Но однажды на одной стоянке все всполошились – побежали покупать или выменивать на хлеб и мыло соль. Мамочка принесла соли целую наволочку от подушки-«думочки», но в ее ушах я не увидела золотых сережек. Может быть, мы их «проели» в годы оккупации, а я только заметила? Вообще, мы много чего «съели»: папин велосипед, мамины крепдешиновые платья, обувь из лака – «стерлинга», украшения. Но об этом никогда не вспоминали, только разглядывая старые фотографии иногда говорили, уже в восьмидесятые годы, что беличья шубка мамы, кожаное пальто и перчатки-краги папы были очень хорошего, «довоенного» качества. (Уже взрослая, я купила папе в комиссионке кожаное китайское пальто на меху и меховые перчатки, но он их так ни разу и не надел.)

По мере продвижения на северо-запад ландшафт менялся: предгорья Урала поражали величием и суровостью, зубчатый абрис вершин леса, будто огромный зеленый гребень, причесывал белые облака – кудри неба. Потом пошли белые и знакомые, пестрые и радостные картины, словно из старых сундуков достали давно забытые и любимые платья. Людской калейдоскоп менялся чаще, чем природа, но эшелон был воинский, и близко чужих не допускали. Издалека удивляло разнообразие головных уборов: одни женщины повязывали платки вокруг головы и узел делали под косами сзади, другие – под подбородком и низко надвигали платок на лоб, третьи связывали два конца одной стороны большого платка под волосами, а два других конца свободно спадали на плечи и спину. Больше мне запомнились

женщины – мужчин было мало: старики или инвалиды, что меня очень пугало и хотелось побыстрее закрыть глаза или отвернуться, чтобы не видеть «дяденек-половинок на утюгах». Вот тогда мне вспоминался страшный отрывок из «Руслана и Людмилы», который я знала наизусть еще до войны: «Померкла степь. Тропою темной задумчив едет наш Руслан и видит: сквозь ночной туман вдали темнеет холм огромный и что-то страшное храпит… Найду ли краски и слова?! Пред ним живая голова!»

После таких встреч мне снились кошмары и погони: ведь в мае сорок второго года мы бежали в румынскую зону и имя мое было не Валентина Лис, а Валентина Ивановна Изотова, и его нужно было твердо помнить. (Мама специально подсылала доверенных людей спрашивать меня, как мое имя. Я ни разу не ошиблась, отвечая: «В.И. Изотова», а потом неизменно добавляла: «А Яшка Лис эвакуировался под диван».)

Поезд шел быстро. Только однажды эшелон остановился и побежали люди: они просили соли и хлеба. Мама через заграждение двери насыпала какому-то мальчишке стакан соли, на что соседки по вагону сказали, что доброта до добра не доведет. А я молча спорила с ними: даже в сказках про Бабу Ягу добро всегда побеждает, и даже сама Баба Яга добрая, потому что кому-то дает клубочек, кому-то голубка́, чтобы показать правильную дорогу.

Брест-Литовск оказался конечной остановкой и походил на большую праздничную ярмарку, по которой прошла орда Тамерлана. Это впечатление особенно укреплялось в районе вокзала, где наши воины-победители бросали то, что нельзя было переправить на родину. Как взятое в плен стадо носорогов, громоздились рояли, пианино, даже арфы! А уж брошенных лакированных детских колясок была тьма-тьмущая, и мы потом играли – представляя их танками, наезжали, таранили друг друга. Из поверженной Германии тащили фарфоровые статуэтки и многое прочее, что в разрушенном хозяйстве не могло пригодиться. (Невольно вспоминается есенинская «Анна Снегина»). Но взрослые говорили, что самые умные и ловкие везут не барахло, а чемоданы с иголками: швейными и для патефонов.

Папу моего поставили на осмотр трофейной автотехники, потому что он был командиром автороты связи. В его роте были шоферы и радисты, с ними он проверял годность «студебеккеров», BMW и «Харлеев». Однажды папа попытался посадить меня на мотоцикл и показать, как им управлять, но я очень боялась этих черных машин: ведь на них ездили фашисты с собаками-овчарками. (Я так и не смогла научиться ездить на велосипеде и

на мотоцикле ИЖ, даже став взрослой: у меня плохо было с вестибулярным аппаратом. Считали, что я попала под взрывную волну, когда играла во дворе во время воздушной бомбежки Симферополя…)

Снова подходило первое сентября. Мне было уже восемь, и ждать было больше нельзя, да и война будто уже окончилась. Но опять война – война с Японией! То ли потому, что Япония была где-то далеко, или слово «война» меня так уже не пугало, я не очень вникала в ход военных событий, но песню про «Варяга» знала и пела: «Врагу не сдается наш гордый “Варяг”…» Об атомной бомбежке японских городов узнала из разговоров папы и мамы, и снова у меня появился страх.

1 сентября 1945 года я не помню, будто и не было праздника: все торопились занять место за партой, даже садились по трое. Учительницы я тоже не помню – ни ее имени, ни вида, помню только жутко твердое произношение «трапка», «бруки» и какие-то «щелкающие» звуки в шипящих. Возили нас в школу из гарнизона зимой на низких широких санях-розвальнях. Лошадка была маленькая и вся всклокоченная. К весне, когда пригрело солнышко и дорога растаяла, мы все еще ездили на санях. За нами гнались какие-то всадники и стреляли. Я их не видела, так как сидела прямо за возницей. Говорили, что нас пытались догнать «бендеровцы». Володю, сидевшего сзади, хоронили всем классом. А я смотрела и думала: «Как это – умереть? А если все умрут, как я узнаю, что я тоже умерла?»

Хотя прошел почти год со Дня Победы в сорок пятом году, мы по-прежнему играли в войну и еще в прятки, но с военным уклоном. В одном из сараев мы обнаружили шашки дымовой завесы и, не дожидаясь темноты, прятались за дымом. Очень было обидно, когда меня находили и говорили: «Ты убита!»…

…Дивизию расформировали, демобилизованные уехали. А мы, три семьи, остались ждать нового назначения. Так мы все вместе попали в Подмосковье, которое теперь стало Большой Москвой. Вот там-то, в Ватутинках, и началась моя настоящая учеба и настоящая война с теми, кто пороха не нюхал и в оккупации не был…

Я пришла во второй класс, где уже сложился свой коллектив, пришла отличницей. Это первое, что настроило класс против меня, так как на любой вопрос Полины Михайловны я поднимала руку и четко отвечала. Помню такую сцену: Беккеровский рояль и себя на кипарисовой скамеечке под ним, а над моей головой рокочущее море звуков, то радостных, то тревожных). Бабушка Вера и родители очень заботились о моем развитии и воспитании, и до февраля сорок второго года я была в семье

единственным, а у многочисленных тетушек – самым младшим ребенком. Во-вторых, моих одноклассников очень раздражала моя фамилия, и они стали меня дразнить: «Жид, по веревочке бежит!» Я несколько раз объясняла им, что я – караимка, а не еврейка, и даже немцы в оккупации нас не тронули. Тогда мои одноклассники сказали: «Значит, вы – предатели!» Вот такого оскорбления я не могла снести. Я бросилась к обидчице, и, хотя Люська Акатова была выше и крупнее меня, я свалила с ног ее, не ожидавшую атаки, на землю своим стремительным броском и била-била-била… бабушка Вера играет на рояле ногами в брезентовых английских сапогах.

Ребята стояли вокруг и оцепенело смотрели на мой приступ безграничной ярости, и никто не посмел вступиться за Люську. С того памятного дня мальчишки меня «зауважали» – я стала «своим парнем в доску». Вообще, мне с мальчишками было легче дружить: я играла с ними в футбол до пятнадцати лет, а потом они ставили меня судьей. Я поднимала штангу и хорошо прыгала в длину. Когда мы перешли в пятый класс, нас перевели в другую школу, ходить в которую нужно было через кладбище. И девчонки со мной тоже подружились, больше всех Зина Стручева, которая единственная из них приняла меня сразу в сорок пятом. (С ней я встречалась, уже покочевав с папой по другим гарнизонам и снова попав в Подмосковье, перед окончанием средней школы. А фотографию Люськи Акатовой в школьной форме с пионерским галстуком, подаренную мне в пятом классе, я храню до сих пор.)

На каждый период моей теперь уже долгой жизни, у меня было всего по одной подруге – Зина осталась первой и незабываемой. Отец ее погиб в войну, а малограмотная мама работала в солдатской столовой судомойкой, кормила своих троих детей: с работы она иногда приносила головы от селедки. Мама Зины топила печку, варила картошку в мундире, и мы, сидя на припечке, клали вареную картошку на чугун печи, чтобы шкурка картошки слегка поджаривалась, будто пеклась в костре, и с удовольствием «препарировали» головы сельди, облизывая все косточки и выгрызая мозг. Особенно радовались, если доставались головы с длинной «шеей». Хлеба было мало: еще не отменили карточки. И все равно это было счастливое время, полное надежд…

Были в моей послевоенной «пятилетке» и удивительно радостные события, касавшиеся меня лично, и грандиозные праздники для всей поднимающейся и строящейся страны: 800-летие Москвы; матч на стадионе «Динамо» с вратарем Хомичем, которого тогда называли лучшим голкипером; и военно-воздушный парад на Тушинском аэродроме, где папа купил для

Светочки цветной козырек, а для меня, в целях экономии средств, мамочка заранее закоптила стеклышко. А внутри нашего детского сообщества такие волнующие памятные события: прием в пионеры; почетные грамоты «за успехи в учебе и примерное поведение» с портретами Ленина и Сталина; единственный билет на всю школу на елку в Москву для отличников; поездка в пионерский лагерь на войсковой машине с надписью на брезентовом верхе «Люди»; участие в концерте после окончания смены в лагере в Центральном театре Красной Армии в Москве. (Я очень переживала, успеет ли мама купить мне на выступление хоть какие-нибудь тряпичные тапочки вместо мальчиковых ботинок, в которых я ходила в лагере.)

И исполнение тайного заветного желания – получить на день рождения часы-штамповку, которые и чинить-то нельзя. Родители поехали за ними в Москву, а вернувшись, сказали, что часов не нашли и потому купили мне губную гармошку. Я не расстроилась: подарок есть подарок. Открыв коробочку, онемела – прыгала до потолка и долго еще не хотела надевать одежду с длинным рукавом. К часам прилагался настоящий солдатский вещевой мешок с хлебом, вареной в мундире картошкой, сушеной рыбой – воблой и ситро в слегка помятой солдатской фляжке для пикника с друзьями на берегу Десны – первые шаги самостоятельности.

Александр Кабаков
Письмо от писателя

Как почти всякий сочинитель, я высосал свое прошлое, перегнал его в тексты – так самогонщик перегоняет в отраву все, что растет в его саду. Мое послевоенное детство осталось в моих романах, главным образом в «Последнем герое» – там даже почти точно описаны обстоятельства моего зачатия – и во «Все поправимо». Да, еще были воспоминания об отце – но не о себе… Это не значит, что мои романы автобиографические, характеры героев совсем не мои, да и события многие я придумал, – но немало позаимствовал из собственной судьбы. Однако строго документального описания моей детской жизни нет и не было бы, если б не эта затея – собрать такие свидетельства разных, уже очень пожилых людей. Спешить надо, все мы на выходе…

Я родился осенью 1943 года, на переломе войны, за десять лет до смерти Сталина. Появление мое было следствием отпуска отца с фронта. Он войну – с первого дня до Кенигсберга, а потом и до победы над Японией – прошел, будучи инженером-путейцем, в железнодорожных войсках. Однажды, во время налета немецких бомбардировщиков на строящуюся его ротой рокаду, он спрыгнул в окоп, а пленные немцы, которые были приданы роте как рабочая сила, начали заваливать этот окоп шпалами, хоронить заживо вражеского офицера. Старшина роты положил их из автомата, а отец отделался контузией, получил отпуск для лечения и потом попал на формирование новой части… В госпиталь к нему добралась из эвакуации моя мать – и я возник в результате контузии, что, боюсь, сказывается до сих пор.

После рождения, младенцем, я жил в Новосибирске, куда из разных мест – из Отрошки под Воронежем, где отец работал до войны помощником начальника железнодорожной станции, из Москвы, где обитали мои тетки и дядьки – была эвакуирована вся моя родня по матери. Там мы просуществовали в бревенчатом бараке до конца войны. Никаких воспоминаний об этом, действительно великом, событии не осталось, ведь в мае сорок пятого мне не было двух лет. Хотя кое-что из времени даже более раннего помню. Например, у меня была кофточка с медными пуговицами, а на пуговицах якоря. Я ее очень любил и называл «испосылка». То есть, видимо, она была из американских посылок, которыми простые американцы помогали простым русским в борьбе против общего врага. Это шло помимо ленд-лиза, кроме виллисов, студебеккеров, тушенки и прочей военной

помощи на государственном уровне…

Отец закончил войну старшим лейтенантом с двумя орденами Красной Звезды и без единой царапины, если не считать сломанной ключицы и сотрясения мозга от шпал. Повезло невероятно – провоевал от звонка до звонка в действующей армии и остался в живых. Повезло тогда – как потом везло не один раз – и мне: отец вернулся. Большинство-то пацанов моего и предыдущего поколения остались безотцовщиной.

Итак, шла массовая демобилизация, отца уже ждали друзья по институту инженеров транспорта, приготовили ему место в наркомате путей сообщения. Но тут СССР начал – на основе трофейных ракет «Фау-2» – создавать свои баллистические ракеты и строить первый советский ракетный полигон. Туда, в совершенно мирное и глухое приволжское село Капустин Яр, собирали служить офицеров с хорошим техническим образованием. И в демобилизации отцу отказали – партия и командование выбрали для него другую жизнь. Переподготовка в Москве (артиллерийская академия в огромном здании Екатерининского Сиротского дома) – и на полигон. А мы, мать, ее мать и я, следом за ним поехали в Капустин Яр (военные его называли кратко – Кап Яр). Ехали едва ли не месяц, в теплушке, выделенной на две офицерские семьи. Печку железную топили, варили суп, стирали белье… В Кап Яре, в быстро выстроенном военном городке, отделенном от села колючей проволокой и строгими проходными, мы прожили ни мало ни много тринадцать лет. Там я окончил школу, там в шестом классе отчаянно влюбился в свою будущую первую жену, оттуда послал в журнал «Юность» первое свое сочинение и получил первый отказ…

Два года, пока строились двухэтажные, поселкового стиля, восьми– и двенадцатиквартирные дома для офицеров, мы снимали сначала подвал под деревенским домом, где до нас держали зимой овец, а потом половину хаты, почти все место в которой занимала русская печь. В подвале, стаскивая вечером в субботу через голову гимнастерку, – всю неделю офицеры проводили на пусковой площадке, там и ночевали в вагончиках, там было много работы и спирта – усталый и не вполне трезвый отец стукался руками о глиняный потолок… Я спал с бабушкой на одной кровати. Укрывались мы с головами, потому что с потолка падали мокрицы величиной с майского жука. Еда была странная – вроде как у таможенника Верещагина из «Белого солнца пустыни». Помидоры, арбузы, дыни, пахучая баранина, огромные ахтубинские сомы… И браконьерская (кажется, понятия «браконьерство» еще не было) черная икра. За литровую банку

мужики просили денег на бутылку, тогда двадцать один семьдесят за дорогую водку, так называемую «белую головку», – горлышко было запечатано белым сургучом.

А хлеба не было. Вернее, его привозили автофургоном раз в неделю, за ним выстраивались очереди во всю главную пыльную улицу, вперемежку местные бабы в выцветших ситцах и жены офицеров в крепдешине. Впрочем, и продуктовая привилегия у офицерских семей была – раз в месяц паек. В нем давали конфеты «Мишка в лесу», коробку шоколадного ассорти с оленем на крышке, печенье «Октябрьское», консервы «Печень трески в масле» и, главное, два килограмма муки.

Но хлеба хотелось ужасно.

Однако это был голодный сорок седьмой, и нам могла завидовать едва ли не вся страна. Вплоть до отмены карточек, когда – как спустя почти полвека, после гайдаровского освобождения цен – в крупных городах появилось сразу всё…

Вечерами ходили в деревенский клуб, помещавшийся в бывшем сельском храме, огромном обезглавленном строении. Полусгнивший остов купола валялся в высокой траве позади него… В клубе бесконечно показывали трофейные фильмы: «Индийскую гробницу», «Багдадского вора», «Девушку моей мечты»… По малолетству я оставался к ним совершенно равнодушным, а «Серенаду Солнечной долины», перевернувшую – вместе с джазовыми передачами «Голоса Америки», которые лет в двенадцать стал ловить приемником «Урал» – мою жизнь, я посмотрел много позже.

В школу я пошел, когда мы уже переселились в военный городок. Это был – о Боже, было ли все это? – пятидесятый год. Вскоре, мне теперь кажется, что сразу же, случилось вот что: наша соседка Тамара Петровна подошла к отцу на лестничной площадке, когда он чистил утром сапоги. Я всегда любил смотреть на это. «Ну, что ж твои жидочки, Абрам, народ травят? – спросила она. – И Горького отравили, гады…» Отец молча взял в одну руку сапоги, в другую щетку и ваксу в плоской коробке и пошел в квартиру. Я едва успел проскочить – он ногой пнул дверь так, что от удара посыпалась труха из-за притолоки.

Но я ничего тогда не понял.

Пятого марта пятьдесят третьего года наша семья, точнее бабушка и мама, потому что отец был в части, на пусковой площадке – рыдали по дорогому покойнику. Сквозь рыдания доносились слова, которые повторяла в это время вся страна: «Что же теперь будет?» Основания задавать сквозь слезы этот вопрос имелись вполне резонные – всегда после большой государственной смерти наступали серьезные последствия для

всех – взять хотя бы убийство Кирова, тогда вон что началось… А тут ведь умер бессмертный Сталин! Воспользовавшись общим невниманием, я тихонько натянул резиновые сапоги – грязь в весеннюю пору была несусветная – и отправился из городка в деревню. Ведь уже не маленький был, остолоп, но решил, что в деревне будут какие-то особые события в связи с такой смертью, поскольку на седьмое ноября и первое мая там бывали демонстрации даже с духовым оркестром из трех человек, а у нас в городке только торжественные построения офицеров перед штабом и потом их прохождения строевым шагом, но без музыки… Посреди пустыря, отделявшего жизнь за колючей проволокой от просто жизни, я полностью и непоправимо застрял в грязи. Вытащил меня за шиворот отцов сослуживец, проезжавший мимо на «газике». Он и привез меня в одних носках – сапоги бесследно утонули – домой. Там уж собирались хоронить не Сталина, а меня…

Спустя несколько дней пришла соседка Тамара Петровна, принесла самодельный торт, прошла на кухню, где отец ужинал. «Извини, Абрам, – сказала она, – кто же знал… Извини». Отец молча взял торт, открыл форточку и выкинул его. Тамара Петровна ушла, мать долго пилила отца: «Не надо было так… ты не мальчишка…»

Я и тогда ничего не понял.

А летом того же года мы всей семьей отдыхали в Сочи. Сначала как-то добрались до Сталинграда, а оттуда самолетом Ли-2 до Адлера, с посадкой уж не помню где. Мать лететь боялась, но на вокзалах творился ужас, ехали освобожденные по амнистии тысячи уголовников, и отец выбрал из двух страхов меньший. В Сочи его принял военный санаторий с колоннами, а мы с матерью сняли у сестры-хозяйки комнату в дощатом сарае. Отец приходил после обеда, они с матерью ложились отдохнуть, а меня посылали гулять…

Однажды, вернувшись с прогулки, как и было велено, через час (время узнавал у прохожих, часы были далеко не у всех, хотя рядом с военным стоял еще более богатый шахтерский санаторий), я застал родителей еще в постели. Мать тихо плакала, закрываясь голыми руками и повторяя: «Теперь все опять начнется!» Отец лежал в майке, укрытый до пояса простыней, курил, жевал мундштук «Казбека», потом сказал твердо: «Теперь все кончится». Черная тарелка радиоточки в углу под потолком торжественно продолжала: «…агент английской разведки мусаватист Берия…»

В одном классе с нами, прилично – однако совсем не богато – одетыми и сытыми офицерскими детьми, учились «деревенские»,

как мы, по-свински презрительно, называли их между собой. Одеты они были ужасно, с заплатками, на переменах жевали пустой хлеб, – именно среди них сформировалась группа переростков, второгодников, шпаны. Меня они, как ни странно, уважали за то, что я учился музыке у частной учительницы Нонны Калиниковны, а я их – за хулиганство и взрослые манеры. Когда – не слишком часто – они заходили ко мне за книжками, которые велено было прочитать по литературе, или просто чтобы позвать на прогулку (курить за котельной), мать и бабушка их подолгу кормили. Под баян одного из них, Володьки Юртайкина, которого я консультировал по части тональности – «высшины», как он говорил, – мы пели, сбежав с уроков, в дальнем углу школьного двора «По тундре, по железной дороге» и «Я помню тот Ванинский порт». Как к нам такие песни просачивались, не представляю…

Но даже бессмысленно повторяя эти слова, я не понимал ничего. Так, общее настроение…

Кое-что я вдруг понял, когда окружающая жизнь оцарапала меня самого – в пятом классе, когда появились вместо одной учительницы преподаватели по предметам. И вдруг историчка Нина Михайловна влепила мне, ленивому отличнику, трояк, хотя я все ответил правильно – у меня память на тексты и до недавнего времени была фотографическая. Вписывая отметку в журнал и дневник, она твердо и с непонятной тогда мне злостью сказала: «Слишком умный ты, Кабаков. Выделиться хочешь. Встать над коллективом. Но мы этого тебе не позволим».

Много позже я сообразил, что тогда и начались мои расхождения с советской властью. Они усилились, когда летом пятьдесят шестого я подслушал, как мои дядька с теткой, у которых в подмосковной Электростали я проводил каникулы, обсуждали закрытое письмо ЦК о культе. Подслушанные разоблачения упали на благодатную почву. Я понял главное: нельзя быть слишком умным и вообще выделяться, иначе тебе влепят трояк ни за что или ни за что посадят в тюрьму. Как-то все связалось в моих тогдашних мыслях, я это точно помню. Что посадить могут и не слишком умного, я еще не понимал.

А потом, в выпускной характеристике, мне, медалисту, написали «махровый индивидуалист». Как меня такого приняли в университет – загадка. Говорю же – мне вообще часто везло…

Странное дело: в большой моей семье, и с отцовской, и с материнской стороны, все было благополучно даже в сталинские времена. Никто не погиб на войне, хотя все мужчины воевали, никто не был репрессирован, хотя это была интеллигентная еврейская семья, – а я советскую власть невзлюбил с тринадцати,

по крайней мере, лет. И на мехмат университета меня приняли, и на работу в ракетное конструкторское бюро – с пятым пунктом! – поступил, и потом, когда я понял, что инженер из меня никакой, меня взяли в штат газеты – беспартийного!.. А я все больше ненавидел ту власть. Первый роман мой не хотели публиковать – так неужели в этом причина?

Не знаю. Может, потому, что душноватым было мое детство за колючей проволокой – не зэка, конечно, но и не вольный. Может, потому, что рядом жили голодные деревенские. Может, без всяких причин – просто мы были несовместимы, советская власть и я. Поэтому мне и теперь любая власть кажется лучше той, хотя любви не вызывает никакая.

А на месте Кап Яра давно уже город Знаменск, вылизанный до блеска, как хорошая казарма. Центр гигантского и старейшего ракетного полигона. В степи, там, откуда запустили первую советскую баллистическую ракету 8Ж34 (она же немецкая V2, «Фау-2»), стоит ее макет в натуральную величину. И на постаменте, среди пары десятков других фамилий, таких, как, например, великий Королев, есть фамилия моего отца, участника первого запуска. Все это давно рассекретили.

И только один секрет остается нераскрытым, и я все думаю и думаю о нем, – куда все делось, куда делись все? И, главное, куда делся тот мальчишка, нерадиво учившийся музыке и куривший за котельной, уже начинавший чувствовать себя чужим всему вокруг, уже сочинявший, уже влюбчивый? Неужто вот он, этот старик, – сидит и думает, куда все делось? Невозможно поверить, но ведь другого ответа нет.

Юлиана Хилова
«А душу кушать можно?»

Я – ленинградка. Всю войну семья находилась в Ленинграде. Отец, известный хирург-отоларинголог, ежедневно под обстрелам ходил с Петроградской в другой конец города, в Мечниковскую больницу, переоборудованную в военный госпиталь. Мать, солистка Михайловского театра, работала медсестрой в глазном отделении. Она часто пела для раненых. В благодарность эти слепые ребята дарили ее бумажные цветы, сделанные своими руками. Потом до конца войны была воспитателем в детском доме, куда привозили детей, родители которых умерли от голода. После войны они часто приходили к нам домой и называли ее мамой, что, конечно, вызывало у меня некоторую ревность.

Семья голодала. Я просила у бабушки есть. Она говорила: «Господи, если бы было можно, я бы душу тебе отдала». Я спрашивала: «А ее кушать можно?» Войну не помню. Запомнилось, как меня в три года дома крестили. На этом настояла моя верующая бабушка. Нашли священника. Он все сделал, но за это попросил все наши месячные карточки. Как выживали после этого, не знаю.

Помню сорок пятый когда солдаты возвращались с фронта. Мы, дети, проводившие бóльшую часть времени в питерских дворах и на улице, ловили на себе ласковые и нежные взгляды вернувшихся фронтовиков. Помню, как подходили ко мне и говорили, улыбаясь: «У, курносая». Жили весело. Во дворе-колодце играли в ножички, фантики, в лапту, в штандер, «Птичка на ветке» (водящий ловил остальных, пока играющий не вскакивал на дрова). Я больше любила играть с мальчишками, за что получила от соседских девчонок прозвище «мальчишница». Вспоминаю одного приятеля по двору, которого все звали Юрка-сопливый. Мы замечали, что даже в самые холодные зимние дни он долго оставался на улице. Спрашивали: «Почему не идешь домой?» – «Да там к маме дядя пришел», – отвечал он. Его мать, потерявшая на фронте мужа, работала в булочной грузчиком, одна поднимала двоих сыновей.

Я очень дружила с дворниками, пользующимися у жильцов дома большим уважением. Помню, как на больших фанерных листах они вывозили снег. Мы бежали за ними, а обратно нас везли на этих фанерках к дому. Всегда мечтала, чтобы у меня был дедушка. Обращалась к бабушке, увидела его портрет, с просьбой пригласить в дедушки Калинина. Она, естественно, иронично

улыбалась. А потом в беседе с любимым дворником Екатериной Ивановной нафантазировала и сказала ей, что с фронта вернулся мой дедушка – морской офицер. Она обратилась к бабушке, процитировала меня и напомнила ей, что дедушку вообще-то надо прописать.

Однажды пришла к папе в клинику и увидела там много славных кошек. Особенно понравился страшноватый черный котяра с длинными задними лапами, напоминающий кота Бабы Яги. Упросила папу забрать его к нам домой. С большим скрипом он согласился. Оказывается, кот был одним из экспериментальных животных, на которых создавалась модель отосклероза – заболевания, сопровождающегося полной глухотой. В дальнейшем отец первый в Советском Союзе разработал и внедрил в практику операции по хирургическому лечению этого заболевания. В 1956-м он и группа профессоров были удостоены Ленинской премии. Не обошлось и без анонимного письма в ректорат института от «доброжелателя», где говорилось, что профессор К.Л. Хилов проводит эксперименты на простых рабочих и колхозниках. К счастью, ректор института, знавший хорошо папу и прекрасно к нему относившийся, не придал этому письму никакого значения.

Часто родители писали письма и отправляли посылки незнакомому мне тогда дяде Володе. Иногда просили, чтобы я написала ему несколько добрых слов. Я старательно выводила свои каракули. Это был мамин первый муж, известный биохимик В.О. Мохнач. В страшные тридцатые он был репрессирован и находился в лагерях на Колыме девятнадцать лет. В жутких условиях, при полном отсутствии лекарств, многие заключенные погибали от желудочно-кишечных заболеваний. Являясь врачом медицинской части колонии (той, в которой отбывал заключение Шаламов), он разработал лечебное средство амилоидин (йод, смешанный с крахмалом), с помощью которого удалось спасти многих заключенных. В дальнейшем он создал довольно известный и ныне лекарственный препарат – иодинол. От В.О. Мохнача отказались брат и сестра. Только мои родители поддерживали с ним связь. Когда он стал жить на поселении, они отправляли ему посылки, в том числе и необходимую научную литературу. После смерти Сталина В.О. Мохнач вернулся в Ленинград, получил квартиру, успешно защитил докторскую диссертацию. Видимо, чувства к маме не прошли. Он предлагал ей вернуться, на что шутник-папа сказал маме: «Возвращайся, только прихвати с собой тещу». На том все и успокоилось.

В 1947 году я поступила школу № 47 им. Ушинского (сейчас ее переименовали в школу им. Д.С. Лихачева, так как он учился в

ней). Школа славилась прекрасными преподавателями. В нашем классе училась старшая внучка А.Н. Толстого Катя, ставшая моей ближайшей подругой. Потом она с иронией рассказывала, что из РОНО было передано указание директору школы набирать в класс, где будет учиться Толстая, только детей «элиты» (ученых, артистов, врачей). Это была женская школа. Жили весело, интересно. Конечно, как в любой женской школе, не обходилось без интриг и сплетен. Четко исполнялся «дресс-код». В школу приходили только в форме. Категорически запрещались завивки и капроновые чулки. Запрещалось любое инакомыслие. Помню, как меня с треском выгнала из класса учительница по истории за то, что я посмела сказать, что мне нравится Наполеон и мне жаль, что его сослали на остров Св. Елены. Однажды одну девочку из нашего класса, не относящуюся к «элите», очень обидела нелюбимая всеми учительница по биологии. Мы были возмущены и решили провести «акцию». Брат Кати Толстой, Миша (в будущем профессор, депутат законодательного собрания первого созыва), принес нам пистоны, научил, как ими пользоваться. Пистон укреплялся на конце знаменитого перышка 86 на ручке с помощью хлебного мякиша, и ручка вертикально бросалась на пол. Мы отнеслись к этому мероприятию со всей ответственность, собирались за школой, тренировались. Договорились на одном из уроков биологии по условному знаку (кашлю нашей одноклассницы) всем бросить на пол ручки с заранее подготовленными пистонами. Начался урок, все сидят в напряжении. Раздается условный сигнал и… резкий, громкий хлопок от одного пистона. Мы так и не знаем до сих пор, кто из нас это сделал. По крайней мере, я – струсила.

Скандал был ужасный. Пришла директриса, сказала, что не отпустит никого домой, пока мы не скажем, кто это организовал и кто бросил пистон. Пугали, что позовут милиционеров с собаками. Нас продержали в школе до позднего вечера, пока Катя Толстая не сказала, что все это организовала она. Ходили слухи, что на педсовете раздавались голоса о причастности родителей к этой «политической акции».

Виктория Резвушкина
История двух детей

Когда началась война, моему будущему мужу было двенадцать лет, а его брату Леше четыре года. Домашние дети, выращенные бабушкой, привязанные к семье. Моя будущая свекровь работала в «Пионерской правде», ее муж преподавал в МИИТе. Не знаю, кому пришла в голову эта светлая мысль – сдать детей в детдом, но понимаю одно: свекор находился под сильным влиянием своей жены, из ее воли не выходил. И хотя очень любил своих детей, противостоять ей не мог. Детей собрали, но со многими детьми журналистов, партийных работников ехали мамы; эти двое оказались совершенно одни. Где-то их грузили на пароход, и этот пароход плыл бок о бок с другим, на котором плыла моя свекровь в командировку. И там все были оглушены истошным воплем мальчика: «Мама, забери нас, не отдавай, мама, нам здесь страшно».

На нее это не подействовало. И мальчики оказались в Омской области, в детдоме. Причем не вместе. Их разъединили. И младший был в детдоме для самых маленьких за три километра от старшего. Старшего сына, моего будущего мужа, звали Эвир (эпоха войн и революций), к рождению младшего сына партийный пыл семьи несколько поутих, и его назвали Алешей.

Эвир еще дома страдал заболеванием почек, и у него были проблемы с недержанием мочи. В детдоме эти проблемы вызывали жгучую ненависть нянечек и самих воспитанников. Основной костяк детей был не из москвичей, а из местных ребят, прошедших скитания, бомжевавших, не брезгающих кражами и грабежами. За каждый случай его нещадно били, накрыв одеялом, чтоб криков не слышали. Нянечки это поощряли, потому что постельное белье было на счету, и болезненный мальчик прибавлял им работы.

Кроме того, было очень голодно. Кормили крайне скудно.

Но Эвир не ел того, что давали, потому что отщипывал кусочки из скудного пайка для Алеши и каждый вечер тайком сбегал из детдома, чтобы навестить и покормить брата. Лешка был болезненно к нему привязан и ждал его. Иногда Эвир даже пытался его вымыть. Сердце болело, какой дикий, неухоженный рос малыш. Эвир-то помнил настоящую еду, а Леша радовался любой корочке.

Война заканчивалась, и люди стали думать о возвращении. В Москву было просто так не попасть, нужны были разрешения на

въезд. Многие мамы, которые все кусочки получше вырывали у других детей и отдавали своим детям, зашевелились. Они списались с мужьями, вызвали многих в эту глухомань, один за другим соединившиеся пары уезжали домой. За двумя мальчиками никто не приезжал. И тогда старший решил за двоих: они сбегут, не буду ждать, когда родители поторопятся. Они начали копить кусочки хлеба на дорогу. И договариваться с теми самыми мамами, которые так были немилосердны к ним раньше. К чести сказать, ребят никто не выдал и согласились прятать их в вагоне под грудой вещей, чтоб патруль не заметил. Старший извелся, потому что малыш простудился, и он боялся, что кашель его услышат. Потом он мучился, какой малыш грязный, боялся, что родители ужаснутся. Он мыл его ночью, ледяной водой, кипятка не было, из маленькой кружечки. И вытирал тем же колючим казенным одеялом.

Потом, не доезжая Москвы, они выскочили с Лешкой из вагона и побрели по шпалам. Тогда беспризорников было очень много, и эти двое ни у кого вопросов даже не вызвали.

Каким-то чудом им удалось все же добрести до Москвы, до своего Товарищеского переулка. Они со-всем оборвались и на ногах не держались. Но у Эвира под мышкой было полбуханки хлеба, уже закаменелого. Они везли гостинец родителям.

В Товарищеском переулке в огромной квартире на первом этаже соседи не хотели открывать двум оборванцам. Потом узнали Эвира, ужаснулись и побежали звонить отцу и матери. А детей пустили в их комнаты. Ключ хранился у соседей.

Дети торжественно водрузили на стол свои полбуханки. А потом открыли шкафчик. А там белые «французские» булки и масло. И Леша стал теребить брата. Показывал пальцем и спрашивал, что это такое.

И тут «железный» мальчик Эвир сломался. Он плакал и плакал, не умея остановиться.

Младший не подпускал к себе никого, кроме брата, целый год.

Прошла целая жизнь. У обоих были семьи. Но стоило им чуть выпить, они снова заводили разговоры про теплушку. Про истязания. Про серый слежавшийся хлеб. И Эвир монотонно, как заведенный, принимался рассказывать, как нужно глотать слюну, задерживать дыхание, когда есть хочется до обморока, а за пазухой у тебя только мизерная Лешкина доля. Слушать это было непереносимо. Наутро они стыдились самих себя. А потом все начиналось снова.

Один стал хорошим адвокатом. Другой очень видным журналистом. Совершенно опустошенные люди, сломанные

внутри. Младший умер в двадцать девять лет. Старший – не дожив до шестидесяти.

А мама их умерла в девяносто шесть лет. В здравом уме, не раскаиваясь ни в чем. Уверенная в собственной непогрешимости.

Людмила Куц
Я запомнила только веселые сцены

Мое послевоенное детство было очень счастливым. Деревня (Селендума, расположена на юге Бурятии, близ монгольской границы) была большой – завод, МТС, школа, больница.

Когда я родилась (1945-й), приехала бабушка, «к зятю на хлеба». У отца, агротехника, был хороший оклад, а у бабушки – золотые руки. Завели хозяйство: была и корова, и куры, и свиньи, и собака с кошкой. К тому же отец был хорошим охотником («белку в глаз бил»).

Отец выскочил из этой бойни-войны живым и почти здоровым. После одного из первых боев под Смоленском немецкий снайпер отстрелил ему два пальца на правой руке, когда он набирал из ручья воды в котелок.

Из рассказов матери о войне я запомнила только веселые сцены. Как на танцы в горсад ходили: перед танцами свою пайку не ели, чтобы быть постройней и чтобы в животе не урчало и не пучило, капали в глаза какие-то капли, которые расширяли зрачки и делали глаза «выразительными». Были американские посылки – видимо, секонд-хенд. Из трусов шили кофточки, а из парашютного шелка – юбки. Кавалерами на танцах были раненые. В городе было много госпиталей. Две сестры отца, Анна и Мария, вышли замуж за таких вот кавалеров, у которых на Украине остались жены и дети. Бабушка их осуждала.

А мой дядя Леонард Григорьевич Жаркой прибавил себе годы и убежал на войну еще подростком. А назад его за руку привели, слепым. Ходил из дома в дом, везде плакали и наливали. Стал ходить в барак к расконвоированным заключенным девушкам. Узнав, бабушка велела сыну вести девушку в дом. Нина была родом из Томска. Срок получила за то, что ушла домой помыться с каких-то принудительных работ. Бабушка продала корову и отправила слепого сыночка с Ниной в Томск. Вся деревня говорила, что она его по дороге бросит. Не бросила. Дядя окончил музучилище по классу баяна. У них родились дочки, Наташа и Вера. После войны дядю оперировали, один глаз стал видеть. Дядя пил, устраивал жене сцены. А умер в сорок пять или в сорок шесть лет, в День Победы, от запоя.

Отец назвал меня Людмилой в честь актрисы Целиковской. Кино очень много значило для моих родителей. Подруги матери часто говорили между собой, кто на кого из актеров похож. Мать походила на Зою Федорову. Под музыку из кино танцевали, песни

из кино пели. Отношение к актерам было трепетное. Понятия о плохих и хороших актерах были своеобразны. Я как-то сказала матери, что Раневская – гениальная актриса, а ее любимый Крючков нехорош собой – и, ох, сколько было воплей: эта «лошадь» Раневская не может быть гениальной, а вот Крючков – «настоящий мужчина»!!! Первый фильм, который я посмотрела, назывался «Звезда» (я сижу на полу, прижавшись к чьим-то ногам, и мне страшно от увиденного).

В нашей жизни важную роль играли газеты. Отец читал только газеты. В них все заворачивали. Туалетной бумагой тоже была газета. Бабушка следила, чтобы в газету с «потретом» чего-нибудь не завернули. Идти по улице с газетой считалось очень «прилично». Отец всю жизнь (он прожил девяносто один год) проходил с газетой в изувеченной руке.

Помню, отец принес черную большую тарелку, повесил ее на гвоздь, чего-то покрутил – и тарелка, похрипев, запела голосом Руслановой. Я слушала все подряд – оперетты, классическую музыку, радиопередачи. Вместо детских песен орала: «…частицы черта в нас» и «Карамболина, Карамболетта». На улице и в доме люди замирали, когда говорил Левитан. Я представляла его похожим на маршала Рокоссовского. Мать его «обожала». Левитан был как член семьи, и когда я увидела его живьем, то не могла поверить, пока он не заговорил. То же самое впечатление было и от Руслановой.

После замужества мать десять лет не работала. Рожала детей (нас – четверо). А бабушка все время где-нибудь работала. У нее не было пенсии, своих денег, это ее, видимо, угнетало. Помню, как она посылала нас тайком что-нибудь продавать. Мы со Светкой стоим возле столовой с бидоном ягоды. Светка молчит (бабушка звала ее «бобун»), а я бойко изображаю торговку. После слышу, как отец ругается (торговать было «неприлично»).

Почти вся одежда шилась бабушкой. Зимними вечерами бабушка «отдыхала» – пряла, вязала, выделывала шкуры, шила унты из меха, кожи, сукна. Рубашки и трусы были из белого «мадополама», лифчик на зиму – с «пажами» из байки, длинные чулки из овечьей шерсти. У меня были даже воротники к пальто и муфточки из белки.

Однажды мне сшили платье из голубого бархата: стоечка на кокетке, на манжете рукав. Я помню, как в этом платье по улице гуляю с толпой детей (и даже бегу, тороплюсь – в детстве всегда было так). Мне нашли красную ржавую звездочку, гвоздем проковыряли в новом платье дырку, прикрепили «орден» – и я понеслась домой хвастаться. Дальше помню материнское злое «ду-у-ра». При бабушке она боялась меня колотить.

У меня качался и все никак не выпадал молочный зуб. Я показала его матери, она одним движением, резко, выдернула его. Я долго рыдала, после спрятала зуб в карман и периодически вставляла назад. Первое чувство несовершенства мира.

Первый класс. На мне коричневое шерстяное платье, белый фартук из батиста, черные ботинки на шнурках, чулки в резинку, на голове две косы («мышиные хвостики»). Сижу на первой парте, а напротив на стене висит портрет. Спрашиваю у учительницы Людмилы Васильевны: «А кто этот страшный дяденька?» А она (испуганно): «Это Лаврентий Павлович Берия».

Помню день смерти Сталина. Отец стоит какой-то растерянный, мать плачет, а бабушка молчит (я никогда не видела, чтобы бабушка плакала). На улицах висели красные флаги с пришитой черной полосой, и целую неделю не было кино. Я никак не могла дождаться, когда же кончится этот траур…

Юлия Бессонова
Разве мы плохо жили?
(Рассказ бабушки Любы)

Детство свое бабушка (Любовь Михайловна) помнит счастливым. Лапту и песни на лавочке, задушевные разговоры с сестрой и подругой Надей и ночные гулянья всей улицей ни голод, ни опухшее от голода лицо младшей сестры не смогли затмить. Счастливое оно было, довоенное и военное детство моей бабушки.

1932 год. Маленький городок в горах Киргизии. В долине, окруженной горами, зеленый город Талас. Свечки-тополя, как охранные великаны, вдоль всех дорог, арыки и… даже в летний азиатский зной с гор веет прохладой, вершины гор Тянь-Шаня в снегу, весной запах душистых горных трав накрывает город, как тонкой кисеей. Каждой весной, но не той, которую бабушка Люба помнит первой в своей жизни. Весной 1932 года Любаше два года, но она не на руках, стоит, прижавшись к ноге матери, на руках Нюра – ей два месяца, и прав на маму у нее больше. Взял бы на руки отец, а может, даже и подкинул своими огромными сильными руками, Люба только зажмурилась от восторга или от страха. Но сейчас страшней не высота – пугает сам отец: как чурбанок в печку, положили его в ящик, он лежит в нем, окаменелый и совсем чужой, уже с утра. Окаменела и мать, две старшие сестры окаменели на лавке, где их прижали чужие люди. Любаше и запомнился отец таким – каменным, в окружении больших и важных, тех, кто вынес ящик с чурбанком.

До войны беднее многих на улице жили – мать одна с четырьмя детьми хоть и работала с утра до вечера, а растущим девчонкам есть хотелось всегда. Когда совсем было невмоготу, бежали к бабе Маше. Она жила с семьей брата отца, и тетка Зоя гоняла босоногих, как могла – своих кормить надо было. Но если удавалось свидеться, бабе Маше всегда удавалось сунуть девчонкам кулек с мукой и деньги – когда 20 копеек, а когда и целый рубль: богатство, которое пряталось за пазуху, и четыре пары девчачьих ног поднимали такую густую пыль на улице, что было похоже, что гонят отару баранов.

На те бабкины деньги и кусок ткани на котомку в школу купили. Платье досталось от Ани, старшей сес– тры, и в школу Люба пошла при всем параде. В 1941-м она закончила второй класс с отличием; уже поспе-ла вишня, объелись редиски и

соседской черешни. И вдруг – война! Мимо дома, стоящего в аккурат на выезде из города, поехали телеги, запряженные колхозными лошадьми, мужики на них сидели кучно, повозок – на всю улицу растянулись, пыль, топот, слезы баб, крики детей… Провожали далеко за город, но семье Кохановых провожать было некого – так и стояли четыре девчонки, прижавшись к забору, как будто он их опора и только на него и могли они положиться.

Вот зимой тяжело было, особенно вторую зиму, морозы стояли, запасы кончились.

(Бабуля опускает натруженные руки, разглаживает фартук и продолжает).

Проснемся, а матрац один на всех был, соломенный, когда потеплее – так Нюра с Аней на лавке спали, а мы уж с Надей на матраце, а тут холод, на окнах лед в палец, печь, что стояла в полкомнаты, не топлена. Так и жмемся на матраце, как котята, друг дружку согреваем. Мать с утра рано уйдет. В конторе сельсовета уборщицей была, работала до вечера. Нюра, старшая, намотает на ноги чего-нибудь сухого, и в сад. Вишняка много было, что постарее наломает, а мы прильнем к окну, дырочки надышим и глядим, как она пробирается сквозь снег, наломает и тащит ветки. Потом уж наша очередь. Посуше тряпки выберем, на ноги мотаем, миску железную, лопатку берем, и на улицу. Тут уж в оба гляди – откуда дым идет. Да чтоб не далече. Стремглав туда за угольком… удача, если кусок кизяка еще найдем, – в миску кинешь – тогда уж точно не потухнет уголек, и бегом туда-обратно. А уж как дома хоть чуток прогреется – дурачимся, играем, тряпки сушим, вроде как дочери наши они, сворачиваем, как вы с куклами сейчас, играем. Наиграемся, головы кружатся то ли от голода, то ли от веселья, сядем рядком на лавку и в дырочки, прогретые в окнах, смотрим, ждем… Конюх дядя Ваня каждый вечер булку хлеба на семью заносил, на всех, на четверых, а чтоб матери когда оставалось – не помню.

(Бабуля замолкает, мнет руки, и лицо ее совсем угасает, но только на минуту.)

А ели-то хлеб все по-разному! Кто с солью, кто с водой, кто весь ломоть целиком, а кто и на всю ночь растянет. Корова у нас была, Зойка, хорошая коровка, любили мы ее, да уж она бедная зимой аж моталась от голода, а доить-то все равно доили – хоть по глотку каждой. А было молоко, мы себя богачами считали, так вот, кто с молоком, покрошит в миску и зальет… вот и вся еда, на весь день.

Богачами мы еще были из-за транзистора. Сколько помню себя – всегда тихонечко говорил. Голос Левитана и будил, и

засыпали с ним. Вот когда первых раненых стали привозить да по одиноким расселять, так к соседке красивого такого, только без руки, подселили. Каждый день он этот транзистор слушать приходил. А вот как стали уже перечислять, какие города освобождены, бледнее снега сидел, слушал. Помню слезы его по щекам, как Краматорск объявили; сидит, плачет и улыбается. Отложился тогда этот город у меня в голове, все представляла, какой он, этот Краматорск, что большой мужик из-за него плачет…

В сорок третьем пригнали чеченцев. Придет Надя, подруга моя закадычная, и зовет: «Люб, а Люб, пошли на громки». Мы и бежим на кладбище. Жуткое зрелище на городском кладбище не отталкивает, а притягивает детвору со всей округи. Люди, люди лежат вдоль всего забора. Мертвые, почти мертвые, живые и изможденные. Женщины с детьми, похожими на куклы, кто-то еле движется, кто-то плачет, кто-то снимает с трупов одежду, кто-то из последних сил эту одежду пытается оставить на себе. «Совсем не жильцы», – думает Люба, а вслух спрашивает: «За что их?» Гитлеровцы они… Но на Оторбаева некоторым целый барак под ходячих отдали, вроде и работу дадут…

Макуха спасала нас часто. Макуха – жмых от отжатых семечек, на масло отжимают все до последней капли. Сухие спрессованные отходы сжимают в большие толстые лепешки. Скотина на таком жмыхе и держалась всю зиму. Придем, встанем в дверях: «Дядь, а дядь, дай жмыху».

– Да давал же я вам, востроногие!

– Да то не мы были, дядь!

– Да и глаза одни были, и росточком такие же!

– Да не мы, ну дай, дядь!

Даст лепешку – плотную, запашистую, теплую еще. А мы, счастливые, бежим, сосем ее по очереди, вот это лакомство было!

(Морщинистое лицо бабушки озаряется, рот причмокивает, как будто вкус жмыха все еще хранится и в душе, и на губах бабы Любы.)

Из переселенных девочку Эллу запомнила еще. Тех еще в самом начале войны пригнали, много… немцы они, а мы фашистами их… целыми семьями, с Поволжья. Их вместе всех где-то селили, но некоторых по квартирам. Так у нас в классе одна такая была. Не токмо сидеть, разговаривать с ней никто не разговаривал. Или обзывались только. А мне ее жалко было. Вся чистенькая такая, мы такие никогда не ходили. Где только мылись-то они? Маленькая. Да и какая она фашистка? Я их с рогами да хвостами представляла, а эта с воротничком белым… Подсела к ней да и сдружилась. Сундук их с книгами запомнила –

отец их только его и взял, вкупе с пятью ребятишками, до Киргизии трое доехало и этот огромный сундук.

Вот запах ботинок помню, первое, что помню после войны. Маманька две пары принесла – мне и Нюре, новенькие, в коробке, шнурки вдеты… я и не видела такого никогда, а тут мне и – новые! Под лавку положила, а ночью то и дело вскакивала, открою коробку потихонечку и нюхаю… запах этот слаще всего казался.

Тогда же и с едой чуть полегче стало. Чеченцы, кто в колхозах стал работать, трудодни на муку меняли. Придут с кулем: мамка, мол, давай на вишню менять. Мама выменяет, так мы к ней сразу: «Свари, мам, а… хоть затируху». – «Ишь вы, на Пасху оставим!» И так мы уж эту Пасху ждали, так готовились! И вымоемся накануне, и весь дом в порядок, и кушали-то только после церкви… А сейчас? Пельменей налопаетесь сегодня да шашлыков нажарите, а завтра Пасха… тьфу!

(Баба Люба заливается своим смехом. Как колокольчик переливается и позвякивает.)

Разве плохо мы жили? Город хоть свой любили, улицу… мы и песни на ней пели, и на лавочках до зари, вы ж сейчас и выйти боитесь. Ежели одна ночью возвращалась, так только и боялась, что собак. Вдруг выскочит какая. А человека увидишь – бежишь, все не так скучно одной. А сейчас? К собакам, как к людям, а от людей, как от собак… после войны… да жалко мне вас, а вы нас жалеете.

В голосе бабушки появляется горечь, и мне хочется прижаться к ней и зарядиться ее энергией и жизнелюбием, передать их моим детям и внукам… Дай Бог тебе здоровья, бабуль!

Ольга Вельчинская
Подружка дней моих…

Аня Гордеева появилась в нашей семье осенью 1948 года, нанялась меня нянчить. А куда было податься молодой девушке, прибывшей в Москву из добитой войною и без того разоренной деревни, если не в няньки к городскому ребенку? Институт нянек и домработниц цвел пышным цветом. Вот уж чего-чего, а дефицита нянек в Москве не наблюдалось. Впервые увидав меня, упитанного девятимесячного младенца, Аня воскликнула восторженно: «Ну, роза-беломоза!», и этим сразу же покорила маму и вызвала безоговорочное ее доверие.

Няньки делились на «приходящих» и «постоянно живущих». «Приходящие» были редкостью, а «постоянно живущие» встречались гораздо чаще, ведь в большинстве случаев не имелось пристанищ у бежавших из деревень молодых девушек, зрелых женщин, а также старушек. Но и пристанище нашей семьи представляло собою всего-навсего 8 кв. м жилой площади, отделенных от общей комнаты не доходившей до потолка фанерной перегородкой. Да еще по совместительству служило отцу моему, живописцу, мастерской. Так что поселить Аню нам было решительно негде, но мама моя для того, чтобы ее не выдворили из режимного нашего города, каждые два месяца не без труда оформляла Ане временную прописку в нашей комнате, метраж позволял.

Впрочем, кое-какое пристанище у Ани все-таки было. Она ведь приехала из деревни не на пустое место, а к своим родителям, дворникам тете Тане и дяде Ване, и к двум братьям. Гордеевы бежали из деревни уже давно (младший сынок Вовка, мой ровесник, родился уже в Москве) и жили себе поживали в кособокой пристройке к соседнему с нами дому № 3, более всего напоминавшей деревенскую избушку, только совсем крошечную. Даже дух в этой дворницкой избушке витал деревенский, чудилось, будто за окном сельские просторы, а не то чтобы Красная площадь всего-то в двадцати минутах неторопливого ходу. Конечно же, место для дочери и в избушке нашлось бы, но ведь прописана Аня в ней не была. То есть после двенадцати часов ночи ноги ее не должно было быть в родительском доме. Потому что участковые милиционеры в компании с управдомами обходили по ночам подозрительные квартиры, проверяли документы жильцов, а непрописанных штрафовали и выдворяли с разной степенью жесткости – обычное дело по тем временам.

Прописка – управдом – участковый – вечный рефрен эпохи и одна из ее страшилок. Поэтому ночевала Аня в котельной соседнего пятиэтажного дома, которую по совместительству с дворницкими своими обязанностями обихаживал дядя Ваня. И каждый вечер в течение многих-многих лет Аня тайком пробиралась в котельную и спала там за котлом, не раздеваясь, под отцовским тулупом. Хорошо еще, что в тепле. А на рассвете так же скрытно выбиралась на поверхность и в восемь утра, когда мама моя бежала на свою службу, заступала на должность. Хорошо еще, что жильцы пятиэтажного дома не доносили на Гордеевых, но только потому, что тетя Таня с Аней по субботам мыли коридоры и кухни едва ли не всех его квартир. Не бесплатно, конечно, мыли, но очень задешево.

А ведь некто, обитавший в гордеевской дворницкой в прежние времена, мог наблюдать из своего окошка совсем иную жизнь, происходившую на том же дворовом пятачке, где в мои времена в свободную минуту посиживали на завалинке тетя Таня и дядя Ваня со своей цигаркой. Ведь за стенкой гордеевской пристройки, к которой была придвинута супружеская кровать тети Тани и дяди Вани, родилась Вахтанговская студия, предтеча театра. А на пятом этаже дома, куда крадучись входила поздними вечерами наша Аня, сначала в роскошной квартире, подаренной мужем, председателем страхового общества «Россия», и меблированной в стиле третьего рококо, а потом в одной оставленной после уплотнения комнате огромной коммуналки, жила знаменитая Надежда Петровна Ламанова. Можно представить (а впрочем, нельзя и вообразить), какие люди, бывало, пересекали гордеевский дворик вдоль и поперек, выходили сюда весенними и погожими осенними вечерами покурить, о чем они разговаривали. К примеру, Антокольский с Завадским, Марина Цветаева с Сонечкой Голлидей, Цецилия Мансурова с будущим своим мужем князем Шереметевым, да несть им числа, всем этим прекрасным людям, обитавшим некогда на давно уже опростившейся территории.

Явившись по месту временной своей прописки, Аня на законном основании выходила в кухню и первым делом варила нам макароны. Не вступая в кухонные разговоры с многочисленными нашими соседями, дружбы с которыми никогда не водила, видела их натуру насквозь и вразумляла маму: «Чего ты с ими фигли-мигли разводишь, они один разговор понимают – лопатой по харе».

Что же касается макаронных изделий, если кто помнит, то они бывали в те времена одного-единственного сорта – трубчатые, до сантиметра в диаметре, серого цвета. Продавались

макароны отнюдь не в красивеньких упаковках, а вразвес, и ссыпали их в кульки, свернутые из грубой бумаги или попросту из газеты. Очень-очень вкусные макароны, теперь уж таких не бывает! А для Ани еще и небывалое лакомство, фантастическое достижение городской цивилизации, к которому она пристрастилась, как алкоголик к спиртному, и пристрастила меня. Так что я полюбила макароны в очень раннем возрасте, и было время, когда запивала их грудным маминым молоком, которое мама оставляла в стеклянной бутылочке с соской, убегая на работу.

А уж наевшись макарон от пуза, мы отправлялись гулять на скверик у подножия Института иностранных языков, который так и назывался в народе – «иностранный». Гуляли подолгу, до обеда,

и не в одиночестве, а в обществе других нянек. Подопечные детишки копошились в песке, а няньки, в большинстве своем «постоянно живущие», сладострастно и в мельчайших подробностях обсуждали хозяев, хозяек, хозяйских родственников, а также семьи соседей (все жили в коммунальных квартирах). Вот если бы инсценировать те рассказы, да с сочными подробностями, получились бы сериалы в сто раз круче, чем нынешние, многосерийные, в том числе и бразильские.

Все няньки были в курсе всех жизненных сюжетов всех хозяев, и если появлялась возможность, принимали в этих сюжетах участие, хотя бы в качестве статистов. Однажды в одном из хозяйских семейств кто-то умер, и давним морозным утром закутанные в толстые шали няньки со своими воспитанниками собрались на Кропоткинской улице (бывшей и нынешней Пречистенке) напротив нарядного доходного дома, выстроенного в начале века в стиле модерн архитектором Львом Кекушевым.

Дети, будто бы в ложах бенуара, угнездились меж колонн цокольного этажа дворца Долгоруких, няньки заняли стоячие места в партере – на тротуаре перед Академией Генерального Штаба. Ждать пришлось долго, и мы едва не окоченели, хотя все были обуты в валенки с галошами. Кульминация события не оправдала ожиданий, она заняла всего пару минут. Дверь подъезда отворилась, закрытый гроб вынесли, поспешно погрузили в кузов грузовика и увезли. Дети были разочарованы мизерностью впечатлений, а няньки довольны и возбуждены. И оживленно обсуждая событие, гуртом отправились на «иностранный» скверик догуливать положенные часы.

Аня стеснялась моих нарядов, скромных даже по тем временам, и старалась приукрасить воспитанницу по мере своих возможностей. Шарф завязывала пышным бантом, а шапочку закалывала блестящей жестяной брошечкой-бабочкой изумительной красоты, сиявшей во лбу наподобие звезды царевны Лебедь. Но по вечерам бабочку откалывала и уносила с собой – украшением дорожила и нам не доверяла.

Ежели мы с Аней не паслись на иностранном скверике, значит стояли вместе с другими няньками в одной из бесконечных очередей за мукой, маслом, яйцами, за сатином для наперников или за другим каким дефицитом. Глядя в ретроспективу той жизни, удивляюсь, до чего же кротко вели себя в тех многочасовых и даже многодневных очередях дети. Может, оттого, что сознавали значимость собственной личности? Ведь на каждого ребенка, даже самого мелкого, колясочного, отпускалось ровно столько же товару, сколько и на взрослую особь. Очереди не молчали, отнюдь нет, скорее мерно гудели наподобие

пчелиного роя. При желании можно было и кое-какой житейской мудрости там поднабраться, а уж бытовых хроник наслушаться под завязку. Некоторые мифы, бессознательно обретенные в тех, едва ли не младенческих очередях, навеки угнездились в подсознании. Иногда я ошеломляла родных, пересказывая в семейном кругу услышанное в очередях. Папа с интересом прислушивался, бабушка с дедушкой скорбно переглядывались, тетушка иронически фыркала, маминой реакции не припомню.

На иностранном скверике, а также в ближайших окрестностях Метростроевской и Кропоткинской улиц Аня освоилась неплохо, но вот другие городские прелести и возможности ее ничуть не прельщали. Она о них вроде бы и не ведала. Не ходила ни в кино, ни в ЦПКиО им. Горького – центр притяжения местного населения. Прожив в столице более тридцати лет, так и осталась диковатой деревенской жительницей. И судьба Анина сложилась нелепо. Пересаженная в чуждую почву, она кое-как обжилась, но так и не адаптировалась в городском пространстве.

Множество знакомых нянек, молодых и немолодых замухрышек, так или иначе, но устроили личную свою жизнь, а наша Аня, статная красавица, похожая на жниц с картин Венецианова (очень бы ей подошел кокошник, расшитый речным жемчугом), мужчин сторонилась, а может, просто боялась их, и надо думать, не без причины.

Обстоятельства ее деревенского детства и юности мне неизвестны, знаю только, что девочкой Аня оказалась в оккупации, в одну из военных зим жестоко простудилась и частично лишилась слуха. Однако осталась здоровой и сильной. К Ане сватались солидные люди, однажды даже овдовевший батюшка из недалекого храма предложил поселиться в его доме на правах хозяйки. На ранних стадиях сватовства Аня проявляла к процессу живой интерес, делала у знакомой парикмахерши (бывшей няньки с иностранного скверика) шестимесячную завивку, доставала из сундука выходную кофту (зеленую, чистошерстяную, с вышитыми кармашками и тоненьким пояском), в сопровождении очередной свахи отправлялась к кому-то в гости и даже позволяла на себя поглядеть. То есть вводила участников процедуры в заблуждение, потому что наедине с женихами никогда не оставалась, а после смотрин неизменно резюмировала: «Дуру нашли – портки чужие стирать!»

Очередного жениха, повадки его, внешность и жилище, угощение и сопутствующие сватовству эпизоды наблюдательная Аня описывала виртуозно, с беспощадными скрупулезными подробностями и так потешно, что от смеха у нас случались колики. Судя по всему, артистичная Аня и знакомилась-то с

женихами исключительно ради будущих своих рассказов.

Ане досталась незаурядная лингвистическая одаренность. Однажды во время весенних школьных каникул мама с большим трудом уговорила Аню отвезти меня на денек в Абрамцево, где той весной папа жил на пленере и писал этюды для чудом добытого заказа на картину «Весна в Подмосковье». В тот солнечный день Аня пребывала в особенно яростном настроении и во время нашей прогулки по все еще зимнему, но почти уже весеннему золотисто-синему лесу костерила нас с папой почем зря, выдавая один за другим истинные лингвистические шедевры. Откровения ее папа украдкой записывал, и когда Аня ухищрения эти заметила, ею овладел словотворческий азарт, и она принялась импровизировать с небывалым воодушевлением. Записи те утеряны, но кое-что в семье сохранилось и применяется по назначению. В позднейшие времена, когда я уже подросла и перестала умилять Аню, иначе, как кулёма, косорылиха, чехмориха, бабка тюльпаниха, она меня уже не называла. Рычала грозно: «Ты чего это из себя меня корежишь, чуфырла?»

Конечно же, Аня не была пасторальной нянюшкой из мемуаров прошлого, а уж тем более позапрошлого веков, ничего идиллического в наших с ней отношениях не было и в помине. Аня не рассказывала сказок, не пела колыбельных, а ругательски ругалась, командовала, зверски жучила, вообще была человеком суровым. Но при необходимости и защищала яростно. На дворе весна пятьдесят третьего, сам злодей уже умер, но дело его по-прежнему живо и умирать не собирается. Подружка моя Ленка Фыряева скачет передо мной, строит рожи, кривляется и вопит во всю глотку: «Еврейка, еврейка!» Я не обижена и не растеряна, наслышалась за последние месяцы всякого, но чем ответить Ленке, пока не знаю. Вдруг откуда ни возьмись вихрем подлетает к ней Аня, хватает Ленку за шкирку (а в гневе Аня была страшна, уж кто-кто, а я-то это знала по собственному опыту), на яростной волне поднимает ее над землей, как котенка, и орет на весь переулок: «А ты индейка, индейка!» То есть в экстремальных обстоятельствах я могла рассчитывать на Анину защиту.

Кроме того, Аня была эстетом и внесла существенную лепту в формирование моего художественного вкуса. К примеру, долго и упорно учила меня правильно складывать перед сном одежду и достигла-таки успеха. Если платьице или кофточка вешались на спинку стула, то боже упаси допустить даже намек на складочку, а предметы, которым полагалось помещаться стопочкой на сиденье, складывались одним и тем же раз и навсегда заведенным способом. Майка, лифчик с резинками и трусы трансформировались в аккуратные целомудренные конвертики,

чулки сворачивались в форме красивых розочек, сандалии ночевали исключительно во второй позиции. В расположении предметов соблюдалась строгая симметрия. К ужасу родителей, дошло до того, что я не могла заснуть, если не была уверена, соблюдены ли все Анины правила. Вот я и подумываю, не создать ли непритязательную концептуальную композицию в память о няне моей и ее эстетических пристрастиях?

А однажды, находясь в благостном расположении духа, Аня вдруг взяла да и нарисовала в моем блокнотике букет цветов. Почти не отрывая карандаша от бумаги, не задумываясь, легко и артистично, как это делают народные мастера. По красоте Анин букет значительно превосходил все то, что рисовали по моей просьбе окружающие художники – ближайшие родственники и знакомые семьи. Рисовальный мастер-класс Аня дала мне один-единственный раз в жизни, а когда я осмеливалась просить ее нарисовать мне еще что-нибудь, злобно огрызалась. Рисунок тот канул в Лету, и можно было бы предположить, что он мне приснился, но нет, и сам букет, и та легкость, с которой он был нарисован, так и стоят перед глазами, никуда не деваются которое уж десятилетие.

Почти родственные узы, связывавшие нашу семью с Гордеевыми, открыли мне поэзию дворницкого труда. Все нравилось мне в этой работе! Но особенно зимние ее орудия: широкая оцинкованная лопата в искрящихся звездочках изморози, тяжеленный чугунный лом, зазубренный скребок – восхитительные предметы! Лопата казалась мне славной матерью этого трудового семейства, лом суровым отцом, а скребок веселым сынком. Бывало, на улице еще ночь, снежинки мельтешат в фонарном нимбе, а тетя Таня с дядей Ваней уже скребут тротуар под нашим окном. В дошкольном детстве это звучало чудесно. Гордеевы проснулись, скребут тротуар, долбят наледи, сгребают в сугробы выпавший за ночь снег, заботятся о людях, а я лежу себе уютненько и снова засну, если захочется. А вечером и сама поскребу скребком, погребу снег гигантской лопатой. С наступлением беспросветного школьного мрака все переменилось. Звук скребков под окном означал только скорое вставание и погружение в беспросветную, без конца и без края, мутную школьную хмарь.

В семье нашей Ане жилось привольно, но был эпизод длинною в полгода, когда Аня решилась искать лучшей доли и покинула нас ради соседей по лестничной площадке, ушла растить подружку мою Наташу и нянчить брата ее, маленького кудрявого Димку. Однако спустя время запросилась обратно, и к обоюдной радости блудная дочь вернулась в лоно семьи. А когда

я доросла до второго класса, Аня перебралась в хорошую московскую семью, проживавшую в Гагаринском переулке, несколько лет растила славную девочку Дашу и очень к ней привязалась. И наверное, ни чехморихой, ни косорылихой ее не обзывала.

К сожалению, Аня была упряма. Еще во времена Аниной службы у нас мама пыталась пристроить ее к полезному делу, как говорится, «дать в руки специальность», спонсировала Анины занятия на курсах кройки и шитья. Но Аня не желала впитывать новые знания, осваивать городские умения и навыки, изо всех сил сопротивлялась маминым попыткам расширить ее горизонты. Выкройка трусов из темно-синего сатина, первое практическое задание, так и осталась распятой на куске картона наподобие огромной ночной бабочки из древней запылившейся коллекции. Выкройка та не превратилась в изделие, годами ветшала, то и дело попадалась под руку, коробилась картоном, кололась булавками.

Когда подросла и Даша, мама присмотрела для Ани чистую, полезную для здоровья работу неподалеку от нас, на крошечной фабричке по изготовлению постного сахара – любимого Аниного лакомства. Многие поколения окрестных жителей выросли в его приторном аромате и, прильнув к затянутым металлической сеткой окошкам, наблюдали своими глазами, как творится это вкуснейшее чудо. Как опрятные женщины в белой униформе заливают огромные противни чудесным составом, розовым, зеленоватым или цвета слоновой кости, как с помощью стальной нити нарезают застывающие пласты на квадратики и ромбы. Мама мечтала увидеть Аню среди этих чистоплотных женщин, побывала у фабричного директора и обо всем договорилась. Но Аня не захотела творить постный сахар, а вместо этого устроилась на меховую фабрику, на самую черную работу – сортировать меховые отходы и паковать в мешки обрезки старого меха. Через руки ее и легкие прошли горы мехового сора, тонны смертельной заразы. Здоровый человек, до пятидесяти лет ни разу не побывавшая у зубного врача, Аня рухнула мгновенно. Больная, почерневшая, заработала максимальную по тем временам пенсию, но до получения ее не дожила полгода.

Только в середине семидесятых дяде Ване Гордееву, фронтовику, вернувшемуся с войны с открытой формой туберкулеза, наконец-то дали квартиру, и Аня обрела постоянную московскую прописку. Жила она в одном дальнем районе, а работала совсем в другом, тоже дальнем, но не было дня, чтобы вечером Аня не приехала к нам в Мансуровский переулок, ставший для нее эквивалентом малой родины. Обыкновенно

проводила вечер у нас, а если никого не было дома, прогуливалась с подружкой по переулку, стояла возле чужих подъездов.

Всем своим приятельницам Аня давала прозвища, в точности соответствовавшие облику подруги. При постоянном существительном, варьируя одни только определения, Аня создавала точные женские образы. Добродушная толстуха Лиза называлась «жопа в три раствора», тощая скукоженная Катя – «печеная жопа», суетливая Танька – «москвичка – в жопе зажженная спичка». Постаревшую и еще более скукожившуюся «печеную жопу» я встречала до недавнего времени, и так хотелось окликнуть ее по-свойски, по-Аниному: «Эй, жопа печеная! Откудова пресси?»

Анины реакции на окружающую ее жизнь удивляли своей первозданностью. Если по телевизору показывали балет, Аня валилась от хохота на диван, хлопала себя по коленям, вскрикивала: «Глянь, глянь, мужик без порток!» А во время передачи «В мире животных» при виде жирафа или зебры алчно восклицала: «Вот бы мне такую шубейку!»

Но была она ярким и талантливым человеком. Рассказов таких же смешных, смачных и образных, как Анины повествования о происшествиях и диалогах, случавшихся на фабрике, в транспорте или в очередях, характеристик более едких и точных никогда уж не услышать. Удивительно, но даже матерные словечки, появившиеся в Анином лексиконе одновременно с поступлением на меховую фабрику, не звучали в ее устах бранью, не становились словесным мусором. Употребленные к месту, означали только то, что должны были означать, и придавали повествованию дополнительный шарм.

Всю жизнь Аня тосковала по родной деревне, но не явно, а скрытно. Вот только время от времени вспоминала со скорбью о каких-то сундуках и самоварах, сгоревших в давнем пожаре. В том смысле, что если бы не сгорели те сундуки и самовары, то и жизнь сложилась бы по-другому. А выбиралась Аня в родные края раз в год, в двухнедельный отпуск. Зато в тех деревнях, где она проводила лето вместе с нами, Аня сразу же находила себе занятие – с поразительной сноровкой собирала ягоды, чувствовала себя человеком на своем месте. А вот в городе-то жила как в диком лесу.

Годами Аня копила деньги. Не гнушалась никакой работой – мыла полы, собирала бутылки, отказывала себе во всем. Если и покупала что-нибудь сносное, моментально прятала обновку в сундук, надевала раз в год – на октябрьские праздники или на Пасху. После долгих лет невостребованности неношеные кожаные

сапоги скукоживались, не налезали на ногу, китайскую шерстяную кофту поедала моль. Зато слежавшиеся штапельные отрезы, традиционные подарки домработницам ко Дню 8 марта, хранили девственность.

Десятилетиями носила экономная Аня залатанные, многократно заштопанные одеяния, не в силах расстаться с лохмотьями. Сбережения свои хранила в чулке, не потратила из них ни копейки. И это не фигура речи – деньги в чулке. Именно оттуда она извлекла их за год до смерти, когда решилась наконец-то попросить мою маму сходить с ней в сберкассу и положить деньги на сберкнижку. Об этой возможности она, может, и подозревала, но доверить горбом заработанные деньги государству не решалась. И всего-то через год достались тяжкие Анины денежки чужому человеку – нелюбимой невестке.

Не знаю, бывала ли Аня в церкви, но годами она мечтала о золотом крестике и после долгих сомнений купила в самом конце жизни. Но золотой крестик нуждался в золотой цепочке. А на цепочку потратиться Аня так и не решилась, и надеть крестик ей не пришлось. Вот такая вот недолгая жизнь, одна из многих…

Татьяна Гриценко
Девчонка – не жилец

Я, конечно, не помню, как приплыли мы с мамой на угольной барже в холодную осень 1942 года на пристань города Яхромы из эвакуации. По словам мамы, в замерзающую и голодную Кировскую область наша маленькая семья – мама и годовалый мальчик Вова – прибыла с потоком беженцев из города Калинина (Тверь). Папа был уже на фронте. Немцы подходили к городу, когда мама решилась все бросить и спасать своего сыночка и еще не родившуюся дочку Таню. Из имущества она взяла лишь маленькую металлическую ванночку, чтобы купать детей. Узелок с одеждой пришлось бросить. Все бросали вещи на обочину, потому что шли пешком по дороге к спасительной Волге.

Оставаться в городе молодой беременной женщине с малышом было опасно. Шли уже слухи о зверствах фашистов над мирными жителями. А она работал секретарем-машинисткой у Григория Максимилиановича Маленкова, который перед войной был переведен в Москву на партийную работу. Далее он работал уже в Кремле, в правительстве. Опасаться были все основания, ведь рабочие документы тогда стенографировались и перепечатывались на пишущей машинке, и мама многое что знала…

Из подробностей довоенной жизни мамы я помню все с ее слов.

Жила она в большой коммунальной квартире для работников обкома КПСС. Всего было жильцов вместе с детьми более двадцати человек. В основном это были молодые семьи партийных работников. В 1937 году начались аресты в городе. По малейшему подозрению, по ложным доносам, бесследно исчезали в тюрьмах знакомые мамы, родственники соседей и сами соседи. Мама с содроганиями и слезами говорила о том, как по ночам просыпалась от мотора автомобиля. Мотор работал громко, машина была крытой. Ее народ прозвал «черным воронком». По словам из песни о черном вороне, предвестнике смерти. От грохота кованых сапог по коридору просыпались все и с замиранием сердца ждали стука в дверь. Многие жили уже с чемоданчиками, где хранились вещи первой необходимости для тюрьмы. Через десять-пятнадцать минут приехавшие сотрудники НКВД уходили и уводили в неизвестность очередного соседа. Не было слышно ни криков, ни рыданий. Это было запрещено. Высовывать нос в коридор также не разрешалось. Все сидели по

своим комнатам и лишь по стуку каблуков догадывались, где они остановились и кого утром не досчитаются растерянные обитатели квартиры. Однажды увели и мамину подругу Бородачеву Машу. Утром громко заплакал ее проснувшийся пятилетний сын, все поняли, что скоро уберут и ребенка, сдадут в детский дом. Неделю соседи кормили мальчика и ухаживали за ним. Потом и Бореньку увели две тетки с погонами.

Люди жили в постоянном страхе за себя и детей. Страх этот преследовал соседей днем и ночью. Стали бояться что-то обсуждать и делиться переживаниями. Только с замиранием сердца ждали, чьи дети будут искать своих родителей в кладовой, ванной комнате, в туалетах и под столами в общей кухне? Люди перестали ходить в гости друг к другу, не собирались на праздники, не рассказывали анекдотов, вздрагивали от телефонных звонков и правительственных сообщений по радио. Маму после работы стали обыскивать, заставляли отчитываться за бумажные и копировальные листы, опечатывали ее машинку. А иногда заставляли отчитываться за телефонные звонки, которые она вела и принимала, как личный секретарь руководства областного комитета партии. Все эти манипуляции проводились под протокол, ее заставляли расписаться.

Но жизнь, как трава через асфальт, пробивалась на волю из-под грязной корки всеобщей подозритель-ности.

…Война 1941 года оборвала эту «спокойную» жизнь. Ушел на фронт папа. Мама осталась одна. Информация о военных действиях на фронтах была скупой и безрадостной. При первой же бомбежке в городе началась паника. Женщины, дети, старики покидали свои дома.

Людской поток устремился к Волге. Поезда не ходили.

Прошел слух, что началась эвакуация населения, все спешили на баржи, приготовленные для беженцев. Люди из города бежали с детьми и узлами. Вдруг, прицельно, немецкие самолеты стали бомбить дорогу, запруженную машинами, телегами и людьми. Мама говорила, что самолетов было так много, что небо было как черная решетка. Конечно, уцелели не все, про это она не могла говорить. Рев самолетов, разрывы бомб, людские крики тысячной толпы, раненые, убитые, потерявшиеся дети… все слилось в один сплошной кошмар!

В баржах из-под угля мама видела множество людей, почти потерявших рассудок. Так и поплыли под бомбами по холодной темной воде, то ли спасающей, то ли грозящей непоправимой бедой. И это был не фильм ужасов, а ужасающая действительность. Полуторагодовалый мой братик даже не плакал уже, а стонал. Думаю, мне внутри мамы тоже было

беспокойно и страшно, ведь я была семимесячным почти человечком, который содрогался от переживаний мамы.

Что ела, что пила, чем кормила малыша, как пряталась от дождя со снегом? Невозможно это себе представить? Как мама оказалась на маленьком причале после нескольких суток путешествия, она не помнит. Только поняла, что без помощи таких же несчастных людей, как она, все бы закончилось очень плохо.

Но зловещее слово «эвакуация» не сулило ничего хорошего. Самое же ужасное было то, что не было никаких известий с фронта. Лишь «сарафанное радио» твердило: отступаем, отступаем… немцы уже под Москвой, готовятся к параду на Красной площади!

При выгрузке беженцев с барж их распределяли по повозкам, запряженным лошадьми. Здесь, в далеком краю, уже выпал снег, был конец октября 1941-го.

Мама безучастно тряслась в повозке. Ее бил озноб. К своему телу она прижимала малыша. Он плакал и просил есть. А она лишь хотела пить, но не могла ничего спросить у сурового возницы. Снег, глухой лес, тряска на ухабистой дороге вызвали преждевременные роды. Вот когда открыл рот неразговорчивый мужик с бородой непонятного возраста. Он матерился, принимая роды, грязными тряпками заматывал семимесячное тельце. Я кричала, братик плакал, мужик начать выть и причитать, проклинал свою судьбу и войну. «И зачем я толь с вами связался?! Куда вас черти принесли?! Нам самим жрать нечего, видишь, по земле в лаптях ходим?!» А потом, жарко дыша маме в ухо, убеждал: «Спасай, дуреха, сына, девчонка – не жилец! Брось ее в сугроб за елку, волки съедят. У нас их тут много. Я никому не скажу.» Мама завыла по-собачьи. Умоляла не мучить ее разговором.

Через два часа пути мы были в маленькой глухой деревне Вятка Сунского района Кировской области. Наступала зима 1941 года.

В письме отцу на фронт мама напишет, что началась наша новая жизнь в чужом краю, «где люди так же суровы, как этот суровый заснеженный лес, окружающий деревню».

Во время родов у мамы поднялась температура. Ее с новорожденной дочкой положили в отдельную комнатушку, а братика унесли в другой конец стылого барака. Ни хлеба, ни еды не было. Только горячая вода с травами.

Пожилая санитарка сунула ей под подушку лепешку. Утром, отломив половинку, мама пошла навестить своего мальчика. Она нашла его… лепешка была не нужна. Он умер от холода, голода и

поноса. Все было вокруг него испачкано. За сутки в этой зловонной кроватке он умер никому не нужный, брошенный. Мама потеряла сознание, не могла вспомнить, как пришла ко мне. Вот я читаю письмо: «Не хочу жить! Единственное, что меня держит на этом свете, – другая маленькая жизнь!»

Сохранились письма папы и мамы, военная переписка двух любящих, молодых, измученных войной сердец! Более шести месяцев папа не знал, что потерял сына. Не мог даже узнать, как мое имя.

В эти ужасные первые месяцы войны наша армия то стремительно отступала, то двигалась вперед. Полевая почта не успевала доставлять письма.

Многие и в тылу и на войне не могли знать, что с ними будет. Уцелеют ли они сами, что будет с родными? А главное, за что им Бог послал такую муку?!

Но иногда в глухомань, где мы жили, доходили газеты. Именно, когда я родилась и мама думала, как меня назвать, под Москвой фашисты зверски замучили и повесили комсомолку-разведчицу Зою Космодемьянскую. Фашистам она свои данные не назвала. Сказала, что ее зовут Таней. Вот так, в честь этой девушки, я получила имя – Таня! Родилась я 25 октября 1941 года.

В избе, куда нас поселил староста деревни, было что-то вроде постоялого двора. Постоянно менялись проезжие возницы. На лошадях они везли продовольствие и зерно для фронта. Отдыхали и ехали дальше. По ночам мама спускалась с печки и искала хоть какую корочку хлеба или объедки. А попадались чаще всего окурки. Она курила, чтобы заглушить чувство голода и страха. Разные попадались мужики. Были причины их бояться. Мама была молодой, красивой, голодной и беззащитной.

Работы в деревне не было. На сутки нам давали по двести грамм черного хлеба и по четыре картофелины. На меня добавляли двести грамм овса. От этой каши из овса все пеленки были в колючках. Мама плакала, вытаскивая их. Ее приходилось жевать, эту овсяную кашу, выплевывая колючки. Но они все равно попадали мне в желудок. Грудное вскармливание было невозможно: мама голодала. Она рассказывала, что стала молиться и просить Бога о спасении нашем! Я часто думаю: «Господи, как хоть мы вообще выжили?!»

Вес при рождении у меня был – 1 кг 500 г. Ну а далее все как водится: рахит, простуды, гнойные отиты. Ходить начала с трех лет.

И большинство детей, рожденных в войну, были ослаблены. Имели небольшой рост, слух и зрение часто было плохими.

Возвращаться в Калинин (Тверь) мама не захотела. Ровно через год такая же угольная баржа доставила нас по Волге и каналу им. Москвы в город Яхрому, где жила мамина сестра. Тетя держала кур, поросенка и козу. Мама устроилась на работу, но еды все равно не хватало. Нужно было еще и одежду и обувь покупать или, точнее, менять на продукты. У тети был больной сын, его надо было лечить, доставать лекарства. В общем, хлебнули мы горя все «полной ложкой». Жили сестры без мужей. Сажали картошку, ходили в лес за дровами, носили их на себе. Мама целыми днями работала на фабрике. Но, несмотря на все эти подробности, я росла бойкой, подвижной и веселой девчонкой. И свои школьно-пионерские годы считаю самыми светлыми и счастливыми в моей жизни. Одежда с чужого плеча, ткацкие челноки вместо коньков, суп из дрожжей и воды потихоньку уходили из моей жизни.

Но до хорошей жизни, которую все ждали, было очень долго.

Родители у всех ребятишек с нашего двора работали. Целыми днями мы были предоставлены сами себе. Играли, ссорились, дружили, выходили гурьбой на промысел в поля и леса. Питались ягодами, щавелем, горчицей и другими травами. Бедные наши животы! Чего мы только не ели! Бывало и отравлялись, все было… Старшие мальчики и девочки «воспитывали» нас, малолетних. Думаю, что первые уроки выживания, чувство коллективизма и справедливости выработалось у нас именно во дворе и на улице. Да, никто из нашего двора не стал вором, пьяницей, бандитом, потому что у нас были старшие ребята, которые сами воспитывались в довоенное время в любви и заботе родителей, полных семей. Почти вся наша ребятня выучилась. Мы стали уважаемыми людьми. Хотя послевоенные годы продолжали оставаться очень трудными для наших родителей и для нас.

В моей семье, когда вернулся с фронта папа, и еды, и одежды стало появляться побольше. Но самой большой радостью для меня стали книги, которых у меня было очень много. Я рано научилась читать. А папа и мама учили меня думать о прочитанном, делать выводы. Я им бесконечно благодарна. Ведь не видели мы кино. Не было и телевизоров.

В 1953 году у меня появился братик. А в марте 1953 года умер И.В. Сталин. Хорошо помню школьные линейки, когда зачитывали бюллетени о его болезни. Потом мы срочно пришивали черные полоски на красные галстуки. В нашей школе было, наверное, около тысячи учащихся. И плакали все, вместе с учителями. Это был какой-то всеобщий сумасшедший поток слез. Мне было одиннадцать лет. Я почти ничего не понимала. Но ревела, как и все. Мальчишки из нашего класса собрались ехать в

Москву на похороны Сталина. Их отлавливали учителя на станции Яхрома. Они как бы предчувствовали, что прощание с вождем обернется всеобщей давкой. В этой многотысячной толпе очень многие были раздавлены и погибли. Наши одноклассники остались живы.

С этой весны в нашей семье опять началась полоса невезенья, горя и бесконечные мамины слезы. Мы потеряли отца. Брат Саша родился инвалидом. Перенесенные им операции и полуторагодовое пребывание в гипсе не помогли. Ходить он начал на четвертом году жизни. В детский садик его не брали. Мама работала на двух работах. Каким-то образом более двух лет мы с ней по очереди сидели с ним. Его маленькое тельце от плеч до голеностопов было заковано в гипс. Поднять я его не могла. Гипс был очень тяжелым, громоздким, ужасным по форме. Лежал Сашенька день и ночь на чертежной доске. В теплую погоду выносили стол на улицу, и я сидела около него часами. В один из погожих солнечных дней мама выбежал к нам на улицу очень взволнованная. Она громко кричала, что, оказывается, Берия – предатель! Господи, не могла я с ней разделить ее волнение! Я только спросила: «А Берия – это тетенька или дяденька?!» И мама замолчала, погладив меня по голове.

Снова мы стали очень нуждаться. Денег не хватало ни на что. Опять чужие платья, ботинки, рваные до дыр, и бесконечные думы о еде. Есть хотелось постоянно. Мама сажала и продавала картошку. Ходила по утрам в лес за грибами, за дровами и за травами для заварки чая. Меня тошнило от супа с селедочными головами. В школу я ходила с куском черного хлеба.

Мама придумала «бизнес». Она нарвала полное ведро полевых цветов. Всю ночь мы вязали с ней букетики. С первым поездом мама уехала в Москву, продавала там цветы. Я очень ее ждала. Ведь она обещала купить конфет за мою «работу». Я сидела целый день с братом. Вернулась она заплаканная с пустым ведром и штрафом за безбилетный проезд, так как ничего она не могла продать и ехала обратно без билета. Как же смогла мама нас вырастить в шестиметровой комнате с удобствами во дворе? А ведь кроме кроватей в комнатке была печь. Она занимала очень много места. Топила ее мама дровами и тоже плакала, то ли от дыма, то ли от горя?

Мама стала очень нервной. Частенько мне от нее доставалось, потому что я была очень озорной и бедовой девчонкой. Фактически жила на улице. Старалась убежать из дома. Занималась горными лыжами, ходила в городской хор и в студию по рисованию. Никто меня никуда не устраивал, я везде устраивалась сама.

Когда учила уроки? Не помню, да и учила ли? Школьные науки давались мне легко.

Подростком, в пятнадцать лет, я стала стесняться своей внешности и одежды. Кроме бани, не знала никаких возможностей ухода за собой, только баня и кусок хозяйственного мыла. Девчонки стали стричь друг друга. Выходило это смешно, глупо, и от этих стрижек мы плакали. Спасало то, что у меня были кудрявые волосы. Мы стали ходить с подружками на каток и на танцульки. Приходилось нам меняться и платьями, и туфлями, потому что танцевать на асфальте в дырявых туфлях было очень больно: пальцы стирались до крови. Одна сидела, а другая танцевала, по очереди. В основном так жили все мои подружки. Шел 1959 год. Трудности в семье продолжались.

Выпускной десятый класс закончила хорошо. Выбирать, где учиться, возможности не было. А я мечтала об институте кинематографии. Хотела быть художником-мультипликатором. Но тетя сказала: «Будешь медсестрой, как я. Иначе помогать деньгами не буду». Я выучилась, работала, старалась, все у меня получалось. Это была моя юность. На работе мы сдружились с Лилечкой, дружим уже пятьдесят лет.

Уже имея ребенка и будучи замужем, закончила я педагогический институт. Работая в школе с детьми, я стала понимать, что это настоящее мое призвание. Эти годы были для меня тоже очень счастливыми! Я очень любила детей и школу.

Мама же сделала все, чтобы мой брат Саша закончил музыкальное училище. Она понимала, что ему с инвалидностью будет очень трудно состояться в жизни.

Она немного не дождалась его диплома с отличием. Болезнь и вся ее мучительная жизнь отняли у нас маму.

Это сейчас государство стало немного заботиться об инвалидах. А тогда… на областном музыкальном конкурсе исполнителей Саша получил диплом лауреата и приговор: «Для профессиональной сцены не пригоден! Инвалид!» Ему было двадцать два года, совсем молодой человек, и такое услышать! Я в первый раз увидела его слезы. Ведь он прощался с музыкой, со своим любимым баяном! Но брат не сломался, выстоял. Он окончил Институт культуры и много лет работал в культуре Дмитровского района. Был и руководящим работником. Его энергией в работе можно было только восхищаться. Он был хорошим отцом, мужем и братом! Его успехами и умением преодолевать трудности, боль и невзгоды я очень горжусь! Он был моим первым другом, советчиком и помощником!

P.S.: В наши дни я не могу слышать разговоры о современной

жизни, о голоде, холоде, разрухе и несправедливости. Жизнь вообще всегда очень сложная вещь! Вечны справедливые слова русского писателя: «Разруха начинается в головах!» Да, трудно, да, обидно иногда! Я не вижу голодных, упавших на улице людей. Если они и падают, то чаще всего от пьянства и прочего безобразия! Кто хочет, тот работает! Моя пенсия средняя, я так же, как многие, попала под пресс дефолта, потеряла свои сбережения в сбербанке. Были силы – двенадцать лет работала на пенсии. Жизнь научила меня трудиться, жить по средствам и оставаться человеком. Этим я обязана родителям, учителям, трудовым коллективам и верным друзьям. Я рада, что смогла научить этому моего сына! Мы вместе видим, как расцвел наш Дмитров, как много на улицах машин, молодых семей с детьми, как несмотря ни на что, поднимается к новому и лучшему наша страна.

Все вместе, россияне многое преодолеют, смогут и сделают!

Галина Пиевская (записала Анна Агнич) В Тбилиси и в Киеве

День Победы застал нашу семью в Грузии. Папу после ранения на фронте и госпиталя послали в Тбилиси, и мы с мамой к нему поехали. Добирались мучительно, остались без багажа, заразились малярией. Пришли по нужному адресу, на проходной нас не пускают, воинская же часть. А мы так измучились, еле стоим. Выходит папа. Смотрит на нас и говорит:

– Кто меня спрашивает?

Мама, ей сорок лет, а она седая, вот как я сейчас. Мне тринадцать было, я тощая, косы завшивлены, ноги стерты в кровь, платьице, сшитое мамой из простыни. Мне так обидно стало, я крикнула:

– Папа!

До сих пор помню его лицо тогда. Он пошел к своему командиру, рассказал, что и как, сказал, что мама была медсестрой в Чапаевской дивизии. Нашу семью эта история всю жизнь выручала в разговорах с начальством.

Пустили нас на территорию в красный уголок отдохнуть. Папа принес поесть, мы голодные были. Назавтра нам с мамой дали общежитие, койку в комнате с еще одной женщиной. Ну вот, с жильем устроились, а есть нечего, и одежда только та, что на нас. Мама скоро нашла работу, за свиньями ухаживать. Это было хорошо, потому что свиней кормили жмыхом, и маме разрешали брать немного домой для меня.

Мы пошли в сероводородные бани и встретили там бывшую соседку – до войны в одной квартире жили. Она поделилась с нами чем могла, немного нас приодела. За соседкиной сестрой ухаживал директор ремесленного училища, и меня по знакомству в это училище определили. Туда брали с четырнадцати лет, а мне тринадцать, но я рослая была. Пошла к врачу, прибавила себе год, и врач выписал метрику, будто я на год старше.

В училище выдавали форму и кормили, хотя еда в столовой была неважной, гнилая тюлька и какая-то баланда, но я все это охотно ела, особенно поначалу. И еще я получала большую пайку хлеба, самую большую, что была тогда, такую давали только рабочим. Свой хлеб я прятала в карман – для мамы. Вечером шла домой, не выдерживала и отщипывала понемножку, по крошечному кусочку. Пока дойду, все съем. Ни разу маме не принесла, как ни давала себе слово, что сумею удержаться, но

голод все пересиливал.

Сначала я была в слесарном цеху, подпиливала железки в тисках напильником. Потом меня поставили на выдачу инструментов, но я на станках понемногу работала, на фрезерном и строгальном. Мне интересно было, я любила механизмы. Потом послали на курсы мастеров, а знаний у меня никаких, до войны успела закончить пару классов, могла умножить два на два – и все. Но курсы кое-как закончила, мне подружки помогали, ну и я старалась.

Все было хорошо, но тут начались приступы малярии. Я этих приступов боялась, как пытки: температура под сорок, тошнота и боль, все тело болит. Хину принимали, я была желтая, как вот краска на дорожных знаках. Мама еще сильнее болела, ее забрали в больницу, я одна осталась.

Папа демобилизовался и уехал в Киев, а мы все сидели в Тбилиси, меня не отпускали из училища, пока не отработаю положенный срок. Наконец папа прислал вызов, и меня отпустили.

В Киеве наши комнаты на Чкалова были заняты начальником госнадзора, папа пытался отвоевать, он боевой был, но даже у него не вышло, и нам дали другую, поменьше, но тоже хорошую, на Пушкинской. Напротив был лагерь военнопленных, мама пошла к ним медсестрой. Ей знакомые говорили:

– Как ты можешь фашистов лечить? Они же твою семью убили!

Моя бабушка, мамина мама, не захотела эвакуироваться из Киева, она говорила, что немцы никого не тронут, это приличные люди, она их знает с прошлой войны. Бабушка и три ее дочери, сестры моей мамы, все погибли осенью сорок первого.

Но мама все равно жалела пленных, они же не по своей воле пошли воевать. В лагере были мадьяры, их выпускали в город, мама часто брала одного или двух под свою ответственность к нам пообедать. Я на свои карманные деньги покупала хлеб и носила пленным. Там мальчик один в охране стоял, я ему нравилась, он передавал мадьярам, что я приносила. Еще в лагере были эсэсовцы, но я их не видела, их за ограду не выпускали.

В нашей семье не было проблем с продуктами, друзья и родственники все праздники отмечали у нас. Папа работал на строительстве, был очень хозяйственным, в дровяном сарае вырыл погреб, закупал на зиму картошку, морковку, лук. Соления заготавливал бочками: помидоры, огурцы, капусту.

Вот парень на фотографии, который без усов, его отец был директором завода, жили они на Круглоуниверситетской, мы с друзьями в их квартире собирались к экзаменам готовиться. Там

был патефон, можете себе представить, какие это были веселые занятия. Но ничего, экзамены сдавали. Мы с этим парнем ходили на бессарабский рынок, покупали что-нибудь и приносили на наши сборища, чтобы ребят подкормить. Многие наши друзья куска хлеба не видели лишнего.

Мама и папа относились к друзьям, как к родным. Мои родители взяли к нам девочку из нуждающейся семьи, она прожила у нас пять лет, пока замуж не вышла. Из Тбилиси тоже приехала девочка с родителями, жили у нас год, пока не устроились.

Нищих было много в Киеве, иду мимо, дам какую-то копейку. Инвалидов тоже было много, безногие ездили на самодельных тележках. Они пенсии получали, но что там те пенсии. Папа тоже получал, но еще и работал. Потом его рана зажила, пенсию сняли, а нога долго болела, и хромал он всю жизнь.

Жаль, что я не расспросила, как папу ранили, и о довоенной жизни, и о многом другом. Как мама попала в чапаевскую дивизию, тоже не знаю. Не спросила вовремя, а теперь уж что, теперь уж некого спрашивать.

Алексей Турбаевский
Мой улыбчивый папа

Папа закончил школу в 1941-м, но его аттестат с отличием сгорел при первой же бомбежке Смоленска. На фронт он не попал из-за зрения минус 10 диоптрий (слишком много читал). В записной книжке, которую он вел в выпускном классе и которая не сгорела, заглавия почти 360 прочитанных за год книг – по книге в день. Тексты всех книг запоминал дословно.

Это наследственное… Живущая сейчас в Смоленске родная тетка, папина сестра, до сих пор в любую секунду может начать рассказывать «Витязь в тигровой шкуре» на языке оригинала от начала до конца. Причем грузинский не учила, а просто приятель, носитель языка, лет шестьдесят назад объяснил грузинскую фонетику накануне какого-то крупного торжества. Тетя Лиля прочитала великое творение Шота Руставели, чтобы удивить гостей, и все… По словам очевидцев, многие гости не могли сдержать слез. С тех пор ее считали своей и звали на любые грузинские застолья как почетную гостью.

Так что из-за папиной любви к литературе отдуваться на фронте пришлось деду. Если бы таких, как мои родичи, было поболе, ЭВМ не надо было бы изобретать: со своей феноменальной памятью и тонким слухом дедушка Миша мгновенно запоминал тексты, фамилии, лица, фотографии, агентурные сведения… Язык для него не имел значения – запоминал все, причем раз и навсегда. По этой причине в 1939–1940 годах его забрасывали на территорию Польши для сбора оперативных материалов на содержавшихся в советских лагерях польских военнопленных. Так дед стал участником расстрела польских офицеров в Катыни в 1940 году – нет, не стрелял, но держал в руках документы на всех поляков во время этой страшной экзекуции. И хотя не мог даже предположить, что все, на кого он готовил материалы, будут расстреляны, всю жизнь, до самой смерти, испытывал угрызения совести и всем родным категорически запретил сотрудничать с органами, хотя и тетю Лилю, и папу неоднократно пытались вербовать. Вероятно, поэтому, когда фашисты подходили к Смоленску, дед отказался двигаться вслед за документами НКВД в Алма-Ату и направил туда своего заместителя по фамилии Мошинский – тот с радостью поехал. А дед записался на фронт, на передовую, в самое пекло. Так сказать, чтобы достойно встретить смерть. Но не срослось, был только контужен под Сталинградом… Был

начальником военной контрразведки (СМЕРШа) на Сталинградском, а потом на 2-м Украинском фронтах. После войны Мошинский вернулся в Смоленск и в чине генерала довольно неплохо жил напротив того полуразвалившегося барака на 2-й линии Красноармейской слободы, в котором почти двадцать лет проживали мой дедушка и все мои родичи-смоляне.

С начала войны папа попал в агитбригаду, которая ездила с концертами по госпиталям Поволжья, – читал стихи, пел под семиструнку. В 1942 году в Башкирии его задержали коллеги деда, не горевшие желанием, как Мошинский, отправиться на фронт, и на всякий случай направили эшелоном с немцами Поволжья в Североуральск, на бокситовые рудники. Там папа стал слесарем по ремонту вагонеток. Он и еще пятеро вольнонаемных вместе с заключенными работали в шахте «Красная шапочка» по двенадцать-тринадцать часов в день. Так как аттестат зрелости у папы сгорел во время бомбежки в Смоленске, он поступил в вечернюю школу при концлагере. Немецкий им преподавал старик-профессор, который считал, что русские не способны выучить немецкий язык и получить оценку выше «удовлетворительно». Но вынужден был отступить от своего принципа: по завершении учебы мой папа был единственным среди всех, в том числе и самих немцев, кто имел «отлично» по немецкому, поразив профессора тем, что знал наизусть всего Генриха Гейне…

Когда я пошел в школу, этих подробностей про папу еще не знал. Мои деды были герои, оба с орденами и медалями, а у папы – ничего, хотя его возраст соответствовал первому военному призыву. И вот накануне Дня Победы, когда в школе назревала встреча с ветеранами, меня по приходу из школы обступили приехавшие из Одессы на майские праздники мамины бабушка и дедушка и начали странный разговор. Дедушка сосредоточенно молчал, а бабушка вдруг очень серьезно сказала: «Алексеюшка, у нас к тебе есть одна большая просьба – пожалуйста, никогда не расспрашивай папу о войне». Я от изумления вздрогнул, и в голове мелькнули нехорошие подозрения… Бабушка почувствовала это и быстро уточнила: «Нет-нет, ты не думай, во время войны он был в тылу, работал на шахте и даже получил медаль “За доблестный труд”. Только не успел ее получить – уехал поступать в институт. Просто… работа у него была такая, что ему очень тяжело все это вспоминать». Надо сказать, что папа мой был необычайно веселым и улыбчивым по поводу и без – на его лице всегда была как бы застывшая улыбка со складками в уголках губ. Увидеть грустным его было невозможно. Даже после возвращения из Смоленска с похорон своей мамы, моей бабушки,

он шутил и рассказывал веселые истории, меня это даже несколько покоробило.

Только потом я понял, почему он был таким улыбчивым. Надо сказать, несмотря на все предупреждения, я пытался несколько раз расспрашивать папу о войне – улыбка сразу исчезала, лицо становилось серым, он замолкал или говорил отрывисто и раздраженно. Но благодаря тому, что папа рассказывал взрослым, мне удалось по крупицам сложить картину того, что он пережил. Все было просто: каждую смену он поднимал на своих вагонетках трупы погибших и умерших в шахте людей, с которыми общался, учился, дружил. Иногда умерших было до ста пятидесяти человек. И так каждый день, с 1942 по 1946-й. А эшелоны снова и снова доставляли в Североуральск немцев Поволжья… Кормили настолько плохо, что по дороге из общежития вольнонаемных, которое находилось за колючей проволокой на довольно большом расстоянии от шахты, всех неоднократно грабили. Не трогали только папу по той причине, что он в любую погоду (а морозы достигали минус 45) ходил в одном пиджаке. Конечно, не только из-за бедности, а еще и потому, что его организм легко привык переносить холод. Но грабить этого сумасшедшего не решались… Гораздо позже, работая в одесском океанографическом институте, папа начинал свой плавательный сезон с первым морозом и в обед бегал на пляж искупнуться, удивляя своим видом мерзнущих сослуживцев.

Судьба пятерых вольнонаемных, с которыми папа начинал работать, сложилась трагически. Двое от отчаяния сбежали; по слухам, их быстро нашли, но на рудник не вернули. Один погиб в шахте. Еще двое самым банальным образом сошли с ума, и их куда-то увезли. Больше папа о них ничего не слышал. Он остался один на один со своей памятью. Все свободное время писал стихи и делал переводы – и улыбался, чтобы самому не сойти с ума. А еще папу регулярно вызывали на разговоры местные мошинские: расспрашивали о дедушке Мише, выясняли его настроение. Что дедушка писал с фронта, они, разумеется, знали, но им этого не хватало, или просто хотели завербовать «по-родственному». А в ответ папа улыбался… Так все это стало потребностью: улыбаться и писать стихи для себя. Иногда они потом доставались и маме, но большая их часть так и осталась в записных книжках.

Война закончилась, но не для заключенных концлагеря. В 1946 году папе наконец дали паспорт и разрешили выезд. Он сунул свои записные книжки в чемоданчик и рванул на перекладных в Москву поступать в только что открывшийся Институт международных отношений (МГИМО) на международный факультет – мечтал стать дипломатом. Но

документы у него не взяли – сказали, что если бы дедушка Миша был не подполковником КГБ, а полковником, то есть советской номенклатурой, тогда было бы другое дело… И папа поехал в Одессу, поступил в метеорологический институт и стал гидрологом.

Прошли годы. Когда в конце восьмидесятых лиц, награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», приравняли к ветеранам, предоставив им соответствующие льготы, я решил, не предупреждая родичей, восстановить справедливость и написал письмо о той медали в Свердловский облисполком. Через некоторое время пришел удивительный ответ: мне подтвердили, что мой папа, Казаков Владимир Михайлович, действительно был награжден этой медалью в 1946 году, но не получил ее. А дальше потянулись долгие месяцы молчания – и ничего не происходило. Примерно через полгода я написал по этому поводу резкое письмо в «Правду». Реакция печатного органа ЦК КПСС была скорой: мне сообщили, что виновные в задержке награждения наказаны и что моему папе в течение месяца, как раз к майским праздникам, дадут медаль и все остальные юбилейные награды, вручаемые ветеранам к Победе на круглые даты. Так случилось, что после этого письма я оказался проездом в Свердловске и решил сам забрать награды. Начальник наградного отдела встретила меня с достоинством – не лебезила, хотя кровь я им попортил основательно, и сказала: «Вы знаете, что произошло? Все архивы Североуральска сгорели… – она выдержала паузу, за которую я слегка онемел, – …но совершенно случайно наградной лист вашего отца остался цел». И с профессиональной торжественностью вручила мне папины награды.

Случайностям я не верю – это закономерности более высокого порядка, даже когда все гибнет в огне и остается лишь один нужный клочок бумаги. Но в интонации чиновницы явственно слышалась ложь. Мне кажется, архивы не сгорели. Просто они оказались настолько страшными, что с ними пытались что-то сделать, когда возникла необходимость обратиться к архивным документам по поводу моего отца. И до сих пор никто и нигде не поднимал вопроса, сколько наших, советских людей, немцев Поволжья, погибло в шахтах Североуральского бокситового рудника (СУБР) «Красная шапочка» за годы войны.

Леонид Чачко
«В Германии, в Германии, в проклятой стороне…»

Лев Николаевич Толстой где-то сказал, что помнит, как его крестили. Тристрам Шенди вроде бы помнил момент своего зачатия. Мои первые воспоминания относятся к периоду, когда мне было два года.

Был сорок второй год. Мы с мамой жили в семье дедушки в Кузнецке, куда эвакуировался киевский завод «Арсенал». Дедушка и его дочери – мои тетки – работали на «Арсенале», были вывезены с семьями в Кузнецк осенью сорок первого года и таким образом избежали Бабьего Яра. Мама со мной отдыхала летом этого года под Киевом, в Пуще Водице, а папа проходил военные сборы. Поэтому с началом войны мы с мамой прибились к многочисленной семье дедушки, а папа «пошел на войну».

Я помню большую комнату, разгороженную тряпичными занавесками на отдельные клетушки, в которых располагались дедушка с бабушкой, тетя Маня с сыном, тетя Феня с дочкой, тетя Хана с дочкой и мы с мамой. Мужчины воевали. Мне было весело и интересно. Помню, как я разгуливал по двору с деревянным ружьем, которое мне сделал в модельном цехе дедушка, и объяснял интересующимся, что мой папа «бьет фашистов».

Следующее мое воспоминание относится уже к Средней Азии, к сорок третьему году. Московский иняз, в котором училась мама, был эвакуирован в Фергану, где я пошел в детский сад, а мама, вместе с остальными студентками, по мере сил помогала дехканам выращивать разные полезные растения. Кормили нас там, по-видимому, исключительно плохо, потому что когда мы с мамой наконец в сорок четвертом году возвращались в Москву, я был в состоянии сильной дистрофии. Из среднеазиатских впечатлений в памяти сохранилась лишь картина, как я стою у колодца и горько плачу, потому что в этот бездонный колодец упала моя прекрасная тюбетейка.

В Москве меня, благодаря отцовским литературным связям, устроили в литфондовский детский сад. Сад располагался в Переделкино, на даче Веры Инбер. Мы с мамой выходили из дома часов в шесть утра, мама брала меня на закорки (у меня из-за дистрофии развилась куриная слепота, и я по утрам плохо видел), мы садились в метро и ехали до Киевского вокзала, где меня забирал автобус, а мама бежала на работу. В детском саду меня лечили от дистрофии разными дефицитными продуктами,

както: цветной капустой, гречкой, рыбьим жиром и витаминами. По-видимому, это помогло, потому что вскоре я избавился от своей куриной слепоты, но надолго приобрел неприязнь к упомянутым продуктам. Кстати, с нашими с мамой поездками в метро связано одно воспоминание, которое долго воспринималось мною как дежавю: одна станция, где мы делали пересадку, по архитектуре сильно отличалась от остальных станций метро. После войны, став взрослее и разъезжая в метро, этой станции я нигде не встречал. И лишь в шестидесятые годы, когда построили новую Филевскую линию метро и на этой линии вновь открылась станция «Библиотека Ленина» (теперь это станция «Александровский сад»), я узнал загадочную станцию своего детства.

Из событий того времени помню салюты, которые часто давались в честь освобождения разных городов, и особенно салют в честь Победы. Перед нашим окном в ночном небе плыл большой аэростат заграждения, под которым развевалось огромное знамя, подсвеченное прожекторами. Мы с мамой вышли гулять на Красную площадь, заполненную ликующим народом. Военных хватали и подбрасывали в воздух. Мне было радостно. Скоро должен был приехать мой легендарный папа.

Примерно с этого времени мои воспоминания стали непрерывными: я помню все подряд, что-то более подробно, а какие-то моменты из памяти ускользают, причем некоторые давно прошедшие события вспоминаются ярче, чем недавние.

* * *

После окончания войны отец остался служить в оккупационных войсках. В звании майора он работал в армейской газете в Веймаре. В декабре сорок пятого года мама получила разрешение выехать к отцу в Германию. Мы летели в Берлин на десантном «Дугласе» с дюралевыми скамьями вдоль фюзеляжа. Летчики завели меня в пилотскую кабину, закармливали шоколадом, давали подержаться за штурвал. Помню приборную панель с массой циферблатов…

Самолет сделал промежуточную посадку в Кенигсберге, и я увидел ровное поле до горизонта, покрытое слоем битого щебня. Еще полгода назад здесь шли тяжелые бои. Следующая посадка была в Берлине, на аэродроме Темпельхоф. Из-за какой-то путаницы папа встречал нас на другом аэродроме, и приключилась изрядная паника, но в конце концов мы нашлись и встретились, к радости всех действующих лиц, в том числе и к

явному облегчению коменданта аэродрома. По рассказу мамы, я не сразу привык к тому, что этот большой дядя в шинели, с колючими щеками – мой папа, но я этого не помню. Мы погрузились в «Виллис» с автоматчиком (было еще небезопасно – кое-где постреливали) и через ночной раздолбанный Берлин, где отчетливо пахло гарью и в лучах фар мелькали силуэты разрушенных домов, по великолепным дорогам Германии помчались в город Веймар.

Первые несколько дней, пока решался квартирный вопрос, я прожил у соседей немцев. Как я с ними общался – не знаю, наверное, жестами. Соседка немка была женщина добрая, она потом долго еще помогала матери по хозяйству, пока мама, со свойственными ей решительностью и демократизмом, не ликвидировала институт домработниц. Наконец мы получили в свое распоряжение уютный двухэтажный особняк, с деревьями во дворе и стеной, заросшей диким виноградом. Долгое время мы оставались в числе немногих советских семей в гарнизоне, и мама держала открытый дом для офицеров – товарищей отца. Приходили на огонек вечерами, заходили пообедать в выходной день. Помню, как готовились к первому празднованию Нового года, – клеили по выкройкам из «Огонька» самодельные елочные игрушки (я лично склеил цепь из цветной бумаги, потом эта цепь еще долго служила нам елочным украшением). На новогоднюю елку собралось за столом человек двадцать.

Еще собиралась компания из нескольких человек у приемника, старались со слуха записать новые песни. Помню, как была записана песня: «Давно мы дома не были – шумит родная ель, как будто в сказке-небыли, за тридевять земель…» И еще: «… зачем им зорьки ранние, коль парни на войне, в Германии, в Германии, проклятой стороне…» У некоторых на глазах блестели слезы.

Первый год у меня почти не было русских приятелей – моего возраста были только жившие по соседству мальчик – сын старшины и девочка – дочка генерала. Поэтому в нашей компании преобладали немецкие дети. Я очень быстро научился говорить по-немецки, говорил свободно и частенько помогал родителям в качестве переводчика (правда, папа мог обходиться и без моей помощи – он говорил с немцами на *идиш*, и они его понимали). Играли мы с немецкими детьми вполне мирно, я не помню ни одного случая межнациональной розни. Папа частенько выкатывал свой мощный мотоцикл с коляской, сажал нас, человек пять, вповалку и вез кататься за город. Потом немцев из нашего района выселили, образовался советский военный городок, ко многим военным приехали семьи, появилась у меня русская

компания, и я постепенно стал немецкий язык забывать. Сейчас я, к сожалению, совершенно его не помню, и лишь иногда, откуда-то из подсознания, вдруг выскакивают немецкие слова и целые выражения.

* * *

Итак, отец служил в армейской газете, мать ждала ребенка. У меня было мало друзей, и мне было скучновато. Папа решил меня порадовать. На Новый год он подарил мне маленького щенка. Разумеется, щенок должен был вырасти в великолепную немецкую овчарку – отец специально поехал в питомник и заплатил за щенка немалые деньги.

Ни о каком домашнем содержании щенка не могло быть и речи – родители были почему-то уверены, что собака должна знать свое место, а именно – во дворе. Щенку соорудили во дворе будку, и я стал его воспитывать. По части воспитания щенков я имел ясные представления – в конце нашего переулка жил капитан, у которого был громадный сенбернар. Этот сенбернар делал все: он по команде носил поноску, лаял и даже, подпрыгнув вверх метра на два, повисал на ветке и висел на ней, сколько хотелось хозяину. Понимая, что таких результатов достичь сразу не получится, я все же старательно занимался дрессировкой. Кроме того, я выносил щенка на улицу и мы – ребятня – с ним играли.

Постепенно щенок подрос. У него почему-то уши не торчали вверх, а висели лопушками, а хвост завивался колечком, но он был очень мил и охотно с нами играл. Мои друзья очень мне завидовали. Однажды утром, выйдя во двор, я обнаружил, что щенка украли, – ошейник на цепочке был расстегнут, а щенка не было. Горе мое было велико. Через некоторое время выяснилось, что щенок обитает в соседнем доме, у моей подружки – дочки генерала. Сдавшись на мои уговоры, мама пошла к соседям и вытребовала щенка обратно. Снова началась счастливая жизнь. Но вскоре похищение повторилось. Теперь уже не составило труда определить похитителя. Мама весьма неохотно подчинилась моим требованиям и пошла за щенком. Так повторялось несколько раз. Щенка похищал ординарец генерала по просьбе генеральши. Наконец было достигнуто соглашение, что щенок будет проводить какое-то время у меня, а какое-то – у соседки. Ситуация осложнялась лишь тем, что у меня он звался Барсик, а у генеральши – Рекс.

Однажды мы с соседкой играли со щенком на улице и в

очередной раз затеяли разборку, у кого ему жить на этот раз. Щенку это явно надоело. Он посмотрел на нас, спорящих, повернулся и потрусил вдоль по улице. Я стал звать Барсика, соседка – Рекса, мы пытались его догнать, но он все прибавлял ходу и вскоре исчез за поворотом. Больше я его не видел. Так я впервые в жизни столкнулся с предательством.

* * *

Моя детская компания вела жизнь казацкой вольницы – у каждого был велосипед, и мы раскатывали по всей округе. А округа, надо сказать, была замечательная. Наш военный городок располагался на зеленой окраине Веймара. В паре кварталов от нас находился живописный Гёте-парк с вековыми деревьями, ручьем, весело пробиравшимся между замшелых валунов, со старой мельницей. Мы играли в парке, носились по аллеям на велосипедах, пускали в ручье кораблики. Другой важный аспект нашей детской жизни составляли игры в войну. Мы все были дети войны, все были «советскими солдатами», и никто не хотел быть «немцем», приходилось как-то выкручиваться, находить сложные сюжетные ходы. Другой особенностью наших игр было наличие настоящего оружия. Хотя в Веймаре не велось активных боев, оружия той или иной степени исправности у нас хватало. Помимо ржавых погнутых винтовок и штыков мы находили порой и вполне исправное оружие. Так, мама у меня раз отобрала вполне работоспособный эсэсовский кинжал, а исправный маленький пистолет, правда без патронов, я с выгодой обменял на десять перышек «рондо». Кроме того, у многих из нас имелись духовые ружья. С таким ружьем был связан один трагикомический эпизод.

В нашей компании у меня был «командир» – мальчик лет десяти. Однажды вечером он вызвал меня из дома условным свистом. Он был с духовушкой и объяснил, что мы отправляемся на боевую операцию. Мы залегли на улице за живой изгородью и стали ждать «противника». Вскоре на противоположном тротуаре показалась женщина с хозяйственной сумкой, явная немка. Приятель приложился к ружью, выстрелил и точно угодил жертве в нижнюю часть спины. Вслед за звуком выстрела раздался дикий крик, от дома напротив – жилища генерала – выскочил часовой и дал очередь (видимо, в воздух), но мы уже убежали. К расследованию эпизода подключился политотдел армии, моего приятеля быстро нашли (за ним уже числились и другие подвиги) и вскоре отправили домой, в Россию. Меня тоже как-то нашли, и отец меня первый и единственный раз выпорол ремнем.

Боеприпасы находились везде – на огородах, на чердаках. Патроны мы взрывали в роще за городом, втыкая пулей в землю и разводя над ними костер. Из снарядов выковыривали тол и поджигали – он прекрасно горел, выделяя густой смрадный дым. Однажды мой приятель нашел сигнальную ракету, выковырял из нее порох и поджег. Вспышка была неожиданно сильной, ему обожгло лицо: слава богу, обошлось без увечья.

Советский военный городок располагался на окраине, в районе коттеджей, принадлежавших служащим невысокого ранга и рабочей аристократии. Было много садовых участков и огородов. Мы, русская малышня, частенько устраивали набеги на эти сады, совмещая обыкновенное ребячье мародерство с игрой в войну. На облюбованный участок пробирались скрытно, с предварительной разведкой территории. Случалось, однако, что нас в процессе нападения заставал хозяин. Тогда в противника, под крики «За Родину, за Сталина!», летели яблоки и груши, и враг отступал.

В доме, где мы жили, был большой чердак, куда я довольно скоро проник, подобрав ключ из родительской связки. На чердаке было много интересных вещей, оставленных уехавшими хозяевами. Так, я нашел настоящую рапиру с большой медной гардой (видимо, из студенческих времен фрица-хозяина). Но больше всего меня интересовала игрушечная электрическая железная дорога. Я частенько забирался на чердак и часами играл в эту дорогу. Но однажды появился бывший хозяин особняка и, с разрешения отца, забрал *мою* дорогу. Как я переживал из-за этой *несправедливости*!

В квартале от нас располагался большой дом, к которому меня неизменно влекло любопытство. В нем обитали красивые молодые женщины, и к ним иногда приезжали в гости военные – американцы. Американцы прикатывали на джипах, набиваясь помногу в одну машину и горланя песни (дело в том, что Веймар первоначально входил в американскую зону оккупации и отошел к нам по позднейшему соглашению). Женщины, обитательницы загадочного дома, относились ко мне очень ласково и угощали конфетами. Однажды я похвастался маме, какие у меня появились знакомые, и очень был удивлен, когда мама строго-настрого запретила мне приближаться к этому дому.

Однажды папа повез нас с мамой на экскурсию в замок Вартбург. Сказочно красивый средневековый замок, где, по преданию, Мартин Лютер сражался с чертом, произвел на меня неизгладимое впечатление. К тому же у подножья замковой горы меня покатали на ослике! На обратном пути шофер показал нам группу строений, расположенных в стороне от дороги, и произнес

непонятное слово «Бухенвальд». Он предложил заехать туда, но мама наотрез отказалась.

В сорок седьмом году в городе открылась русская начальная школа, куда я поступил учиться в первый класс. Школа помещалась в здании, где раньше была немецкая, во дворе был вырыт глубокий ров на случай бомбежки, мы там играли на переменках. Сорок седьмой год отмечен и еще одним важным событием – у меня родился брат. Маме нужны были фрукты, творог, молоко. Папа часто отправлялся в снабженческие экспедиции к окрестным крестьянам – бауэрам – и брал меня с собой. Эти перемещения по завоеванной стране были, по-видимому, вполне безопасны – я помню только один случай, когда папа, отправляясь на несколько дней в командировку, испытывал за нас беспокойство и оставил маме свой «ТТ» (кстати, пистолет оказался во вполне надежных руках – мама была в молодости ворошиловским стрелком). Слухи о якобы действующей в подполье немецкой террористической организации «Вервольф» распространяла, скорее всего, наша контрразведка для повышения бдительности.

Мама тяготилась жизнью в Германии, ее тянуло домой. Папу же устраивала комфортная жизнь в благо-устроенной стране, он не очень стремился вернуться в скудный быт московской коммуналки. Семейным дискуссиям положил конец сорок девятый год – начальство решило отправить всех советских граждан, членов семей военнослужащих, на родину. Мы ехали в Москву малой скоростью, подолгу останавливаясь на небольших станциях. После пересечения советской границы поезд остановился на каком-то полустанке под Оршей. Пока поезд стоял, я вышел из вагона пройтись. По откосу бродили стайки оборванных чумазых детей. Эти ребятишки обступили меня. Они рассматривали меня – чистенького, хорошо одетого мальчика – как заморское чудо, осторожно прикасались пальцами к моей одежде. Один из них, мальчик постарше, робко спросил меня, не могу ли я принести чего-нибудь поесть. Я вбежал в вагон и, объяснив матери, что там, на перроне, голодные дети, схватил сколько мог еды и выскочил наружу. То, что произошло в дальнейшем, потрясло меня: дети набросились на еду, стали вырывать ее друг у друга… Я заплакал и убежал в вагон.

По приезде в Москву мы с мамой и братом поселились в нашей старой комнате в коммунальной квартире, а папу вскоре перевели в Ригу. Я поступил в школу, в третий класс, летом мы ездили в Ригу, где папа снимал для нас на взморье дачу, и три месяца мы жили вместе. Я знаю, что папа страдал от разрыва с семьей, не раз звал маму переехать в Ригу, где ему предлагали

хорошую квартиру, но это означало потерять московскую прописку, что для мамы было неприемлемо. Наконец, в 1952 году, когда в «Детгизе» вышла книжка отца (в соавторстве с Алексеем Мусатовым) «Костры на сопках», он решился на демобилизацию, не дослужив пару лет до армейской пенсии и вообще выбрав крайне неподходящий момент для резких телодвижений (как раз случилось «дело врачей»).

Сергей Поляков
Этот мир…

…Я помню этот мир, я хорошо помню черные сатиновые трусы; серо-голубые майки; футболки с длинными рукавам и синей полосой у ворота, сатиновые шаровары; вельветовые курточки; серую, с бомбончиком кепку; спортивное трико с пузырями на коленках; коричневый дерматиновый чемоданчик для хождения в спортшколу; китайские кеды – признак шика и зависти дворовых товарищей; подстриженный затылок – стрижка называлась «Бокс»; кровать с досками вместо пружин; белые, и только белые, простыни; рыжий абажур в комнате у бабушки; стены, покрашенные масляной краской до середины, дальше – побелка, а граница синяя полоска, к которой нельзя прикасаться – смажется…

…полосатая, купленная на рынке дорожка, дрова в сарае (привозят в августе на полуторке и весь сентябрь дрова пилят, колют и складывают до самого потолка в низенький сарай)…

…кирпичный параллелепипед печки на кухне, оранжевые желтки яичницы на шкварках; молоко, купленное на рынке у бабы Дуси; розовые и зеленоватые конфеты-подушечки; чай грузинский – первый сорт, граненые стаканы, белые бокалы с красными и синими, по краю, полосками; и с такими же полосами тарелки для супа; вилки с дореволюционными вензелями, алюминиевые ложки…

…ванная с темно-зеленым цилиндрическим титаном, который топится дровами из сарая; высокие спинки кроватей, с круглыми блестящими набалдашниками по углам; черный телефон с громким нетерпеливым звонком в коридоре на решетчатой подставке, покрытой аккуратной, с вышитой розочкой салфеткой; этажерка с отцовыми и немножко моими книгами; ветхие, зачитанные журналы, приносимые по две-три штуки в дом из городской детской библиотеки; темный портфель с одной центральной застежкой; тетради в зеленых и синих безрисуночных обложках; металлическое перышко № 77 для ручки-вставочки; учебник Пёрышкина и задачник Киселёва…

…Я помню этот мир.

* * *

А войны не было…

Точнее, она была где-то там, далеко, за горизонтом моей детской жизни.

Только, иногда что-то от военного времени проскальзывало страхом, удивлением, случаем.

Кострома. Мне пять лет. В кинотеатре, что у парка на улице Чайковского, смотрим с бабушкой «Падение Берлина». Желтое (так помнится) поле, синее небо и оранжево-черные взрывы. Мне страшно. Я закрываю глаза, прижимаю ладошки к ушам и повёртываюсь спиной к экрану, пока взрывы не умолкнут и бабушка не уговорит меня сесть «как люди».

У входа в городской парк у высоченного решетчатого забора на летнем асфальте сидит человек в тельняшке и белой с морским воротом рубашке с медалью на груди.

Он без ног. Рядом с ним, прижимаясь к моряку, чистенькая девочка лет четырех с ясными глазами. Я боюсь этого человека и эту девочку. Моряк не просит милостыню, но перед ним у обрубков его ног растет горка монет.

Папин орден и медали. Они прикреплены к праздничному черному костюму, прячущемуся в шифоньере. Костюм надевается в особенных случаях. Обычно же, в повседневности, папа ходит на работу в другом, поношенном, пиджаке с орденской колодкой.

У папы нет ноги. Утром он одевает желтый с коричневыми лямочками протез.

Рассказывает, что на войне было так. Папина 76 миллиметровая пушка. Черно-белый взрыв. Папа ранен. Его отвозят в госпиталь. Потом опять фронт. Он снова артиллерист. И снова черно-белый взрыв. Товарищ, Сережа Капустин, тащит раненого друга с поля боя. Лазарет. Опасность гангрены. И вот без ноги.

Папа говорит, что меня и назвали по Сереже Капустину.

…1954 год. У папы появилась книга «История Великой Отечественной войны», написанная какими-то полковниками (так почему-то помнится). Книгу я прочитать еще не мог, но в ней оказались карты со стрелочками.

Смысл стрелок мне понятен: синие – наступление фашистов, красные – десять сталинских ударов (про них я откуда-то знаю). Красные побеждают.

У нас есть двор, а за забором двор соседский. В соседском дворе, если залезть на забор, видно каких-то мальчишек. Я кидаю в мальчишек снежки, но они меня почему-то не замечают. Я слезаю с забора, иду домой, беру карандаши и рисую карту

нашего и соседского дворов. На карте красные и синие стрелы. Мои – красные, синие – соседских пацанов. Они – фашисты.

Побеждают красные.

В соседней квартире живет женщина – военврач (кстати, есть ли сейчас такое слово?). К ней *ходит* (так говорят взрослые, но я не понимаю, что это такое) боевой полковник с орденами. Как-то вечером появление полковника вызывает переполох на всей лестничной площадке.

Оказывается, полковник шел по соседскому переулку, и его встретили бандиты. Бандиты хотели снять с него часы и еще что-то.

У полковника того в руках были две бутылки шампанского – в гости же шел, к военврачу. Он и грохнул эти бутылки о головы бандитов – и на него шампанское попало. Так, в таком мокром виде, он и пришел к нам в дом.

А мир же был тесен – все всё и узнали. За полковника и военврачиху переживали.

* * *

Футбол я сначала услышал по радио.

«Бубукин перекидывает мяч Симоняну, тот пасует Ильину. Удар! И Яшин парирует мяч»…

Мне это было понятно. В парке у нас тоже была площадка и сетка. И мужчины через нее перекидывали (пасовали) мяч.

Слушать про футбол было интересно, и посему, дождавшись окончания репортажа, я выходил на балкон и сам себе рассказывал, выдумывал, что будет дальше: «Ильин передает мяч Бубукину, Бубукин – Симоняну. Удар!..»

Однажды папа повел меня на настоящий футбол, на стадион «Красное знамя» – куда-то на край города. Играли наши и не наши.

Но почему-то площадка была очень большая, целое поле, и сетки посередине не оказалось. Да к тому же футболисты (наши в красном, а чужие в голубом) передавали пас не руками, а ногами.

Наши победили.

Вот так я и узнал, что такое вправду футбол.

* * *

В городе шли съемки «Ревизора». У нас во дворе только об

этом и говорили. Бабушка меня и мою младшую сестру водила гулять в парк над Волгой. В этот день она подвела нас к барьеру и мы смотрели, как внизу горы, под парком, какой-то человек спотыкался и падал с лестницы, появившейся откуда-то (раньше не было) у высокого складского сарая. Снизу человеку что-то кричали, горели (днем!) прожекторы, а человек снова поднимался вверх по лестнице и как бы по команде снизу снова спотыкался и падал. И так было не один раз, пока бабушка не увела нас дальше.

Мама же дома сказала, что этого человека зовут Хлестаков и что так снимается кино.

…А еще снимали «Дом городничего». Это было в переулке, недалеко от дома. В общем-то это был техникум, но табличку с названием техникума сняли и дом покрасили розовыми и желтыми пятнами.

Когда же кино привезли в наш город – смотрели все. Мы смотрели всей семьей. Зрители охали, друг другу что-то объясняли, как только на экране появлялись знакомые всем городские места. Как Хлестаков падал с лестницы у трактира (вот чем в кино, оказывается, был склад-сарай), я тоже увидел.

* * *

У папы был темно-коричневый, покрытый дерматином стол на закругленных ножках. А в столе справа был ящик, где лежала газетная вырезка: Сталин в гробу.

Но потом вырезки не стало. А еще исчез из синего тома Советской энциклопедии большой портрет Берии, и статья о нём в энциклопедии оказалась замарана фиолетовыми чернилами.

* * *

На центральной улице Советской в Доме офицеров в 1954 году показывали мультфильмы. Самый замечательный назывался «Полет на Луну»:

«…На чердаке большого дома возле слухового окна стоит телескоп. У телескопа дежурят члены Международного общества имени Циолковского: второклассники Коля Хомяков, Петя Терещенко и Сэнди Робинсон.

На Луну летит ракета Р-1 и терпит аварию.

Спасать аэронавтов на Луну вместе с профессором Боровым на ракете Р-2 летит Хомяков Коля.

Кончается всё хорошо.
Десятки духовых оркестров играют “Марш летчиков”:
“Всё выше, и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц…”
Ракеты Р-1 и Р-2 пролетают над родным городом».

…Мы же в зале хлопаем в ладоши и кричим «Ура!».
А через три года полетел первый спутник.

notes

Примечания

1

Каждая глава книги открывается вступительным словом Людмилы Улицкой.